МОПАССАН

Ги де Мопассан

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ
3

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1958

Издание выходит
под общей редакцией
Ю. И. Данилина.

ЛУННЫЙ СВЕТ

ЛУННЫЙ СВЕТ

Аббату Мариньяну очень подходила его воинственная фамилия,— у этого высокого худого священника была душа фанатика, страстная, но суровая. Все его верования отличались строгой определенностью и чужды были колебаний. Он искренне полагал, что постиг господа бога, проник в его промысел, намерения и предначертания.

Расхаживая широкими шагами по саду деревенского церковного домика, он иногда задавал себе вопрос: «Зачем бог сотворил то или это?» Мысленно становясь на место бога, он упорно допытывался ответа и почти всегда находил его. Да, он был не из тех, кто шепчет в порыве благочестивого смирения: «Неисповедимы пути твои, господи». Он рассуждал просто: «Я служитель божий и должен знать или по крайней мере угадывать его волю».

Все в природе казалось ему созданным с чудесной, непреложной мудростью. «Почему» и «потому» всегда были в непоколебимом равновесии. Утренние зори созданы для того, чтобы радостно было пробуждаться, летние дни — чтобы созревали нивы, дожди — чтобы орошать поля, вечера — для того, чтобы подготовлять ко сну, а темные ночи — для мирного сна.

Четыре времени года превосходно соответствовали всем нуждам земледелия, и никогда у этого священника даже и мысли не возникало, что в природе нет сознательных целей, что, напротив, все живое подчинено

суровой необходимости, в зависимости от эпохи, климата и материи.

Но он ненавидел женщину, бессознательно ненавидел, инстинктивно презирал. Часто повторял он слова Христа: «Жена, что общего между тобой и мною?» Право, сам создатель был как будто недоволен этим своим творением. Для аббата Мариньяна женщина поистине была «двенадцать раз нечистое дитя», о котором говорит поэт.

Она была искусительницей, соблазнившей первого человека, и по-прежнему вершила свое черное дело, оставаясь все тем же слабым и таинственно волнующим существом. Но еще больше, чем ее губительное тело, он ненавидел ее любящую душу.

Нередко он чувствовал, как устремляется к нему женская нежность, и, хотя он твердо был уверен в своей неуязвимости, его приводила в негодование эта потребность в любви, вечно томящая душу женщины.

Он был убежден, что бог создал женщину лишь для искушения, для испытания мужчины. Приближаться к ней следовало осторожно и опасливо, точно к западне. Да и в самом деле, она подобна западне, ибо руки ее простерты для объятия, а губы отверсты для поцелуя.

Снисходительно он относился только к монахиням, так как обет целомудрия обезоружил их, но и с ними он обращался сурово: он угадывал, что в глубине заключенного в оковы, усмиренного сердца монахинь живет извечная нежность и все еще изливается даже на него — на их пастыря.

Он чувствовал эту нежность в их благоговейном, влажном взгляде, не похожем на взгляд набожных монахов, в молитвенном экстазе, к которому примешивалось нечто от их пола, в порывах любви ко Христу, которые возмущали его, ибо это была любовь женская, любовь плотская; он чувствовал эту окаянную нежность даже в их покорности, в кротком голосе, в потупленном взоре, в смиренных слезах, которые они проливали в ответ на его гневные наставления. И, выйдя из монастырских ворот, он отряхивал сутану и шел быстрым шагом, словно убегал от опасности.

У него была племянница, которая жила с матерью

в соседнем домике. Он все уговаривал ее пойти в сестры милосердия.

Она была хорошенькая и ветреная насмешница. Когда аббат читал ей нравоучения, она смеялась; когда он сердился, она горячо целовала его, прижимала к сердцу, а он бессознательно старался высвободиться из ее объятий, но все же испытывал сладостную отраду оттого, что в нем пробуждалось тогда смутное чувство отцовства, дремлющее в душе у каждого мужчины.

Прогуливаясь с нею по дорогам, среди полей, он часто говорил ей о боге, о своем боге. Она совсем его не слушала, глядела на небо, на траву, на цветы, и в глазах ее светилась радость жизни. Иногда она убегала вдогонку за пролетающей бабочкой и, поймав ее, говорила:

— Посмотрите, дядечка, до чего хорошенькая! Просто хочется поцеловать ее.

И эта потребность поцеловать какую-нибудь букашку или звездочку сирени тревожила, раздражала, возмущала аббата,— он вновь видел в этом неистребимую нежность, заложенную в женском сердце.

И вот однажды утром жена пономаря — домоправительница аббата Мариньяна — осторожно сообщила ему, что у его племянницы появился вздыхатель.

У аббата горло перехватило от волнения, он так и застыл на месте, позабыв, что у него все лицо в мыльной пене,— он как раз брился в это время.

Когда к нему вернулся дар речи, он крикнул:

— Быть не может! Вы лжете, Мелани!

Но крестьянка прижала руку к сердцу:

— Истинная правда, убей меня бог, господин кюре. Каждый вечер, как только ваша сестрица лягут в постель, она убегает из дому. А уж он ее ждет у речки, на берегу. Да вы сходите как-нибудь туда между десятью и двенадцатью. Сами увидите.

Он перестал скоблить подбородок и стремительно зашагал по комнате, как обычно в часы глубокого раздумья. Затем опять принялся бриться и три раза порезался — от носа до самого уха.

Весь день он молчал, кипел возмущением и гневом. К яростному негодованию священника против непобедимой силы любви примешивалось оскорбленное чув-

ство духовного отца, опекуна, блюстителя души, которого обманула, надула, провела хитрая девчонка; в нем вспыхнула горькая обида, которая терзает родителей, когда дочь объявляет им, что она без их ведома и согласия выбрала себе супруга.

После обеда он пытался отвлечься от своих мыслей чтением, но безуспешно, и раздражение его все возрастало. Лишь только пробило десять, он взял свою палку, увесистую дубинку, которую всегда брал в дорогу, когда шел ночью навестить больного. С улыбкой поглядев на эту тяжелую палицу, он угрожающе покрутил ее своей крепкой крестьянской рукой. Затем скрипнул зубами и вдруг со всего размаху так хватил по стулу, что спинка раскололась и рухнула на пол.

Он отворил дверь, но замер на пороге, пораженный сказочным, невиданно ярким лунным светом.

И так как аббат Мариньян наделен был восторженной душой, такой же, наверно, как у отцов церкви, этих поэтов-мечтателей, он вдруг позабыл обо всем, взволнованный величавой красотой тихой и светлой ночи.

В его садике, залитом кротким сиянием, шпалеры плодовых деревьев отбрасывали на дорожку тонкие узорчатые тени своих ветвей, едва опушенных листвой; огромный куст жимолости, обвивавшей стену дома, струил такой нежный, сладкий аромат, что казалось, в прозрачном теплом сумраке реяла чья-то благоуханная душа.

Аббат долгими жадными глотками впивал воздух, наслаждаясь им, как пьяницы наслаждаются вином, и медленно шел вперед, восхищенный, умиленный, почти позабыв о племяннице.

Выйдя за ограду, он остановился и окинул взглядом всю равнину, озаренную ласковым, мягким светом, тонувшую в серебряной мгле безмятежной ночи. Поминутно лягушки бросали в пространство короткие металлические звуки, а поодаль заливались соловьи, рассыпая мелодичные трели своей песни, той песни, что гонит раздумье, пробуждает мечтания и как будто создана для поцелуев, для всех соблазнов лунного света.

Аббат снова двинулся в путь, и почему-то сердце у него смягчилось. Он чувствовал какую-то слабость,

внезапное утомление, ему хотелось присесть и долго-долго любоваться лунным светом, молча поклоняясь богу в его творениях.

Вдалеке, по берегу речки, тянулась извилистая линия тополей. Легкая дымка, пронизанная лучами луны, словно серебристый белый пар, клубилась над водой и окутывала все излучины русла воздушной пеленой из прозрачных хлопьев.

Аббат еще раз остановился; его душу переполняло неодолимое, все возраставшее умиление.

И смутная тревога, сомнение охватили его, он чувствовал, что у него вновь возникает один из тех вопросов, какие он подчас задавал себе.

Зачем бог создал все это? Если ночь предназначена для сна, для безмятежного покоя, отдыха и забвения, зачем же она прекраснее дня, нежнее утренних зорь и вечерних сумерек? И зачем сияет в неторопливом своем шествии это пленительное светило, более поэтичное, чем солнце, такое тихое, таинственное, словно ему указано озарять то, что слишком сокровенно и тонко для резкого дневного света; зачем оно делает прозрачным ночной мрак?

Зачем самая искусная из певчих птиц не отдыхает ночью, как другие, а поет в трепетной мгле?

Зачем наброшен на мир этот лучистый покров? Зачем эта тревога в сердце, это волнение в душе, эта томная нега в теле?

Зачем раскинуто вокруг столько волшебной красоты, которую люди не видят, потому что они спят в постелях? Для кого же сотворено это величественное зрелище, эта поэзия, в таком изобилии нисходящая с небес на землю?

И аббат не находил ответа.

Но вот на дальнем краю луга, под сводами деревьев, увлажненных радужным туманом, появились рядом две человеческие тени.

Мужчина был выше ростом, он шел, обнимая свою подругу за плечи, и, время от времени склоняясь к ней, целовал ее в лоб. Они вдруг оживили неподвижный пейзаж, обрамлявший их, словно созданный для них фон. Они казались единым существом, тем существом, для которого предназначена была эта ясная и без-

молвная ночь, и они шли навстречу священнику, словно живой ответ, ответ, посланный господом на его вопрос.

Аббат едва стоял на ногах,— так он был потрясен, так билось у него сердце; ему казалось, что перед ним библейское видение, нечто подобное любви Руфи и Вооза, воплощение воли господней на лоне прекрасной природы, о которой говорят священные книги. И в голове у него зазвенели стихи из Песни Песней, крик страсти, призывы тела, вся огненная поэзия этой поэмы, пылающей любовью.

И аббат подумал:

«Быть может, бог создал такие ночи, чтобы покровом неземной чистоты облечь любовь человеческую».

И он отступил перед этой обнявшейся четой. А ведь он узнал свою племянницу, но теперь спрашивал себя, не дерзнул ли он воспротивиться воле божьей. Значит, господь дозволил людям любить друг друга, если он окружает их любовь таким великолепием.

И он бросился прочь, смущенный, почти пристыженный, словно украдкой проникнул в храм, куда ему запрещено было вступать.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ

Париж узнал о падении Седана. Была провозглашена республика. Вся Франция ринулась на путь того безумия, которое продолжалось до последнего дня Коммуны. С одного конца страны до другого все играли в солдаты.

Лавочники преобразились в полковников, исполняющих обязанности генералов, целая коллекция револьверов и кинжалов украшала толстые животы этих мирных обывателей, перетянутые красными поясами. Мелкие буржуа, случайно превратившиеся в воинов, командовали батальонами крикливых волонтеров и неистово ругались, чтобы придать себе больше весу.

Уже один тот факт, что они были вооружены, что у каждого из них было в руках военное ружье, кружил головы этим людям, которые до сих пор имели дело только с весами, и они без всякого повода могли стать опасными для каждого встречного. Они казнили невиновных в доказательство того, что умеют убивать, и, бродя по полям, не тронутым еще пруссаками, стреляли в бродячих собак, коров, спокойно пережевывавших жвачку, в больных лошадей, пасшихся на лугах.

Каждый воображал, что именно он призван играть великую боевую роль. Кофейни самых маленьких деревушек были переполнены одетыми в мундиры торговцами и походили на казармы или на военный госпиталь.

До местечка Канвиль еще не дошли потрясающие известия из армии и столицы, но уже целый месяц в нем царило сильнейшее возбуждение и враждующие партии ополчались друг против друга.

Мэр Канвиля, г-н виконт де Варнето, маленький тощий старичок, легитимист, из честолюбия ставший с недавнего времени приверженцем Империи, встретил яростного противника в лице доктора Массареля, толстого сангвиника, который был главой республиканской партии округа, председателем местной масонской ложи, президентом общества земледелия и пожарной команды, а также организатором сельской милиции, предназначенной спасти край.

За две недели ему удалось привлечь на защиту страны шестьдесят трех волонтеров из женатых людей и отцов семейств, мирных крестьян и торговцев местечка, и он обучал их каждое утро на площади перед мэрией.

Если мэр, направляясь в ратушу, случалось, проходил мимо, командир Массарель, вооруженный пистолетами, горделиво шагал с саблей в руке перед фронтом своего отряда и заставлял людей выкрикивать: «Да здравствует отечество!» И этот крик, как все замечали, приводил в волнение старого виконта, который, без сомнения, видел в нем угрозу, вызов и в то же время ненавистное напоминание о великой революции.

Утром 5 сентября доктор, облачившись в мундир и положив на стол револьвер, принимал чету больных престарелых крестьян; муж целых семь лет страдал расширением вен, но не обращался к доктору, ожидая, когда жене тоже понадобится врачебный совет. В это время почтальон принес газету.

Г-н Массарель развернул ее, побледнел, быстро вскочил и в исступленном восторге, воздев руки к небу, во весь голос крикнул в лицо остолбеневшим крестьянам:

— Да здравствует республика!.. Да здравствует республика!.. Да здравствует республика!..

И упал в кресло, обессилев от волнения.

Старик-крестьянин продолжал тянуть:

— Началось это с того, что по ногам у меня вроде как мурашки стали ползать.

— Оставьте меня в покое! — крикнул Массарель.— Есть мне время заниматься всякой чепухой... Провозглашена республика, император взят в плен. Франция спасена!.. Да здравствует республика!..

И, подбежав к двери, заорал:

— Селеста! Скорее, Селеста!

Прибежала перепуганная служанка. Он говорил так быстро, что язык у него заплетался:

— Мои сапоги, саблю, патронташ, испанский кинжал, что у меня на ночном столике,— живо!..

Упрямый крестьянин, воспользовавшись минутой молчания, продолжал:

— И вот набухло у меня в ногах, точно карманы какие, так что и ходить стало больно.

Выведенный из себя, доктор взревел:

— Оставьте меня в покое, черт возьми!.. Если бы вы мыли ноги, ничего бы не случилось.

И, схватив старика за шиворот, он гаркнул ему в лицо:

— Ты что же, не понимаешь, скотина, что у нас теперь республика?

Но тут профессиональное чувство врача заставило его успокоиться, и он выпроводил ошеломленную чету, повторяя:

— Приходите завтра, приходите завтра, друзья мои. Мне сегодня некогда.

Вооружаясь с головы до ног, он отдавал кухарке целый ряд новых спешных приказаний:

— Беги к лейтенанту Пикару и к сублейтенанту Поммелю и скажи им, что я немедленно жду их к себе. Пришли ко мне также Торшбефа с барабаном, живо, живо!

Когда Селеста вышла, он погрузился в думы, готовясь к борьбе с предстоящими трудностями.

Все трое явились вместе, в рабочей одежде. Командир, рассчитывавший увидеть их в полной форме, так и подскочил:

— Разве вы ничего не знаете, черт возьми! Император в плену, провозглашена республика. Надо действовать. Мое положение щекотливо, скажу более — опасно.

Он задумчиво помолчал с минуту, стоя перед оне-

мевшими от изумления подчиненными, затем продолжал:

— Надо действовать без колебаний. В таких обстоятельствах минуты стоят часов. Все зависит от быстроты решений. Вы, Пикар, отправляйтесь к кюре и заставьте его ударить в набат, чтобы собрать население, которое я осведомлю о событиях. Вы, Торшбеф, бейте сбор по всей коммуне вплоть до деревушек Жеризе и Сальмар, чтобы созвать на площадь вооруженное ополчение. Вы, Поммель, наденьте поскорее форму — мундир и кепи. Мы с вами займем мэрию и заставим господина де Варнето сдать мне власть. Понятно?

— Да.

— Исполняйте все быстро, не теряя времени. Я провожу вас до дому, Поммель, и мы будем действовать сообща.

Пять минут спустя командир и его помощник, вооруженные до зубов, появились на площади как раз в ту минуту, когда маленький виконт де Варнето, в гетрах и с карабином на плече, точно собираясь на охоту, торопливо вышел с другой стороны площади в сопровождении трех стражников в зеленых мундирах, с ножами на боку и ружьями наперевес.

Ошеломленный доктор остановился, а четверо мужчин вошли в мэрию и заперли за собою дверь.

— Нас опередили,— пробормотал доктор,— надо теперь ждать подкрепления. Раньше как через четверть часа ничего не сделать.

Появился поручик Пикар.

— Кюре отказался повиноваться,— сообщил он.— Он даже заперся в церкви с пономарем и привратником.

По другую сторону площади, против белого здания запертой мэрии, стояла немая и темная церковь с огромной дубовой дверью, окованной железом.

Когда заинтригованные жители высунули носы из окон или вышли на порог дома, раздался вдруг барабанный бой и появился Торшбеф, яростно выбивая торопливый сигнал сбора. Он пересек мерным шагом площадь и исчез по дороге в поле.

Командир обнажил саблю, стал между зданиями,

где забаррикадировались враги, и, потрясая над головой оружием, заревел во всю силу легких:

— Да здравствует республика!.. Смерть изменникам!..

Затем он вернулся к своим офицерам.

Мясник, булочник и аптекарь в тревоге закрыли ставни и заперли лавки. Одна лишь бакалейная осталась открытой.

Между тем мало-помалу начали подходить ополченцы, в самой разношерстной одежде; черные кепи с красным кантом составляли всю их форму. Они были вооружены заржавленными ружьями, старыми ружьями, по тридцать лет висевшими без дела над кухонным очагом, и напоминали отряд сельских стражников.

Когда их набралось десятка три, командир в нескольких словах сообщил им о событиях; потом, обратившись к своему генеральному штабу, объявил:

— Теперь приступим к делу.

Собравшиеся обыватели наблюдали происходящее и перекидывались замечаниями.

Доктор быстро составил план кампании:

— Лейтенант Пикар, вы подойдете к окнам мэрии и именем республики потребуете от господина де Варнето сдать мне ратушу.

Но лейтенант, каменщик по профессии, отказался.

— Ну, и хитры вы, нечего сказать. Хотите, чтобы в меня всадили пулю? Покорно благодарю. Они ведь неплохо, знаете ли, стреляют, те, что там сидят. Нет, уж лучше сами выполняйте свои приказы.

Командир покраснел.

— Именем дисциплины приказываю вам идти туда!

Лейтенант возмутился:

— Чего ради я позволю разбить себе физиономию?

Почтенные граждане, стоявшие группою неподалеку от них, начали посмеиваться. Один из них крикнул:

— Верно, Пикар, и не суйся туда!

Тогда доктор пробурчал:

— Трусы вы!..

И, передав саблю и револьвер одному из солдат, он медленным шагом двинулся вперед, пристально всматриваясь в окна и ожидая увидеть торчащее оттуда и наведенное на него ружейное дуло.

Когда он был уже в нескольких шагах от мэрии, с обеих сторон здания открылись двери двух школ, и оттуда высыпала целая толпа детей, из одной двери мальчики, из другой — девочки. Они принялись играть на огромной пустой площади и гоготали вокруг доктора, словно стадо гусей, заглушая его голос.

Как только последние ученики вышли, обе двери снова затворились.

Толпа ребят наконец рассеялась, и командир громким голосом произнес:

— Господин де Варнето!

Во втором этаже отворилось окно, и из него высунулся г-н Варнето.

Командир продолжал:

— Сударь, вам известны великие события, изменившие форму правления. Строй, представителем которого вы были до сих пор, больше не существует. Входит в силу тот строй, представителем которого являюсь я. Ввиду этих печальных, но бесповоротных обстоятельств я пришел предложить вам именем новой республики передать в мои руки обязанности, возложенные на вас прежней властью.

Г-н де Варнето ответил:

— Господин доктор, я мэр города Канвиля, назначенный законной властью, и останусь мэром Канвиля до тех пор, пока не буду отозван и замещен приказом моего начальства. Как мэр, я хозяин мэрии и здесь останусь. Впрочем, попробуйте заставить меня выйти отсюда!

И он захлопнул окно.

Командир вернулся к своему отряду. Но прежде чем что-нибудь сказать, он смерил взглядом с головы до ног лейтенанта Пикара.

— Вы жалкий трус, вы заяц, вы позорите армию! Я вас лишаю чина.

Лейтенант отвечал:

— Наплевать мне на это.

И он присоединился к шептавшейся толпе обывателей.

Доктор остановился в раздумье. Что делать? Идти на приступ? Но пойдут ли за ним его люди? И потом, имеет ли он на это право?

Вдруг его осенила блестящая мысль. Он побежал в телеграфную контору, которая находилась против мэрии, на другой стороне площади, и послал три телеграммы:

Гг. членам республиканского правительства, в Париж.

Г-ну новому республиканскому префекту департамента Нижней Сены, в Руан.

Г-ну новому республиканскому супрефекту, в Дьепп.

Он описал в них создавшееся положение, указал на опасность, какой подвергается коммуна, оставаясь в руках прежнего мэра — монархиста, с готовностью предложил свои услуги, просил распоряжений и подписался полным именем, добавив все свои звания.

Вернувшись к своей армии, он вынул из кармана десять франков и сказал:

— Вот вам, друзья мои, закусите и выпейте по стаканчику. Оставьте здесь только караул из десяти человек, чтобы никто не вышел из мэрии.

Но экс-лейтенант Пикар, болтавший с часовщиком, услышав это, поднял его на смех:

— Черт возьми, да вы только тогда и сможете войти, если они выйдут. Не знаю, как вам туда попасть иначе.

Доктор ничего не ответил и ушел завтракать.

После полудня он расставил посты по всей коммуне, точно ей угрожала опасность неожиданного нападения.

Несколько раз он проходил мимо дверей мэрии и церкви, но не замечал ничего подозрительного: оба здания казались пустыми.

Мясник, булочник и аптекарь снова открыли свои лавки.

В домах шли разговоры о том, что если император в плену, значит, была какая-то измена. И никто точно еще не знал, какая именно республика провозглашена.

Стало темнеть.

Около девяти часов доктор потихоньку подкрался один к двери коммунального здания, уверенный, что его противник отправился спать. Но когда он уже приготовился взломать заступом дверь, неожиданно раздался громкий окрик, вероятно, одного из стражников:

— Кто идет?

И г-н Массарель забил отбой, удирая со всех ног.

Наступило утро, но положение не изменилось.

Вооруженные ополченцы продолжали занимать площадь. Вокруг отряда опять столпились обыватели, ожидая, чем все это кончится. Пришли посмотреть и из соседних деревень.

Доктор понял, что на карту поставлена его репутация, и решил так или иначе кончить дело. Он хотел уже предпринять энергичные меры, как вдруг дверь телеграфной конторы отворилась, и оттуда вышла молоденькая служанка жены заведующего, держа в руках два листка бумаги.

Сначала она направилась к командиру и подала ему одну из телеграмм. Потом пересекла пустую площадь и, смущаясь от устремленных на нее взглядов, потупив голову, осторожно подошла к мэрии и тихо постучала в дверь осажденного дома, словно не зная, что там скрывается вооруженный отряд.

Дверь приотворилась, мужская рука взяла послание, а девочка, красная и готовая расплакаться оттого, что все на нее глазеют, побежала назад.

— Минуту внимания, прошу вас! — произнес доктор дрожащим голосом.

Все замолчали, и он важно продолжал:

— Вот сообщение, полученное мною от правительства.

Развернув телеграмму, он прочел:

«ПРЕЖНИЙ МЭР СМЕЩЕН.
ДЕЙСТВУЙТЕ РЕШИТЕЛЬНО.
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПОСЛЕДУЮТ.
За супрефекта советник
САПЕН».

Он торжествовал; сердце его радостно билось, руки дрожали. Но Пикар, его бывший подчиненный, крикнул из ближайшей группы любопытных:

— Все это хорошо!.. Но если те не захотят выйти, вам с вашей бумажкой легче не будет.

Г-н Массарель побледнел. В самом деле, если те не захотят выйти, придется прорываться напролом. Теперь это не только его право, но и долг.

Он с тревогой смотрел на мэрию, надеясь, что дверь откроется и его противник сдастся.

Дверь оставалась закрытой. Что делать? Толпа увеличивалась, теснилась вокруг ополченцев. Поднялся смех.

Одно обстоятельство особенно тревожило доктора. Если он отдаст команду идти на приступ,— ему самому придется возглавлять отряд. И так как с его смертью всякие распри улягутся, то г-н Варнето и три его стражника именно в него и будут стрелять, только в него одного. А они метко стреляют, очень метко. Пикар еще раз подтвердил это. Но у него блеснула новая идея, и он повернулся к Поммелю:

— Бегите к аптекарю и попросите одолжить мне салфетку и палку.

Лейтенант побежал.

Надо соорудить парламентерский флаг, белый флаг, вид которого, быть может, тронет легитимистское сердце старого мэра.

Поммель вернулся с требуемой салфеткой и палкой от метлы. При помощи веревки соорудили знамя, и г-н Массарель, взяв его в обе руки и держа перед собой, снова двинулся к мэрии. Подойдя к двери, он еще раз позвал:

— Господин де Варнето!

Дверь внезапно распахнулась, и г-н Варнето в сопровождении трех стражников появился на пороге.

Доктор невольно попятился назад. Потом, изящно раскланявшись со своим врагом, он произнес, задыхаясь от волнения:

— Я имею честь довести до вашего сведения, сударь, полученное мною распоряжение.

Не отвечая на поклон, дворянин ответил:

— Я ухожу, сударь, но знайте, что не из страха и не из повиновения гнусному правительству, узурпирующему законную власть.

И, отчеканивая каждое слово, он закончил:

— Я не хочу давать повод думать, что я хотя бы один день служил республике. Вот и все.

Растерявшийся Массарель не нашелся, что ответить, а г-н де Варнето быстро исчез за углом площади, сопровождаемый своей охраной.

Тогда доктор, преисполненный гордости, вернулся к толпе. Как только он приблизился настолько, что его могли слышать, он закричал:

— Ура! Ура! Республика торжествует по всему фронту.

Но толпа не проявила никакого восторга.

Доктор опять закричал:

— Народ свободен! Вы свободны и независимы! Гордитесь!

Обыватели тупо глядели на него, не выражая никакой радости.

Он тоже смотрел на них, негодуя на их равнодушие, стараясь придумать, что сказать им, что сделать, чтобы встряхнуть, воодушевить эту мирную толпу, чтобы выполнить свою миссию зачинателя.

Вдруг на него сошло вдохновение, и, обернувшись к Поммелю, он сказал:

— Лейтенант, принесите сюда из залы муниципального совета бюст бывшего императора и захватите с собой стул.

Поммель вскоре возвратился с гипсовым бюстом Бонапарта на правом плече и с соломенным стулом в левой руке.

Господин Массарель устремился к нему навстречу, взял стул, поставил его на землю, а на него водрузил белый бюст и, отойдя на несколько шагов, обратился к нему с громкой речью:

— Тиран! Тиран! Ты низвергнут теперь, повержен в грязь, впал в ничтожество. Умирающее отечество хрипело под твоим сапогом. Карающая судьба настигла тебя. Поражение и позор неразлучны с тобой; ты пал побежденным, пленником пруссаков, и на развалинах твоей рухнувшей империи встает юная, лучезарная республика, она поднимет твою изломанную шпагу...

Он ждал аплодисментов. Но ни малейшего восклицания, ни единого хлопка не раздалось в ответ. Испуганные крестьяне молчали, а гипсовый бюст с остроконечными усами, далеко торчавшими по обеим сторонам лица, неподвижный и причесанный, как парикмахерский манекен, казалось, улыбался, глядя на Массареля, своею застывшей улыбкой.

Так стояли они лицом к лицу: Наполеон на стуле,

доктор в трех шагах перед ним. Гнев охватил командира. Что же делать? Что делать, чтоб расшевелить этот народ и окончательно завоевать общественное мнение?

Случайно рука его нащупала за красным поясом рукоятку револьвера.

Ни вдохновение, ни красноречие больше не приходили ему на помощь. Тогда он вынул свое оружие, отступил еще на два шага и, прицелившись, выстрелил в бывшего монарха.

Пуля пробила во лбу маленькую черную дырочку, похожую на почти незаметное пятнышко. Эффект не удался. Г-н Массарель выстрелил во второй раз, сделал вторую дырочку, потом третью, потом, не останавливаясь, выпустил последние три пули. Лоб Наполеона разлетелся белой пылью, но глаза, нос и остроконечные тонкие усы остались невредимыми.

Тогда доктор в отчаянии опрокинул стул ударом кулака, наступил ногой на обломки бюста и, встав в позу триумфатора, обернулся к остолбеневшей толпе.

— Да погибнут так все изменники!..— проревел он.

Но так как по-прежнему не видно было никаких проявлений восторга и зрители только раскрыли рты от удивления, командир крикнул ополченцам:

— Можете теперь возвратиться к вашим очагам!

И сам, точно убегая от погони, крупными шагами направился домой.

Когда он вернулся к себе, служанка доложила, что в кабинете уже более трех часов его дожидаются больные. Он поспешил туда. Эта была та же крестьянская чета, с расширением вен, пришедшая на рассвете и ждавшая его упорно и терпеливо.

Старик тотчас же возобновил свой рассказ:

— Началось это с того, что по ногам у меня вроде как мурашки стали ползать...

ВОЛК

Вот что рассказал нам старый маркиз д'Арвиль под конец обеда, который давал барон де Равель в день святого Губерта.

В этот день затравили оленя. Маркиз был единственным из гостей, не принимавшим участия в травле, потому что никогда не охотился.

В продолжение всего долгого обеда только и говорили, что об истреблении животных. Женщины, и те были увлечены кровавыми и зачастую неправдоподобными рассказами, а рассказчики мимически воспроизводили борьбу человека со зверем, размахивали руками и кричали громовым голосом.

Д'Арвиль говорил хорошо, с легким оттенком напыщенной, но эффектной поэтичности. Должно быть, он часто рассказывал эту историю, потому что речь его лилась плавно, и он без труда находил меткое слово и удачный образ.

— Господа, я никогда не охотился, как и мой отец, мой дед и прадед. Прадед же мой был сыном человека, который любил охоту больше, чем все вы, вместе взятые. Он умер в 1764 году. Я расскажу вам, как это произошло.

Его звали Жан. Он был женат, был отцом ребенка, ставшего моим прадедом, и жил со своим младшим братом, Франсуа д'Арвилем, в нашем лотарингском замке, среди густых лесов.

Франсуа д'Арвиль остался холостяком из-за своей страсти к охоте.

Братья охотились вдвоем круглый год, без отдыха, без передышки. Они только и любили, что охоту, ничего другого не понимали, говорили лишь о ней, жили единственно ради нее.

В их сердцах пылала эта жестокая, неутолимая страсть. Она сжигала их, захватывала целиком, не оставляя места ни для чего другого.

Они запретили беспокоить себя во время охоты, что бы ни случилось. Мой прадед родился в тот момент, когда отец его преследовал лисицу, и Жан д'Арвиль, узнав об этом, не прервал погони, а только выругался:

— Черт возьми, этот бездельник мог бы подождать, пока кончится облава!

Его брат Франсуа, казалось, увлекался охотой еще больше, чем он. Едва проснувшись, он отправлялся проведать собак, потом — лошадей и в ожидании выезда на охоту за крупным зверем стрелял птиц вокруг замка.

В округе их звали «господин маркиз» и «молодой барин». Тогдашнее дворянство не походило на нынешних случайных дворян, старающихся создать нисходящую иерархию титулов: ведь сын маркиза еще не граф, сын виконта — не барон, как сын генерала не может быть полковником от рождения. Но мелочное тщеславие наших дней услаждается такой выдумкой.

Продолжаю рассказ о моих предках.

Они, говорят, были необыкновенно высоки ростом, ширококостны, волосаты, свирепы и сильны. Младший брат был выше старшего и обладал таким зычным голосом, что, как рассказывала легенда, которой он очень гордился, каждый лист в лесу дрожал от его крика.

Когда эти великаны, отправляясь на охоту, вскакивали в седла и скакали верхом на огромных лошадях, это было, вероятно, великолепное зрелище.

И вот как-то в середине зимы 1764 года наступили сильные холода и волки стали особенно свирепствовать.

Они нападали на запоздавших крестьян, бродили по ночам вокруг домов, выли от заката до восхода солнца и опустошали скотные дворы.

Вскоре разнесся слух, что появился огромной ве-

личины волк, светло-серой, почти белой масти, что он заел двух детей, отгрыз у какой-то женщины руку, передушил всех сторожевых собак в окрестностях и бесстрашно залезает за ограды, обнюхивая двери домов. Жители уверяли, что слышали его дыхание, от которого колебалось пламя свечей. И вскоре всю местность охватила паника. С наступлением вечера, казалось, темнота грозила отовсюду появлением этого зверя... Никто не осмеливался выходить из дому.

Братья д'Арвиль решили выследить его и убить. Они пригласили на эту большую облаву всех местных дворян.

Все было тщетно. Напрасно они рыскали по лесам, обшаривая заросли,— зверя нигде не было. Убивали много волков, но не этого. И каждую ночь, после охоты, зверь, как бы в отместку, набрасывался на путников или пожирал скотину — и при этом всегда вдалеке от места, где его накануне выслеживали.

Как-то ночью он забрался в свиной хлев замка д'Арвиль и зарезал там двух лучших поросят.

Братья были вне себя от гнева. Они смотрели на это нападение как на издевательство, как на прямое оскорбление, как на брошенный им вызов. Они взяли с собою лучших ищеек, которые привыкли ходить на хищного зверя и, пылая яростью, отправились на охоту.

С самой зари до заката, когда пурпурное солнце опустилось за оголенные деревья, они безуспешно рыскали по лесной чаще.

Наконец в бешенстве и отчаянии братья направились домой, пустив шагом своих лошадей по дороге, поросшей кустарником, удивляясь, что, несмотря на все их охотничье искусство, волк так ловко провел их. Какой-то суеверный страх вдруг овладел ими.

Старший промолвил:

— Это, видно, не простой зверь. Можно подумать, что он умен, как человек.

Младший ответил:

— Не обратиться ли к нашему кузену, епископу, чтобы он освятил пулю, или, быть может, попросить священника прочитать подходящую молитву?

Они помолчали.

Жан снова заговорил:

— Посмотри, какое красное солнце. Этот волк опять натворит каких-нибудь бед сегодня ночью.

Но не успел он закончить фразу, как лошадь его поднялась на дыбы, а конь Франсуа начал брыкаться: Густой кустарник, покрытый сухими листьями, раздвинулся, оттуда выскочил огромный серый зверь и побежал в лес.

Братья зарычали от радости и, пригнувшись к шее грузных коней, послали их вперед всей тяжестью своих тел и погнали с такой быстротой, стегая, понукая криком, движениями, шпорами, что, казалось, могучие всадники сами влекли за собою тяжелых животных и, стиснув их ногами, летели вместе с ними.

Охотники неслись, распластавшись над землей, перескакивали через кусты, перемахивали через рвы и насыпи, спускались в ущелья и что есть мочи трубили в рога, созывая своих людей и собак.

И вот в пылу этой отчаянной скачки мой предок налетел лбом на огромный сук, который раскроил ему череп. Он свалился на землю мертвым, а обезумевшая лошадь помчалась дальше и исчезла во мраке леса.

Младший д'Арвиль круто остановился, спрыгнул на землю, схватил брата в объятия и увидел, что вместе с кровью из его раны вытекал мозг.

Тогда он сел возле трупа, положил обезображенную и окровавленную голову Жана к себе на колени и застыл, всматриваясь в неподвижное лицо старшего брата. Мало-помалу в его сознание стал проникать страх, странный, неведомый ему доселе страх темноты, страх одиночества, страх перед пустынным лесом и перед этим таинственным волком, погубившим его брата, чтобы отомстить охотникам

Мрак сгущался, деревья трещали от мороза. Франсуа встал, продрогший, чувствуя, что почти падает от изнеможения. Уже ничего не было слышно: ни лая собак, ни звука рогов,— все безмолвствовало в невидимом пространстве. Эта угрюмая тишина леденящего вечера таила в себе что-то страшное и необычайное.

Мощными руками схватил он огромное тело Жана, поднял его и, уложив поперек седла, медленно направился к замку; мысли его мутились, как у пьяного, его преследовали страшные, необычайные видения.

И вдруг на тропинке, окутанной ночной тьмой, перед ним мелькнула какая-то огромная тень. Это был зверь. Ужас охватил охотника, что-то холодное пробежало по его спине, и, подобно монаху, одолеваемому дьявольским наваждением, он широко перекрестился, растерявшись перед неожиданно появившимся страшным хищником. Но тут взор Франсуа упал на неподвижное тело брата, лежавшее перед ним, страх его сменился гневом, он задрожал в неудержимой ярости.

Пришпорив лошадь, он пустился вслед за волком. Он скакал за ним через рощи, через рытвины, мчался через лесные чащи, не узнавая их более, впиваясь взором в это белое пятно, убегавшее от него в темноту нисходившей на землю ночи.

Его лошадь, казалось, тоже была окрылена какой-то неведомой силой. Она бешено скакала, вытянув вперед шею. Голова и ноги перекинутого через седло мертвеца задевали за деревья и выступы скал. Терновник вырывал у него волосы, голова, ударяясь о громадные стволы деревьев, забрызгивала их кровью. Шпоры сдирали кору с деревьев.

Но вот лошадь и всадник выскочили из леса и понеслись по лощине; в это время из-за гор выплывала луна. Каменистая лощина, стиснутая со всех сторон огромными скалами, не имела выхода. Загнанный волк повернул обратно.

Франсуа взвыл от радости, и этот вой, повторенный эхом, прокатился в горах как раскат грома. Он соскочил с лошади, сжимая в руке кинжал.

Ощетинившийся зверь, выгнув спину, ждал; глаза его сверкали, как две звезды. Но прежде чем вступить в бой, силач-охотник схватил брата, посадил его на скалу, подперев ему камнями голову, которая превратилась уже в одно кровавое месиво, и закричал ему в ухо, точно говорил с глухим:

— Смотри, Жан, смотри!..

Затем он бросился на чудовище. Он чувствовал себя способным перевернуть горы, раздробить камни. Зверь пытался свалить его и распороть ему живот. Но охотник, забыв даже об оружии, схватил волка за горло и стал медленно душить его голыми руками, прислушиваясь, как замирает дыхание в его глотке, как перестает

биться его сердце. И он смеялся в безумной радости, все сильнее сжимая зверя в страшной схватке и крича в припадке бешеного восторга:

— Смотри, Жан, смотри!

Волк перестал сопротивляться, тело его обмякло. Он был мертв.

Тогда Франсуа схватил его, поволок и бросил к ногам старшего брата, повторяя взволнованно:

— Вот он, вот, вот, милый мой Жан, вот он!

Потом он перекинул через седло оба трупа, один на другой, и пустился в путь.

Он вернулся в замок, смеясь и плача, как Гаргантюа при рождении Пантагрюэля. Он испускал крики торжества и притоптывал ногами, описывая смерть зверя, и, рыдая, рвал свою бороду, рассказывая о гибели брата.

И часто впоследствии, вспоминая этот день, Франсуа произносил со слезами на глазах:

— Если бы бедный Жан мог видеть, как я душил волка, он умер бы довольный. Я в этом уверен.

Вдова моего прадеда внушила своему осиротевшему сыну отвращение к охоте, которое, передаваясь из поколения в поколение, перешло и ко мне.

Маркиз д'Арвиль умолк. Кто-то спросил:

— Это легенда, не правда ли?

Рассказчик отвечал:

— Клянусь вам, что все это правда, от первого до последнего слова.

И тогда одна из дам произнесла нежным голоском:

— Все равно, как прекрасно, когда человеком владеют такие страсти.

РЕБЕНОК

Жак Бурдильер в течение долгого времени клялся, что никогда не женится, но вдруг переменил свои воззрения. Это случилось внезапно, летом, на морских купаниях.

Как-то утром, когда он, растянувшись на песке, разглядывал выходивших из воды женщин, чья-то маленькая ножка поразила его своей грациозностью и красотой. Переведя взор выше, он пленился всем обликом этой особы. Впрочем, он увидел только щиколотки и голову, выступавшие из тщательно запахнутого белого фланелевого халата. Жак Бурдильер слыл прожигателем жизни и сластолюбцем. Сначала поэтому его пленил только вид этой изящной фигурки, но затем он был совершенно покорен прелестным характером молодой девушки, простым, милым и нежным, как ее щеки и губы.

Он был представлен семье и понравился. Вскоре он влюбился до безумия. Когда он издали замечал Берту Ланни на желтом песке длинного пляжа, он весь вздрагивал. Возле нее он немел и не в состоянии был не только говорить, но и думать; в сердце его что-то кипело, в ушах шумело, а душа наполнялась смятением. Была ли это любовь?

Он не знал, он ничего не понимал, но, во всяком случае, твердо решил сделать эту девочку своей женой.

Родители долго не решались дать согласие. Их удерживала дурная репутация молодого человека. Го-

ворили, что у него есть любовница, *давнишняя* любовница, старая и прочная связь, одна из тех цепей, которые даже после разрыва все еще продолжают крепко держать.

Кроме того, он влюблялся на более или менее продолжительное время во всех женщин, находившихся от него на расстоянии поцелуя.

Но теперь он сразу остепенился и даже отказался увидеться еще раз с тою, с которой так долго прожил. Один из его друзей взялся уладить вопрос о содержании, обеспечивающем эту женщину на будущее. Жак платил, но не хотел ничего слышать о ней, стараясь забыть даже ее имя. Она писала ему, но он не распечатывал писем. Каждую неделю он узнавал неуклюжий почерк покинутой, и каждую неделю его охватывал против нее все больший гнев. Он разрывал конверт вместе с письмом, не вскрывая, не прочтя ни строчки, ни единой строчки, наперед зная все упреки и жалобы, которые содержались в нем.

Так как его постоянству родители все-таки не доверяли, то продолжили испытание на всю зиму, и только весною его предложение было принято.

Свадьба состоялась в Париже, в первых числах мая.

Было решено, что молодые не поедут в традиционное свадебное путешествие. После домашнего бала, с танцами для молоденьких кузин, который кончится не позже одиннадцати часов, чтобы не удлинять и без того утомительного дня церемонии, молодые супруги проведут первую ночь в доме родителей, а наутро уедут одни на купания, в то дорогое их сердцу место, где они познакомились и полюбили друг друга.

Наступила ночь. Танцевали в большой гостиной. Молодые уединились в маленький японский будуар, обтянутый ярким шелком и еле освещенный в этот вечер матовым светом спускавшегося с потолка цветного фонаря, похожего на огромное яйцо. В открытое окно вливался по временам свежий ветерок, нежно ласкавший лицо; вечер был теплый, тихий, напоенный ароматами весны.

Оба молчали, держа друг друга за руки и по временам крепко сжимая их. Она глядела затуманенным

взором, слегка ошеломленная огромной переменой в своей жизни, улыбающаяся и готовая расплакаться от волнения, лишиться чувств от радости; ей казалось, что весь мир должен измениться из-за того события, которое с ней произошло; она была полна какой-то безотчетной тревоги и чувствовала себя — телом и душою — во власти некоей непонятной, но сладостной усталости.

Он пристально смотрел на нее, сосредоточенно улыбаясь. Он хотел говорить, но не находил слов и вкладывал всю свою страсть в рукопожатие. Время от времени он шептал: «Берта»,— и всякий раз она поднимала на него глаза нежным и кротким движением век; мгновение они смотрели друг на друга, потом глаза ее опускались, зачарованные его взором.

Они не находили ни одной мысли, которой могли бы обменяться. Их оставили вдвоем, и лишь изредка танцующая пара мимоходом бросала в их сторону беглый взгляд, как скромная и дружественная свидетельница их тайны.

Сбоку отворилась дверь, и вошел слуга, держа на подносе принесенное посыльным спешное письмо. Жак, вздрогнув, схватил его и почувствовал вдруг смутный страх, суеверный страх перед внезапным несчастьем.

Он долго смотрел на незнакомый почерк на конверте, не смея вскрыть его, охваченный безумным желанием не читать письма, не знать, что в нем, спрятать в карман и сказать себе: «До завтра... Завтра я буду далеко, и мне все уже будет безразлично». Но в углу конверта были отчетливо написаны два слова: «Очень важное»; они пугали и притягивали его.

— Вы позволите, мой друг? — спросил он и, вскрыв конверт, стал читать.

Он читал письмо, страшно побледнев, и, пробежав его одним взглядом, стал потом медленно перечитывать, точно по складам.

Когда он поднял голову, на нем лица не было.

— Дорогая малютка,— пробормотал он,— с моим другом... с моим лучшим другом случилось большое, очень большое несчастье. Я ему нужен сейчас же... сию же минуту... дело идет о жизни и смерти. Позволь-

те мне удалиться на двадцать минут. Я сейчас же вернусь.

Не чувствуя еще себя его женой, она не решилась расспрашивать его и требовать объяснений. Дрожащая и испуганная, она прошептала:

— Идите, мой друг.

И он исчез. Она осталась одна и сидела, прислушиваясь к танцам в соседней комнате.

Он схватил первую попавшуюся под руку шляпу, чье-то пальто и бегом спустился по лестнице. Перед тем как выйти на улицу, он остановился под газовым рожком в подъезде и перечел письмо.

Вот его содержание:

«Сударь. Девица Раве, по-видимому, ваша бывшая любовница, разрешилась от бремени ребенком; она уверяет, что ребенок от вас. Родильница умирает и молит вас прийти к ней. Я взял на себя смелость написать вам и спросить, не согласитесь ли вы на последнее свидание с этой женщиной, видимо, очень несчастной и достойной сожаления.

Готовый к услугам *доктор Бонар*».

Когда Жак вбежал в комнату умирающей, она была в агонии. Он сразу ее не узнал. Доктор и две сиделки ухаживали за ней, на полу стояли ведра со льдом и валялись полотенца, пропитанные кровью.

Пол был весь залит водой. На столе горели две свечи; позади кровати в плетеной колыбели кричал ребенок; и при каждом его крике мать мучительно пыталась приподняться, дрожа под ледяными компрессами.

Она истекала кровью, раненная насмерть, убитая этими родами. Жизнь уходила, и, несмотря на лед, несмотря на все заботы, упорное кровотечение продолжалось, приближая ее последний час.

Она узнала Жака, хотела поднять руки, но не могла, до того они обессилели. По смертельно бледным щекам ее покатились слезы.

Жак бросился на колени перед постелью, схватил безжизненно свисавшую руку и стал безумно целовать ее. Потом он приблизился вплотную к исхудалому лицу, дрогнувшему от его прикосновения. Одна из сиде-

лок, стоя со свечой в руке, светила им, а доктор, отойдя от постели, смотрел из глубины комнаты.

Уже далеким и прерывающимся голосом она сказала:

— Я умираю, мой дорогой, обещай остаться при мне до конца. О, не покидай меня, не покидай меня в последний мой час!

Рыдая, он целовал ее лоб, волосы и шептал:

— Успокойся, я останусь.

Она несколько минут молчала, собираясь с силами,— так она была слаба и взволнованна.

— Это твой ребенок,— продолжала она.— Клянусь тебе богом, клянусь своей душой, клянусь тебе перед смертью. Я никого не любила, кроме тебя... Обещай мне, что ты не покинешь его.

Он обнял это бедное, искалеченное, бескровное тело. Вне себя от горя, мучимый укорами совести, он лепетал:

— Клянусь, что воспитаю его и буду любить. Я никогда не расстанусь с ним.

Тогда она попыталась поцеловать Жака. Но, не в силах поднять отяжелевшую голову, она протянула ему бледные губы, прося поцелуя. Он нагнулся, чтобы принять эту жалкую, молящую ласку.

Немного успокоившись, она прошептала чуть слышно:

— Принеси малютку, я хочу видеть, любишь ли ты его.

И он отправился за ребенком.

Он положил его на кровать между нею и собой, и крошечное существо перестало плакать. Она прошептала:

— Не двигайся.

И он не шевелился. Он стоял так, держа в горячей руке ее руку, вздрагивавшую в агонии, как только что держал другую, по которой пробегала дрожь любви. Время от времени он украдкой поглядывал на часы и видел, что стрелка миновала двенадцать, потом час, потом два.

Доктор ушел; обе сиделки, побродив некоторое время по комнате, задремали в креслах. Ребенок спал, и мать, закрыв глаза, казалось, также уснула.

Когда бледный рассвет стал проникать сквозь опущенные занавески, она внезапно протянула руки таким быстрым и резким движением, что чуть не уронила на пол ребенка. Что-то заклокотало у нее в горле, и она вытянулась на спине неподвижная, мертвая.

Сиделки, подбежав к постели, сказали:

— Конец.

Жак взглянул в последний раз на эту женщину, которую он когда-то любил, потом на часы, показывавшие четыре часа утра, и убежал, бросив пальто, в одном черном фраке, с ребенком на руках.

Оставшись одна после ухода мужа, молодая женщина сначала спокойно ждала его в японском будуаре. Но, видя, что он не возвращается, она вышла в гостиную, с виду равнодушная и безмятежная, но мучительно встревоженная в глубине души. Ее мать, увидев, что она одна, спросила:

— Где же твой муж?

— В своей комнате; он сейчас придет,— отвечала она.

Через час, когда все стали расспрашивать ее, она призналась, что Жаку подали письмо, что у него было страшно расстроенное лицо и она боится несчастья.

Подождали еще. Гости разъехались; остались только близкие родственники. В полночь плачущую новобрачную уложили в постель. Мать и две тетки, сидя вокруг кровати, слушали ее рыдания и горестно молчали... Отец отправился к полицейскому комиссару, чтобы навести справки.

В пять часов утра в коридоре послышались легкие шаги, отворилась и снова тихо захлопнулась дверь; потом по молчаливому дому внезапно разнесся детский крик, похожий на кошачье мяуканье.

Все женщины разом вскочили. Берта, не обращая внимания на мать и теток, первая выбежала навстречу в ночной рубашке.

Смертельно бледный и задыхающийся, Жак стоял посреди комнаты, держа в руках ребенка.

Четыре женщины в испуге смотрели на него. А Берта, вдруг осмелев, подошла к нему с мучительной тревогой в сердце:

— Что случилось?.. Скажите, что случилось?..

Он был похож на сумасшедшего.

— Случилось... случилось...— начал он прерывающимся голосом,— что это мой ребенок, а мать его только что умерла...

И он показал на плачущего малютку, которого неумело держал в руках.

Берта, не говоря ни слова, взяла ребенка, поцеловала и прижала к груди; потом, подняв на мужа полные слез глаза, сказала:

— Вы сказали, что мать умерла?

Он ответил:

— Да, только что... на моих руках... Я порвал с нею еще летом... Я ничего не знал... меня вызвал доктор...

— Ну, что ж, мы воспитаем этого малютку,— прошептала Берта.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА

Доктор Бонанфан стал рыться в своей памяти, повторяя вполголоса:

— Рождественский рассказ?.. Рождественский рассказ?..

И вдруг воскликнул:

— Ну, да! У меня есть одно воспоминание и даже очень необыкновенное. Это фантастическая история. Я видел чудо. Да, сударыни, чудо в рождественскую ночь.

Вас удивляет, что вы слышите это от меня, человека, ни во что не верующего? И, тем не менее, я видел чудо! Говорю вам, я его видел, видел собственными глазами, именно видел.

Удивило ли оно меня? Отнюдь нет: если я не верю в ваши догматы, то верю в существование веры и знаю, что она движет горами. Я мог бы привести много примеров. Но я боюсь возбудить в вас негодование и ослабить эффект моего рассказа.

Прежде всего признаюсь, что если я и не был переубежден всем виденным, то во всяком случае был очень взволнован, и я постараюсь бесхитростно передать вам все это с наивной доверчивостью овернца.

Я был тогда деревенским врачом и жил в местечке Рольвиль, в глуши Нормандии.

Зима в том году была лютая. С конца ноября после недели морозов выпал снег. Уже издалека виднелись тяжелые тучи, надвигавшиеся с севера, затем начали падать густые белые хлопья.

За одну ночь вся долина покрылась белым саваном.

Одинокие фермы, стоявшие среди квадратных дворов, за завесой больших деревьев, опушенных инеем, казалось, уснули под этим плотным и легким покрывалом.

Ни один звук не нарушал тишины деревни. Только вороньи стаи чертили длинные узоры по небу в напрасных поисках корма и, опускаясь тучей на мертвые поля, клевали снег своими большими клювами.

Ничего не было слышно, кроме мягкого и непрерывного шороха мерзлой пыли, продолжавшей сыпаться без конца.

Так длилось всю неделю, потом снегопад прекратился. Землю окутывал покров в пять футов толщиною.

В последующие три недели небо, днем ясное, как голубой хрусталь, а ночью все усыпанное звездами, словно инеем на холодной суровой глади, простиралось над ровной пеленой твердого и блестящего снега.

Долина, изгороди, вязы за оградой — все, казалось, было мертво, убито стужей. Ни люди, ни животные не показывались на улицу; одни только трубы, торчащие из хижин в белых сугробах, свидетельствовали о скрытой жизни тоненькими, прямыми струйками дыма, поднимавшегося в ледяном воздухе.

Время от времени слышался треск деревьев, как будто их деревянные руки ломались под корою: толстая ветка отделялась иногда и падала, потому что холод замораживал древесные соки и разрывал заледеневшие волокна.

Жилища, разбросанные там и сям среди полей, казались отделенными друг от друга на сто лье. Жили как придется. Один только я пытался навещать моих ближайших больных, беспрестанно рискуя быть погребенным в какой-нибудь яме.

Вскоре я заметил, что вся округа охвачена таинственным страхом. Толковали, что такое бедствие не может быть явлением естественным. Уверяли, что по ночам слышатся голоса, резкий свист, чьи-то крики.

Эти крики и свист, несомненно, издавали стаи птиц, перелетавшие в сумерки на юг. Но попробуйте переубедить обезумевших людей. Ужас охватил души, и все ждали какого-то необыкновенного события.

Кузница дядюшки Ватинеля стояла в конце деревушки Эпиван, на большой дороге, в те дни заметенной снегом и пустынной. И вот когда у рабочих вышел весь хлеб, кузнец решил сходить в деревню. Несколько часов он провел в разговорах, навестив с полдюжины домов, составлявших местный центр, достал хлеба, наслушался новостей и заразился страхом, царившим в деревне.

Еще до наступления темноты он отправился домой.

Проходя вдоль какого-то забора, он вдруг заметил на снегу яйцо, да, несомненно, яйцо, белое, как все кругом. Он наклонился: действительно, яйцо. Откуда оно? Какая курица могла выйти из курятника и снестись в этом месте? Удивленный кузнец ничего не понимал. Однако он взял яйцо и принес его жене.

— Эй, хозяйка, я принес тебе яйцо. Нашел его на дороге.

Жена покачала головой...

— Яйцо на дороге? В этакую погоду! Да ты, видно, пьян.

— Да нет же, хозяйка, оно лежало у забора и было еще теплое, не замерзло. Вот оно, я положил его за пазуху, чтоб оно не стыло. Съешь его за обедом.

Яйцо опустили в котел, где варился суп, а кузнец принялся пересказывать то, о чем толковали в деревне.

Жена слушала, побледнев.

— Ей-богу, прошлою ночью я слышала свист: мне даже казалось, что он шел из трубы.

Сели за стол. Сначала поели супу, потом, в то время как муж намазывал на хлеб масло, жена взяла яйцо и подозрительно осмотрела его.

— А если в этом яйце что-нибудь есть?

— Что же, по-твоему, может там быть?

— Почем я знаю!

— Будет тебе... Ешь и не дури.

Она разбила яйцо. Оно было самое обыкновенное и очень свежее.

Она стала нерешительно есть его, то откусывая кусочек, то оставляя, то опять принимаясь за него. Муж спросил:

— Ну, что, каково оно на вкус?

Она не ответила и, проглотив остатки яйца, вдруг уставилась на мужа пристальным, угрюмым и безумным взглядом: закинув руки, она сжала их в кулаки и упала наземь, извиваясь в конвульсиях и испуская страшные крики.

Всю ночь она билась в страшном припадке, сотрясаемая смертельной дрожью, обезображенная отвратительными судорогами. Кузнец, не в силах справиться с ней, принужден был ее связать.

Ни на минуту не умолкая, она вопила диким голосом:

— Он у меня в животе!.. Он у меня в животе!..

Меня позвали на следующий день. Я перепробовал без всякого результата все успокаивающие средства. Женщина потеряла рассудок.

С невероятной быстротой, несмотря на непроходимые сугробы, по всем фермам разнеслась новость, удивительная новость:

— В жену кузнеца вселился бес!

Отовсюду приходили любопытные, не решаясь, однако, войти в дом. Они слушали издали ее ужасные крики: трудно было поверить, что этот громкий вой принадлежит человеческому существу.

Дали знать деревенскому священнику. Это был старый, простодушный аббат. Он прибежал в стихаре, как для напутствия умирающему, и, протянув руки, произнес заклинательную формулу, пока четверо мужчин держали корчившуюся на кровати и брызгавшую пеной женщину.

Но беса так и не изгнали.

Наступило рождество, а погода стояла все такая же.

Накануне утром ко мне явился кюре.

— Я хочу,— сказал он,— чтоб эта несчастная присутствовала сегодня на вечернем богослужении. Быть может, господь сотворит для нее чудо в тот самый час, когда сам родился от женщины.

Я ответил ему:

— Вполне вас одобряю, господин аббат. Если на нее подействует богослужение — а это лучшее средство растрогать ее,— она может исцелиться и без лекарств.

Старый священник пробормотал:

— Вы, доктор, человек неверующий, но вы поможете мне, не правда ли? Вы возьметесь доставить ее?

Я обещал ему свою помощь.

Наступил вечер, затем ночь. Зазвонил церковный колокол, роняя грустный звон в мертвое пространство, на белую и мерзлую снежную гладь.

Послушные медному зову, медленно потянулись группы черных фигур. Полная луна озарила ярким и бледным светом горизонт, еще больше подчеркивая унылую белизну полей.

Я взял четырех сильных мужчин и отправился к кузнецу.

Одержимая по-прежнему выла, привязанная к кровати. Несмотря на дикое сопротивление, ее тщательно одели и понесли.

Церковь, холодная, но освещенная, была теперь полна народу; певчие тянули однообразный мотив; орган хрипел; маленький колокольчик в руках служки позванивал, управляя движениями верующих.

Женщину с ее сторожами я запер в кухне церковного дома и стал выжидать благоприятной, по моему мнению, минуты.

Я выбрал момент вслед за причастием. Все крестьяне, мужчины и женщины, причастившись, приобщились к своему богу, чтобы смягчить его суровость. Пока свя-

щенник совершал таинство, в церкви царила глубокая тишина.

По моему приказанию дверь отворилась, и мои четыре помощника внесли сумасшедшую.

Как только она увидела свет, коленопреклоненную толпу, освещенные хоры и золотой ковчег, она забилась с такой силой, что чуть не вырвалась из наших рук, и стала так пронзительно кричать, что трепет ужаса пронесся по церкви. Все головы поднялись, многие из молящихся убежали.

Она потеряла человеческий облик, корчилась и извивалась в наших руках, с искаженным лицом и безумными глазами.

Ее протащили до ступенек клироса и с силой пригнули к полу.

Священник стоял и ждал. Когда ее усадили, он взял дароносицу, на дне которой лежала белая облатка, и, сделав несколько шагов, поднял ее обеими руками над головой бесноватой, так, чтобы она могла видеть ее...

Она все еще выла, устремив пристальный взгляд на блестящий предмет.

Аббат продолжал стоять так неподвижно, что его можно было принять за статую.

Это тянулось долго-долго.

Женщину, казалось, охватил страх: она, как завороженная, не отрываясь, смотрела на чашу, все еще временами сотрясаясь страшной дрожью, и продолжала кричать, но уже не таким душераздирающим голосом.

И это тоже тянулось долго.

Казалось, она не могла отвести взгляд от дароносицы и уже только стонала, ее напряженное тело ослабело и поникло.

Вся толпа пала ниц.

Теперь одержимая то быстро опускала веки, то снова поднимала их, точно не в силах была вынести зрелища своего бога. Она уже не кричала. Вскоре я заметил, что она закрыла глаза. Она спала сном сомнамбулы, загипнотизированная — простите, умиротворенная — пристальным созерцанием блестевшей золотом чаши, сраженная Христом-победителем.

Ее унесли обессилевшую, и священник вернулся в алтарь.

Потрясенные свидетели грянули «Te deum» во славу милости господней.

Жена кузнеца проспала сорок часов подряд, потом проснулась, ничего не помня ни о болезни, ни об исцелении.

Вот, сударыни, виденное мною чудо.

Доктор Бонанфан умолк, потом с досадой прибавил:

— Я принужден был засвидетельствовать чудо в письменной форме.

КОРОЛЕВА ГОРТЕНЗИЯ

В Аржантейле ее звали Королевой Гортензией. Почему,— никто так и не мог узнать. Может быть, потому, что она говорила тем решительным тоном, каким офицер отдает команду. Может быть, потому, что была высока ростом, широка в кости и величественна. А возможно, и потому, что она воспитывала целое полчище домашних животных: кур, собак, кошек, чижей и попугаев,— животных, которые так дороги сердцу старых дев. Но для этих зверьков у нее не было ни баловства, ни ласковых слов, ни ребяческих нежностей, изливаемых так часто женскими устами на бархатную спинку мурлыкающей кошки. Она управляла своими животными властно — она царствовала над ними.

Она и в самом деле была старой девой, одною из тех старых дев, которым присущи резкий голос, грубые жесты, жестокая, казалось бы, душа. Она всегда держала молоденьких служанок, потому что молодость легче склоняется перед крутою волей. Она не допускала ни противоречий, ни возражений, ни колебаний, ни беспечности, ни лени, ни усталости. Никогда никто не слышал, чтобы она жаловалась, сожалела о чем-нибудь, завидовала кому-нибудь. «Всякому свое»,— говорила она с убеждением фаталистки. Она не ходила в церковь, не любила попов, совсем не верила в бога и называла все религиозные атрибуты «товаром для плакс».

В течение тридцати лет своей жизни в маленьком доме, отделенном от улицы небольшим садом, она не

изменила привычек, безжалостно меняя одних только служанок, когда они достигали двадцати одного года.

Без слез и сожалений она заменяла новыми своих собак, кошек и птиц, когда они умирали от старости или от несчастного случая: погибших она хоронила под цветочною клумбой, рыла могилку небольшой железной лопаткой, потом равнодушно утаптывала землю ногой.

В городе у нее было несколько знакомых чиновничьих семей, где мужчины ежедневно отправлялись на службу в Париж. Время от времени ее приглашали на вечерний чай. Она неизбежно засыпала на этих собраниях, и ее приходилось будить перед уходом. Никогда она не позволяла провожать себя, потому что ничего не боялась ни днем, ни ночью. Детей она, казалось, не любила.

Все свое время она заполняла мужскими работами: столярничала, работала в саду, пилила или колола дрова, чинила свой ветшавший дом, а в случае нужды сама штукатурила стены.

У нее были родственники, навещавшие ее два раза в год: Симмы и Коломбели; две ее сестры вышли замуж — одна за аптекаря, другая за мелкого рантье. У Симмов не было потомства, у Коломбелей же было трое детей: Анри, Полина и Жозеф. Анри было двадцать лет, Полине — семнадцать, а Жозефу — только три. Он родился в то время, когда, казалось, матери его уже поздно было иметь детей.

Старая дева не испытывала ни малейшей привязанности к своим родственникам.

Весною 1882 года Королева Гортензия вдруг захворала. Соседи пригласили доктора; она его выгнала. Тогда явился священник, но она поднялась, раздетая, с постели и вытолкала его вон.

Вся в слезах, молоденькая служанка приготовляла ей лекарственную настойку.

Она пролежала так три дня, и положение ее стало настолько опасно, что сосед-бочар, по совету доктора, силою вошел в дом и взял на себя труд известить родных.

Они приехали с одним и тем же поездом, около десяти утра. Коломбели привезли с собою маленького Жозефа.

Подойдя к садовой калитке, они прежде всего увидели служанку, которая сидела на стуле у стены дома и горько плакала.

У порога на соломенном половике, развалившись под палящим солнцем, спала собака. Две кошки, вытянувшись, с закрытыми глазами, расправив хвосты и лапы, лежали неподвижно, как мертвые, на подоконниках двух окон.

Толстая наседка с выводком цыплят, одетых желтым пухом, легким, как вата, бродила, кудахтая, по небольшому саду, а в огромной клетке, привешенной на стене и прикрытой курослепом, целая стая птиц, опьяненная светом теплого весеннего утра, оглашала пением воздух.

В другой клетке, в виде домика, смирно сидели рядом на одной жердочке два зеленых попугая-неразлучника.

Г-н Симм, толстый, сопящий человек, входивший всюду первым, расталкивая в случае надобности мужчин и женщин, спросил:

— Ну что, Селеста, плохо дело?

Служанка проговорила сквозь слезы:

— Она меня не узнает больше. Доктор говорит, что это конец.

Все переглянулись.

Г-жа Симм и г-жа Коломбель, не говоря ни слова, вдруг поцеловались. Они были очень похожи друг на друга, у обеих были гладко расчесанные на пробор волосы и красные шали на плечах, шали из французского кашемира яркого, огненного цвета.

Симм обернулся к зятю, бледному, желтому, худому человеку, терзаемому болезнью желудка и сильно хромавшему, и произнес серьезным тоном:

— Пора было, черт возьми!

Но никто не осмеливался войти в комнату умирающей, расположенную в нижнем этаже. Даже Симм отказался тут от первенства. Первым отважился Коломбель. Качаясь, как корабельная мачта, он вошел, стуча по каменному полу железным наконечником своей палки.

За ним решились на это и обе женщины, а г-н Симм замыкал шествие.

Маленький Жозеф остался на улице, пленившись собакой.

Луч солнца, падавший на середину кровати, освещал только руки умирающей, которые нервно и неустанно двигались, то раскрываясь, то сжимаясь. Пальцы шевелились, точно оживленные какою-то мыслью; они словно указывали на что-то, объясняли, старались выразить. Тело умирающей лежало неподвижно под простыней. На худом лице не вздрагивал ни один мускул. Глаза были закрыты.

Родственники расположились полукругом у кровати, безмолвно уставясь на сдавленную грудь, дышавшую коротко и отрывисто. За ними, продолжая плакать, вошла молоденькая служанка.

Наконец Симм спросил:

— Что же в точности сказал доктор?

Девушка пролепетала:

— Он сказал, чтобы ее оставили в покое, что ничего больше сделать нельзя.

Но вот губы старой девы зашевелились. Казалось, она тихо произнесла какие-то слова, сохранившиеся в ее угасавшем мозгу, и странные движения ее рук усилились.

Вдруг она заговорила тоненьким голоском, совсем не свойственным ей, идущим, казалось, откуда-то издалека, быть может, из самой глубины ее вечно замкнутого сердца.

Симм на цыпочках вышел из комнаты, находя зрелище слишком тяжелым. Коломбель, у которого устала хромая нога, сел на стул.

Обе женщины продолжали стоять.

Королева Гортензия что-то болтала теперь очень быстро, но слова ее трудно было разобрать. Она произносила имена, множество имен, нежно призывая воображаемых людей.

— Подойди сюда, мой маленький Филипп, поцелуй свою маму. Ты очень любишь маму, скажи, дитя мое? Роза, ты посмотришь за сестренкой, пока меня не будет дома. Главное, не оставляй ее одну, слышишь? И не смей трогать спичек.

Она помолчала несколько секунд, потом громче, точно зовя кого-то, продолжала:

— Анриетта!..

Подождав немного, она прибавила:

— Скажи твоему отцу, чтоб он пришел поговорить со мной до ухода в контору.

И вдруг:

— Мне сегодня немного нездоровится, мой дорогой, обещай не приходить слишком поздно. Скажи начальнику, что я больна. Ты ведь понимаешь, опасно оставлять детей одних, когда я в постели. Я сделаю тебе к обеду блюдо сладкого рису. Дети очень это любят. Особенно будет довольна Клара.

Она рассмеялась звонким молодым смехом, как никогда не смеялась.

— Посмотри на Жана, какое у него смешное лицо. Весь измазался в варенье, маленький неряха. Посмотри, мой дорогой, какой он потешный.

Коломбель, поминутно менявший положение больной ноги, утомленной путешествием, прошептал:

— Ей кажется, что у нее дети и муж. Это начало агонии.

Обе сестры стояли, не двигаясь, удивленные и растерянные.

— Снимите шляпы и шали,— сказала служанка.— Не пройдете ли в гостиную?

Они вышли, не произнося ни слова. Коломбель, хромая, поплелся за ними, и умирающая снова осталась одна.

Освободившись от дорожных нарядов, женщины наконец уселись. Одна из кошек потянулась, соскочила с окна и взобралась на колени к г-же Симм. Та стала гладить ее.

Из спальни слышался голос умирающей, которая переживала в этот последний час свою жизнь такою, как она должна была бы сложиться, переживала сокровенные мечты в ту минуту, когда все для нее должно было кончиться.

Толстяк Симм играл в саду с Жозефом и собакой, веселясь от всей души на лоне природы и совершенно забыв об умирающей.

Но наконец он вошел в комнату и обратился к служанке:

— А ну-ка, голубушка, не состряпаешь ли ты нам завтрак? Что угодно покушать дамам?

Заказали яичницу с зеленью, кусок мяса с молодым картофелем, сыр и кофе.

И когда г-жа Коломбель стала искать в кармане кошелек, Симм остановил ее и спросил девушку:

— У тебя, наверное, есть деньги?

Она отвечала:

— Да, сударь.

— Сколько?

— Пятнадцать франков.

— Этого достаточно. Поторопись, милая, так как я уже проголодался.

Г-жа Симм, глядя в окно на вьющиеся растения, залитые солнцем, и на двух влюбленных голубей на крыше противоположного дома, огорченно произнесла:

— Как досадно съехаться при таких печальных обстоятельствах. Сегодня так чудесно было бы погулять на воздухе!

Сестра ответила безмолвным вздохом, а Коломбель, придя, должно быть, в ужас при мысли о прогулке, пробормотал:

— Нога болит у меня отчаянно.

Маленький Жозеф и собака производили невообразимый шум: мальчик испускал крики восторга, а животное отчаянно лаяло. Они играли в прятки, бегая вокруг трех цветочных грядок, и неистово гонялись друг за другом.

Умирающая продолжала призывать своих детей, разговаривая с каждым отдельно, воображая, что одевает их, ласкает, учит читать.

— Ну, Симон, повторяй: а, б, ц, д. Ты плохо выговариваешь, скажи: д, д, д. Слышишь? Ну, повтори...

Симм произнес:

— Какие странные вещи говорят в подобные минуты.

Г-жа Коломбель спросила:

— Может быть, лучше опять пойти к ней?

Но Симм тотчас же поспешил возразить:

— Зачем? Все равно вы ей не поможете. Нам и здесь хорошо.

Никто не настаивал. Г-жа Симм рассматривала

двух зеленых попугаев-неразлучников. Она превозносила их удивительную верность, порицая мужчин за то, что они не подражают этим птицам. Симм стал смеяться и, глядя на жену, принялся насмешливо напевать: «Тра-ла-ла, тра-ла-ла...»,— как бы намекая на что-то, относящееся к его, Симма, верности.

У Коломбеля в это время начались спазмы в желудке, и он принялся стучать палкой об пол.

Вбежала другая кошка, подняв хвост трубой.

Сели за стол почти в час.

Коломбель, которому было предписано употреблять только хорошее бордо, попробовал вино и подозвал служанку.

— Скажи, миленькая, неужели в погребе нет ничего получше этого?

— Как же, есть, сударь, хорошее вино, то, что подавалось вам, когда вы приезжали.

— Так принеси-ка нам три бутылочки.

Попробовали нового вина, которое оказалось превосходным не потому, что было хорошего сорта, а потому, что простояло лет пятнадцать в погребе.

— Вот настоящее бордо для больных,— заявил Симм.

Коломбель, охваченный страстным желанием завладеть этим бордо, снова спросил девушку:

— Сколько его там еще осталось, милая?

— О, почти все, сударь! Мадмуазель никогда его не пила. В погребе его целая куча.

Тогда Коломбель обратился к зятю:

— Если позволите, Симм, я возьму это вино взамен чего-нибудь другого. Оно необычайно полезно для моего желудка.

Вошла наседка с выводком цыплят. Обе женщины забавлялись, бросая им крошки.

Жозефа и собаку как следует накормили и отослали в сад.

Королева Гортензия все еще разговаривала, но теперь уже тихо, так что ее слов уже нельзя было разобрать.

Кончив пить кофе, пошли посмотреть, в каком положении находится больная. Она, казалось, успокоилась.

Все снова вышли и уселись в саду, чтобы на воздухе предаться пищеварению.

Вдруг собака стала быстро носиться вокруг стульев, держа что-то в зубах. Ребенок со всех ног побежал за ней, и оба исчезли в доме.

Симм уснул, выставив живот на солнце.

Умирающая опять громко заговорила и вдруг вскрикнула.

Обе женщины и Коломбель поспешили войти в дом и посмотреть, что с ней. Проснувшийся Симм не двинулся с места, так как не любил себя расстраивать.

Королева Гортензия сидела на постели с блуждающим взором. Собака, спасаясь от преследований маленького Жозефа, вскочила на кровать, перепрыгнув через хозяйку, и, прячась за подушкой, смотрела блестящими глазами на мальчика, готовая снова спрыгнуть, чтобы продолжать беготню. В зубах она держала туфлю своей хозяйки, изглоданную во время игры.

Ребенок, оробев при виде этой женщины, внезапно поднявшейся на ложе, неподвижно остановился у кровати.

Напуганная шумом курица вскочила на стул, в отчаянии созывая своих цыплят, растерянно метавшихся и пищавших под стулом.

Королева Гортензия кричала раздирающим голосом:

— Нет, нет, я не хочу умирать!.. Не хочу, не хочу!.. Кто воспитает моих детей? Кто будет о них заботиться? Кто будет их любить? Нет, не хочу... не...

Она упала навзничь. Все было кончено.

Возбужденная собака вертелась и скакала по комнате.

Коломбель подбежала к окну и позвала шурина:

— Идите скорее, идите скорее! Мне кажется, она умерла.

Тогда Симм поднялся, покорясь участи, и вошел в комнату, бормоча:

— Это кончилось скорее, чем можно было ожидать.

ПРОЩЕНИЕ

Она выросла в одной из тех семей, которые живут замкнутой жизнью и всего чуждаются.

Они не знают о политических событиях, хотя за столом и упоминают о них; но ведь перемены правительства происходят так далеко, так далеко, что о них говорят, как об исторических фактах, точно о смерти Людовика XVI или высадке Наполеона.

Нравы и моды меняются. В тихой семье, всегда следующей традиционным обычаям, этого совсем не замечают. И если в окрестностях разыгрывается какая-нибудь скандальная история, отголоски замирают у порога такого дома. Только отец и мать как-нибудь вечером обменяются несколькими словами о происшедшем, и то вполголоса, так как и у стен бывают уши. Отец таинственно скажет:

— Ты слыхала об этой ужасной истории в семье Ривуалей?

И мать ответит:

— Кто мог бы этого ожидать? Прямо ужасно!

Дети ни о чем не догадываются и, подрастая, вступают в жизнь с повязкой на глазах и мыслях, не подозревая об изнанке жизни, не зная, что мысли не всегда соответствуют словам, а слова — поступкам, не ведая, что надо жить в войне со всеми или по крайней мере хранить вооруженный мир, не догадываясь, что за до-

верчивость вас обманывают, за искренность предают, за доброту платят обидой.

Иные так и живут до самой смерти в ослеплении чистоты, прямодушия и честности, до такой степени не тронутые жизнью, что ничто не в состоянии открыть им глаза.

Другие, выведенные из заблуждения, растерянные, сбитые с толку, в отчаянии падают и умирают, считая себя игрушкой жестокой судьбы, несчастной жертвой гибельных обстоятельств и каких-то на редкость преступных людей.

Савиньоли выдали замуж свою дочь Берту, когда ей было восемнадцать лет. Она вышла за молодого парижанина, Жоржа Барона, биржевого дельца. Он был красивый малый, хорошо говорил и был, по-видимому, человек порядочный. В душе он немного посмеивался над отсталостью своих нареченных родителей, называя их в товарищеском кругу: «Мои милые ископаемые».

Он принадлежал к хорошей семье; девушка была богата. Муж увез ее в Париж.

Она стала одной из многочисленных провинциалок Парижа. Она жила, не зная и не понимая этого большого города, его элегантного общества, его развлечений и модных туалетов, как не понимала жизни с ее вероломством и тайнами.

Ограничив себя хозяйственными заботами, она знала только свою улицу, а когда отваживалась побывать в другом квартале, прогулка казалась ей далеким путешествием в незнакомый и чужой город. Вечером она говорила:

— Я сегодня проходила бульварами.

Два — три раза в год муж водил ее в театр. Это были настоящие праздники; воспоминание о них никогда не исчезало, и разговор постоянно возобновлялся.

Иногда, месяца три спустя, она начинала вдруг смеяться за столом и восклицала:

— Помнишь того актера, который был одет генералом и кричал петухом?

Ее знакомства ограничивались двумя семьями дальних родственников, представлявшими для нее все

человечество. Она называла их всегда во множественном числе: эти Мартине, эти Мишлены.

Муж ее жил в свое удовольствие, возвращался когда вздумается, иногда на рассвете, под предлогом всяких дел, и нисколько не стеснялся, так как был уверен, что подозрение никогда не коснется ее чистой души.

Но раз утром она получила анонимное письмо.

Она растерялась; ведь она была слишком прямодушна, чтобы понять низость подобных разоблачений и пренебречь письмом, автор которого уверял, что им руководит лишь забота о ее счастье, ненависть к злу и любовь к правде.

Ей сообщали, что вот уже два года, как у ее мужа есть любовница, молодая вдова, г-жа Россе, у которой он проводит все вечера.

Берта не умела ни притворяться, ни скрывать, ни выслеживать, ни хитрить. Когда муж пришел завтракать, она бросила ему письмо и, рыдая, убежала в свою комнату.

У него было достаточно времени, чтобы все обдумать и приготовить ответ. Он постучался к жене. Она сейчас же отворила, не смея на него взглянуть. Улыбаясь, он уселся, привлек ее к себе на колени и ласково, с легкой насмешкой, заговорил:

— Моя дорогая малютка, у меня действительно есть приятельница госпожа Россе; я знаю ее уже десять лет и очень люблю. Скажу больше, я знаком еще с двадцатью другими семьями, о которых я никогда не говорил тебе, так как ты ведь не ищешь общества, развлечений и новых знакомств. Но, чтобы раз навсегда покончить с этими гнусными доносами, я попрошу тебя после завтрака одеться и поехать вместе со мной к этой молодой женщине. Я не сомневаюсь, что ты подружишься с нею.

Она обняла мужа и из женского любопытства, которое, раз проснувшись, уже не засыпает, не отказалась поехать посмотреть на незнакомку, внушавшую ей все же некоторое подозрение. Инстинктивно она чувствовала, что опасность, о которой знаешь, не так страшна.

Она вошла в маленькую кокетливую квартиру на

пятом этаже красивого дома, полную безделушек и со вкусом убранную. После пятиминутного ожидания в гостиной, полутемной от обоев, портьер и грациозно спадающих занавесок, дверь отворилась, и в комнату вошла молодая женщина, брюнетка, небольшого роста, немного полная, с удивленной улыбкой.

Жорж представил обеих женщин друг другу.

— Моя жена — госпожа Жюли Россе.

Молодая вдова, слегка вскрикнув от радости и неожиданности, бросилась навстречу, протянув обе руки. Она никогда не надеялась, говорила она, иметь счастье видеть госпожу Барон, зная, что та нигде не бывает; она так счастлива, так счастлива!.. Она так любит Жоржа (с дружеской близостью она назвала его просто Жоржем), что ей до безумия хотелось познакомиться с его женой и тоже полюбить ее.

Через месяц новые подруги были неразлучны. Они виделись ежедневно, иногда даже по два раза в день, постоянно обедали вместе то у одной, то у другой. Жорж теперь совсем не выходил из дому, не отговаривался больше делами и уверял, что обожает свой домашний очаг.

Наконец, когда в доме, где жила г-жа Россе, освободилась квартира, г-жа Барон поспешила занять ее, чтобы быть еще ближе со своей неразлучной подругой.

Целых два года длилась эта безоблачная дружба, дружба души и сердца, неизменная, нежная, преданная и очаровательная. Берта не могла больше ни о чем говорить, чтобы не произнести имя Жюли, казавшейся ей совершенством.

Она была счастлива полным, спокойным и тихим счастьем.

Но вдруг г-жа Россе заболела. Берта не отходила от нее. Она проводила возле нее ночи, была безутешна; муж тоже был в отчаянии.

И вот как-то утром врач, уходя от больной, отвел в сторону Жоржа и его жену и объявил им, что находит положение их приятельницы очень серьезным.

Когда он ушел, молодые люди, пораженные, сели друг против друга и внезапно расплакались. Целую

ночь они провели вместе у постели больной; Берта каждую минуту нежно ее целовала, а Жорж, стоя в ногах кровати, молча и упорно глядел на больную.

Наутро ее положение сильно ухудшилось.

Вечером она заявила, что чувствует себя лучше, и уговорила друзей спуститься к себе домой и пообедать.

Они грустно сидели в столовой, не притрагиваясь к еде, когда служанка подала Жоржу запечатанный конверт. Он вскрыл его, прочел, побледнел, поднялся и как-то странно сказал жене:

— Подожди меня... Мне необходимо отлучиться ненадолго. Через десять минут я вернусь. Главное, не уходи из дома.

И он побежал к себе за шляпой.

Берта ждала его, терзаясь новой тревогой. Но, послушная во всем, она не хотела идти наверх к подруге, пока муж не вернется.

Так как он не являлся, ей пришло в голову пройти в его комнату и посмотреть, захватил ли он перчатки.

Перчатки сразу же бросились ей в глаза; рядом с ними валялась скомканная бумажка.

Она сейчас же узнала ее: то была записка, поданная Жоржу.

И жгучее искушение прочесть, узнать, в чем дело, охватило ее первый раз в жизни. Возмущенная совесть боролась, но любопытство, болезненное и возбужденное, толкало ее руку. Она взяла бумажку, развернула и сейчас же узнала почерк Жюли в этих дрожащих буквах, выведенных карандашом. Она прочитала: «Приди один поцеловать меня, мой бедный друг. Я умираю».

Сначала она ничего не поняла и стояла ошеломленная, потрясенная мыслью о смерти. Потом ум ее поразило это «ты», и точно молния вдруг осветила всю ее жизнь, всю гнусную истину, их измену и предательство. Она увидела ясно их долгое коварство, их взгляды, наивность своей поруганной веры, свое обманутое доверие. Она как бы снова увидела, как вечером, сидя рядом под абажуром ее лампы, они читают одну и

ту же книгу, встречаясь глазами в конце каждой страницы.

И сердце ее, переполненное негодованием, омертвевшее от горя, погрузилось в безграничное отчаяние.

Послышались шаги; она убежала к себе и заперлась.

Муж вскоре окликнул ее:

— Иди скорее: госпожа Россе умирает!

Берта появилась на пороге и дрожащими губами произнесла:

— Возвращайтесь к ней один: во мне она не нуждается.

Он смотрел на нее безумными глазами, ничего не понимая от горя, и повторял:

— Скорее, скорее, она умирает!

Берта ответила:

— Вы предпочли бы, чтобы это случилось со мною.

Тогда, вероятно, он понял; он вышел и опять поднялся к умирающей.

Он оплакивал ее, не скрываясь больше и не стыдясь, равнодушный к страданию жены, которая перестала с ним говорить, замкнулась в своей обиде, в своем гневном возмущении и проводила время в молитве.

Тем не менее они жили вместе, обедали, сидя друг против друга, молча, с отчаянием в душе.

Наконец он мало-помалу успокоился. Но она не прощала его.

И жизнь тянулась тягостно для обоих.

Целый год прожили они чужими друг для друга, точно незнакомые. Берта чуть не сошла с ума.

Однажды, выйдя на рассвете из дому, Берта вернулась около восьми часов, держа обеими руками огромный букет белых, совершенно белых роз.

Она послала сказать мужу, что хочет говорить с ним.

Он явился встревоженный и смущенный.

— Мы сейчас выйдем вместе,— сказала она ему,— возьмите эти цветы: они слишком тяжелы для меня.

Он взял букет и последовал за женой. Их ждала карета, тронувшаяся, как только они сели.

Она остановилась у ворот кладбища. Берта, с полными слез глазами, сказала Жоржу:

— Проводите меня на ее могилу.

Весь дрожа, ничего не понимая, он пошел вперед, по-прежнему держа цветы в руках. Наконец он остановился у белой мраморной плиты и молча показал на нее.

Тогда она взяла у него букет и, опустившись на колени, положила его в ногах могилы; потом погрузилась в горячую безмолвную молитву.

Стоя позади нее, муж плакал, охваченный воспоминаниями.

Она поднялась с колен и протянула ему руки.

— Если хотите, будем друзьями,— сказала она.

ЛЕГЕНДА О ГОРЕ СВЯТОГО МИХАИЛА

Я увидел его сначала из Канкаля, этот замок фей, воздвигнутый среди моря. Я смутно увидел серую тень, высившуюся на облачном небе.

Другой раз я увидел его из Авранша при закате солнца. Все необъятное пространство песка было красно, красен был горизонт, красен весь огромный залив. Одни только отвесные стены аббатства, стоявшего на вершине горы, высоко над землей, как фантастический дворец, как поразительный волшебный замок, сказочно причудливый и красивый, оставались почти черными в пурпуре умирающего дня.

На другой день с рассветом я направился к нему через пески, не сводя глаз с этой грандиозной драгоценности, огромной, как гора, изящной, как камея, воздушной и легкой, как кисея. Чем ближе я подходил, тем больше восхищался, потому что в мире, может быть, нет ничего более поразительного и совершенного.

И, точно открыв жилище неведомого бога, я бродил по залам с легкими или массивными колоннами, по галереям с ажурными стенами, очарованно глядя на колоколенки, которые казались стрелами, уходящими в небо, на все это невероятное смешение башенок, водосточных труб, чудесных и легких орнаментов, на этот каменный фейерверк, на гранитное кружево, на этот шедевр грандиозной и тончайшей архитектуры.

В то время как я предавался восторгу, какой-то

крестьянин, нижненормандец, догнал меня и поведал историю великой распри святого Михаила с дьяволом.

Один гениальный скептик сказал: «Бог сотворил человека по образу своему, и человек отплатил ему тем же».

Это великая истина, и было бы очень любопытно составить для каждой страны историю местного божества, равно как и историю местных святых для каждой из наших провинций. Идолы негров — кровожадные людоеды; многоженец-магометанин населяет свой рай женщинами; греки, народ практичный, обожествляют все человеческие страсти.

Каждая деревня во Франции находится под защитой святого покровителя, созданного по образу ее обитателей.

Так, Нижнюю Нормандию оберегает святой Михаил, лучезарный архангел-победитель, меченосец, небесный воин, герой, попирающий ногою сатану.

Но вот как житель Нижней Нормандии, хитрый, лукавый, скрытный сутяга, понимает и излагает в своем рассказе великую борьбу святого с дьяволом.

Чтобы укрыться от злобы дьявола, сосед его, святой Михаил, построил себе посреди океана это жилище, достойное архангела. И действительно, только великий святой и мог создать себе такую обитель.

Но так как он все-таки боялся нападения лукавого, то окружил свой замок зыбучими песками, еще более предательскими, чем море.

Дьявол жил в убогой хижине на берегу, но владел лугами, заливаемыми соленой водой, великолепными тучными землями, где росли обильные хлеба, богатыми долинами и плодородными виноградниками по всей стране. Архангел же царил над одними песками, так что сатана был богат, а святой Михаил беден, как нищий.

После нескольких лет поста святому надоело такое положение, и он задумал войти в сделку с дьяволом. Но дело было нелегкое, так как сатана крепко держался за свои урожаи.

Святой раздумывал полгода и наконец однажды

утром отправился на землю. Дьявол сидел у двери и ел суп. Заметив архангела, он сейчас же поспешил к нему навстречу, поцеловал край его рукава, пригласил войти и подкрепиться.

Выпив чашку молока, святой Михаил начал свою речь:

— Я пришел предложить тебе выгодное дело.

Дьявол чистосердечно и доверчиво отвечал:

— Идет!

— Так вот... Ты уступишь мне все свои земли.

Встревоженный сатана хотел было возразить:

— Но...

Святой прервал его:

— Выслушай сначала. Ты уступишь мне свои земли. Я возьму на себя заботу о них, обработку, уход, посев, удобрение — словом, все. Жатву же будем делить пополам. Согласен?

Дьявол, лентяй по природе, согласился.

Он попросил только в виде надбавки немного той отличной рыбы, краснобородки, которую ловят вокруг одинокой горы. Святой Михаил обещал.

Они ударили по рукам, сплюнули в сторону в знак того, что дело слажено, и архангел снова заговорил:

— Послушай, я не хочу, чтобы ты на меня жаловался. Выбирай, что тебе больше нравится: вершки или корешки?

Сатана воскликнул:

— Я беру себе вершки.

— Ладно! — ответил святой.

И он удалился.

Прошло полгода, и в огромных владениях дьявола все было засеяно морковью, репой, луком, чесноком и всякими другими растениями, корни которых мясисты и вкусны, но листья годны разве только на корм скотине.

Сатана ничего не получил и захотел уничтожить договор, называя святого Михаила «обманщиком».

Но святой приохотился к земледелию и, опять отправившись к дьяволу, сказал ему:

— Я тут ни при чем, уверяю тебя... Так уж случилось, я не виноват. И, чтобы возместить тебе убытки, я предлагаю тебе на этот год взять корешки.

— Идет! — сказал сатана.

Следующей весной все владения злого духа были покрыты тучными колосьями хлебов, овсом, великолепным рапсом, льном, красным клевером, горохом, капустой, артишоками — всем, что может созревать под солнцем в виде зерен или плодов.

Сатана опять остался ни с чем и окончательно разозлился.

Он отобрал у архангела свои луга и нивы, оставаясь глухим ко всем новым предложениям соседа.

Прошел целый год. С высоты своего одинокого замка святой Михаил смотрел на далекую плодородную землю и видел дьявола, руководящего работами, собирающего жатву, молотящего хлеб. И, чувствуя свое бессилие, он был вне себя от гнева. Не имея возможности больше дурачить сатану, он решил отомстить и пригласил его к себе на обед в ближайший понедельник.

— Я знаю,— сказал он,— тебе не повезло в делах со мной. Но я не хочу, чтобы между нами оставалась вражда, я надеюсь, что ты придешь ко мне пообедать. Я угощу тебя вкусными блюдами.

Сатана, такой же обжора, как и лентяй, тотчас согласился. В назначенный день он разоделся в лучшее платье и отправился на гору.

Святой Михаил усадил его за роскошный стол. Сначала подали паштет с начинкой из петушиных гребешков и почек, а также с мясными сосисками; потом двух громадных краснобородок в сметане; потом белую индейку с каштанами, варенными в вине; потом барашка, нежного, как пирожное; потом овощи, таявшие во рту, и прекрасный горячий пирог, дымившийся и распространявший аромат масла.

Пили чистый сидр, пенистый и сладкий, за ним — крепкое красное вино, а каждое блюдо запивали старой яблочной водкой.

Дьявол пил и ел, как бездонная бочка, так много и так плотно, что его совсем вспучило и он уже не мог с собой совладать.

Но тут святой Михаил, грозно поднявшись, закричал громовым голосом:

— В моем присутствии! В моем присутствии, каналья! Ты смеешь... в моем присутствии...

Сатана, растерявшись, бросился бежать, а архангел, схватив палку, кинулся за ним.

Они бежали по низким залам, кружились вокруг столбов, взбирались на наружные лестницы, скакали по карнизам, прыгали с трубы на трубу. Несчастный демон чувствовал себя до того плохо, что готов был испустить дух, и, убегая, пачкал жилище святого. Наконец он очутился на последней террасе, на самом верху, откуда открывался весь огромный залив, с далекими городами, песками и пастбищами. Дальше бежать ему было некуда, и святой, дав ему в спину здорового пинка ногой, подбросил его, как мячик, в пространство.

Он дротиком взлетел к небу и тяжело упал перед городом Мортен. Рога и когти его глубоко вонзились в скалу, сохранившую навеки следы падения сатаны.

Он встал, хромая, да так и остался на веки вечные калекой, глядя издали на роковую гору, вздымавшуюся, как башня, в лучах заходящего солнца; он понял, что всегда будет побежден в этой неравной борьбе, и, волоча ногу, направился в отдаленные страны, оставив врагу свои поля, свои холмы, свои долины и луга.

Вот как святой Михаил, покровитель Нормандии, победил дьявола.

Другой народ представил бы себе эту борьбу по-иному.

ВДОВА

Это случилось в охотничий сезон в замке Банвиль. Осень была дождливая и скучная. Красные листья, вместо того чтобы шуршать под ногами, гнили в дорожных колеях, прибитые тяжелыми ливнями.

В лесу, почти совсем облетевшем, было сыро, как в бане. Под большими деревьями, исхлестанными осенними ветрами, пахло гнилью; от застоявшейся воды, мокрой травы и сырой земли поднимались испарения, пронизывая сыростью и охотников, горбившихся под беспрерывным ливнем, и унылых собак с опущенными хвостами и прилипшей к бокам шерстью, и молодых охотниц в обтянутых, промокших насквозь суконных платьях; все они возвращались вечером домой усталые и разбитые.

В большой гостиной по вечерам играли в лото, но без особого удовольствия, а ветер шумными порывами колотился в ставни, так что старые флюгера вертелись волчком. Чтобы развлечься, затеяли рассказывать истории, как это бывает в книгах, но никто не мог придумать ничего интересного. Охотники рассказывали анекдоты о ружейных выстрелах или толковали об истреблении кроликов, а дамы, сколько ни ломали голову, не могли обрести в себе фантазии Шахразады.

Все готовы были отказаться от этого развлечения, как вдруг одна молодая женщина, машинально играя рукою старой тетушки, оставшейся в девицах, заметила у нее на пальце колечко из светлых волос; она час-

то видела его и раньше, но не обращала на него внимания.

Тихонько поворачивая его вокруг пальца, она спросила:

— Скажи, тетя, что это за кольцо? Оно точно из детских волос.

Старая дева покраснела, затем побледнела и сказала дрожащим голосом:

— Это такая печальная, такая печальная история, что я не люблю о ней говорить. В этом причина несчастий всей моей жизни. Я тогда была еще очень молода, и это воспоминание так горестно, что я каждый раз плачу.

Всем сейчас же захотелось узнать, в чем дело, но тетушка не хотела говорить; однако ее так упрашивали, что она, наконец, уступила.

— Вы часто слышали от меня о семействе де Сантезов, ныне уже вымершем. Я знавала трех мужчин, последних его представителей. Все трое умерли одинаковой смертью. Это волосы последнего из них. Ему было тринадцать лет, когда он лишил себя жизни из-за меня. Вам кажется это странным, не правда ли?

О, это был какой-то особенный род, если хотите,— род сумасшедших, но очаровательных сумасшедших, сумасшедших от любви. Все они, из поколения в поколение, были во власти необузданных страстей, безудержных порывов, которые толкали их на самые безумные поступки, на фанатичную преданность, даже на преступления. Это было присуще им, как некоторым присуща пламенная вера. Ведь люди, уходящие в монахи, принадлежат к совсем другой породе, чем салонные завсегдатаи. Среди родных существовала поговорка: «Влюблен, как Сантез». Стоило только взглянуть на одного из них, чтобы это почувствовать. У них у всех были вьющиеся волосы, низко спускавшиеся на лоб, курчавая борода, большие, широко открытые глаза с проникновенным и как-то странно волнующим взглядом.

Дед того, от кого осталось вот это единственное

воспоминание, после многих приключений, дуэлей и похищений женщин безумно влюбился в возрасте шестидесяти пяти лет в дочь своего фермера. Я знала их обоих. Она была бледная блондинка, изящная, с неторопливой речью, с мягким голосом и кротким взглядом, кротким, как у самой мадонны. Старый сеньор взял ее к себе и вскоре так привязался к ней, что не мог обойтись без нее ни минуты. Его дочь и невестка, жившие в замке, находили это совершенно естественным, до такой степени любовь была в традициях их рода. Когда дело касалось страсти, ничто их не удивляло; если при них рассказывали о препятствиях, чинимых любящим, о разлученных любовниках или о мести за измену, обе они говорили с одной и той же интонацией огорчения: «О, как ему (или ей) приходилось страдать при этом!» И ничего больше. Они всегда сочувствовали сердечным драмам и никогда не возмущались, даже если дело кончалось преступлением.

И вот однажды осенью один молодой человек, г-н де Градель, приглашенный на охоту, похитил эту девушку.

Г-н де Сантез сохранил спокойствие, словно ничего и не случилось, но как-то утром его нашли повесившимся среди собак на псарне.

Его сын умер таким же образом в одной парижской гостинице, в 1841 году во время путешествия, после того как был обманут оперной певицей.

После него остался сын двенадцати лет и вдова, сестра моей матери. Она переехала с сыном к нам в Бертильон, имение моего отца. Мне было тогда семнадцать лет.

Вы не можете себе представить, какой удивительный и не по летам развитой ребенок был этот маленький Сантез. Можно было подумать, что вся способность любить, все бушующие страсти, свойственные его роду, воплотились в нем, последнем его потомке. Он вечно мечтал, одиноко гуляя целыми часами по вязовой аллее, тянувшейся от дома до леса. Из своего окна я наблюдала, как этот мальчуган задумчиво расхаживал степенным шагом, заложив за спину руки, опустив голову, и останавливался иногда, поднимая

глаза, точно видел, понимал и чувствовал, как взрослый юноша.

Часто после обеда, в ясные ночи, он говорил мне: «Пойдем помечтаем, кузина...» И мы уходили вместе в парк. Он вдруг останавливался перед лужайкой, где клубился белый пар, та дымка, в которую луна обряжает лесные поляны, и, сжимая мне руку, говорил:

— Посмотри, посмотри! Но ты не понимаешь меня, я это чувствую. Если бы ты понимала, мы были бы счастливы. Чтобы понимать, надо любить.

Я смеялась и целовала его, этого мальчика, который меня обожал.

Часто после обеда он усаживался на колени к моей матери и просил: «Расскажи нам, тетя, какую-нибудь историю о любви». И моя мать в шутку начинала рассказывать ему все семейные предания, все любовные приключения его предков, а этих приключений были тысячи, тысячи правдивых и ложных. Все эти люди стали жертвою своей репутации. Она кружила им головы, и они считали для себя долгом чести оправдать славу, которая шла об их роде.

При этих рассказах, то нежных, то страшных, ребенок приходил в возбуждение и иногда хлопал в ладоши, повторяя:

— Я тоже, я тоже умею любить, и лучше, чем все они.

И вот он начал робко и бесконечно трогательно ухаживать за мной; над ним смеялись, до такой степени это было забавно. Каждое утро я получала цветы, собранные им для меня, и каждый вечер, прежде чем уйти к себе, он целовал мне руку, шепча:

— Я люблю тебя.

Я была виновата, очень виновата и без конца продолжаю оплакивать свою вину; вся моя жизнь была искуплением этого, и я так и осталась старой девой или, скорее, невестой-вдовой, его вдовой. Меня забавляла эта детская любовь, я даже поощряла ее. Я кокетничала, старалась пленить его, как взрослого мужчину, была ласкова и вероломна. Я свела с ума этого ребенка. Для меня все это было игрой, а для наших матерей веселым развлечением. Ему было двенадцать лет. Подумайте! Кто мог бы принять всерьез такую

страсть? Я целовала его столько, сколько он хотел. Я писала ему даже любовные записочки, и наши матери прочитывали их. А он отвечал мне письмами, пламенными письмами, которые я сохранила. Он считал себя взрослым, думал, что наша любовь — тайна для всех. Мы забыли, что он был из рода Сантезов!

Это длилось около года. Раз вечером в парке он кинулся к моим ногам в безумном порыве и, целуя подол моего платья, твердил:

— Я люблю тебя, я люблю тебя, я умираю от любви. Если ты когда-нибудь обманешь меня, слышишь, если ты бросишь меня для другого, я сделаю то же, что мой отец...

И прибавил таким проникновенным тоном, что я вздрогнула:

— Ты ведь знаешь, что он сделал?

Я стояла пораженная, а он, встав с колен и поднявшись на носки, чтобы быть вровень с моим ухом — я была выше его, произнес нараспев мое имя: «Женевьева!» — таким нежным, таким красивым, сладостным голосом, что я задрожала с головы до ног.

— Пойдем домой, пойдем домой,— пробормотала я.

Он ничего больше не сказал и шел за мной. Но когда мы подошли к самому крыльцу, он остановил меня:

— Знаешь, если ты бросишь меня, я себя убью.

Я поняла тогда, что зашла слишком далеко, и стала сдержанней. Как-то раз он стал упрекать меня в этом, и я ответила ему:

— Ты теперь слишком взрослый для шуток и слишком молод для настоящей любви. Я подожду.

Мне казалось, что я вышла таким образом из затруднения.

Осенью его отдали в пансион. Когда он вернулся летом, у меня уже был жених. Он тотчас все понял и целую неделю был так задумчив, что я не могла отделаться от беспокойства.

На восьмой день, проснувшись утром, я увидела просунутую под дверь записочку. Я схватила ее, развернула и прочла:

«Ты покинула меня, но ты ведь помнишь, что я тебе говорил. Ты приказываешь мне умереть. Так как я

не хочу, чтобы меня нашел кто-нибудь другой, кроме тебя, то приди в парк на то самое место, где в прошлом году я сказал, что люблю тебя, и посмотри вверх».

Я чувствовала, что схожу с ума. Я поспешно оделась и побежала бегом, чуть не падая от изнеможения, к указанному им месту. Его маленькая пансионская фуражка валялась в грязи на земле. Всю ночь шел дождь. Я подняла глаза и увидела что-то качавшееся между листьями — дул ветер, сильный ветер.

Не знаю, что было со мною после этого. Должно быть, я дико вскрикнула, может быть, упала без сознания, а потом побежала к замку. Я пришла в себя на своей постели. Моя мать сидела у изголовья.

Мне казалось, что все это я видела в ужасном бреду. Я пролепетала: «А он... он... Гонтран?» Мне не ответили. Значит, это была правда.

Я не решилась увидеть его еще раз, но попросила длинную прядь его светлых волос. Вот... вот она...

И старая дева жестом отчаяния протянула свою дрожащую руку. Затем она несколько раз высморкалась, вытерла глаза и продолжала:

— Я отказала жениху, не объяснив почему... И... осталась навсегда... вдовою этого тринадцатилетнего ребенка.

Голова ее упала на грудь, и она долго плакала, погрузившись в мечты.

И когда все расходились на ночь по своим комнатам, один толстый охотник, потревоженный в своем душевном спокойствии, шепнул на ухо соседу:

— Что за несчастье — такая неумеренная чувствительность!

МАДМУАЗЕЛЬ КОКОТКА

Когда мы выходили из дома умалишенных, я заметил в углу двора высокого, худощавого человека, который настойчиво подзывал воображаемую собаку. Нежным, ласковым голосом он звал:

— Кокотка, миленькая моя Кокотка, иди сюда. Кокотка, иди сюда, иди, моя красавица!

При этом он похлопывал себя по ляжке, как будто приманивая собаку.

Я спросил врача:

— Кто это такой?

Он ответил:

— Ах, это неинтересный больной. Это кучер, по имени Франсуа, он сошел с ума после того, как утопил свою собаку.

Я стал упрашивать:

— Расскажите мне его историю. Ведь самые простые, самые незначительные события иной раз больнее всего хватают нас за сердце.

Вот что рассказал об этом человеке другой конюх, его товарищ.

В предместье Парижа жила семья богатого буржуа. Они занимали виллу, выстроенную посреди парка, на берегу Сены. У них был кучер Франсуа, деревенский парень, слегка туповатый, добродушный, простак, которого ничего не стоило обмануть.

Однажды вечером, когда он возвращался после

отлучки, за ним увязалась собака. Сперва он не обратил на нее внимания, но она так упорно шла за ним по пятам, что он волей-неволей обернулся. Он стал присматриваться, не знакома ли ему эта собака. Нет, он видел ее в первый раз.

Это была сука, ужасающей худобы, с огромными отвислыми сосками. Она семенила за ним, жалкая, изголодавшаяся, поджав хвост и прижав уши, замирала на месте, когда он останавливался, и опять плелась сзади, едва он трогался в путь.

Он хотел было прогнать этот живой скелет и крикнул:

— Пошла вон! Говорят тебе, убирайся! Пшла! Пшла!

Она отбежала на несколько шагов и присела, видимо, выжидая; но когда кучер пошел дальше, она снова потащилась вдогонку.

Он нагнулся и сделал вид, что подбирает камни. Собака отбежала подальше, раскачивая дряблыми сосками, но тотчас же возвратилась, едва Франсуа повернулся к ней спиной.

Тут кучеру стало жалко собаку, и он ее позвал. Она робко подошла, выгибая хребет, такая худая, что казалось, ребра вот-вот порвут ей шкуру. Он потрепал собаку по костлявой спине и, тронутый ее плачевным видом, сказал:

— Ладно уж, пойдем!

Она тотчас же завиляла хвостом, радуясь, что ее принимают, признают своей, и, забежав вперед, затрусила перед своим новым хозяином.

Он поместил ее в конюшне, на соломенной подстилке; потом сбегал на кухню за хлебом. Наевшись до отвала, собака свернулась клубком и заснула.

На другой день кучер рассказал хозяевам про собаку, и они разрешили ему оставить ее у себя. Она казалась ласковой, преданной, умной и тихой.

Но вскоре у нее обнаружился ужасный недостаток. Она круглый год предавалась любви. В короткое время она спуталась чуть ли не со всеми псами в округе, и они рыскали день и ночь вокруг виллы. Любому из псов она оказывала благосклонность с безразличием уличной девки, прекрасно ладила со всеми и таскала

за собой целую свору, где были самые разнообразные представители лающего племени, одни величиною с кулак, другие — с доброго осла. Она водила их по дорогам, совершая нескончаемые прогулки, и, когда присаживалась отдохнуть на траве, они располагались возле нее кружком и созерцали ее, высунув язык.

Местные жители считали ее каким-то феноменом,— таких случаев еще не приходилось наблюдать. Ветеринар, и тот не мог понять, в чем дело.

Когда она возвращалась вечером к себе в конюшню, свора псов начинала форменную осаду усадьбы. Они пробирались в парк, протискиваясь между кустами живой изгороди, разрывали грядки, топтали цветы, копали ямы на клумбах, приводя в отчаяние садовника. Они выли всю ночь напролет, окружив конюшню, где спала их подруга, и никакими силами нельзя было их разогнать.

Днем они ухитрялись даже пробираться в дом. Это было настоящее нашествие, напасть, бедствие! Хозяева то и дело встречали на лестнице и даже в комнатах маленьких желтых шавок с хвостом в виде султана, охотничьих собак, бульдогов, одичалых волкодавов, бездомных бродяг со свалявшейся от грязи шерстью и огромных ньюфаундлендов, от которых с плачем убегали дети.

Теперь в этих краях стали шататься собаки, никому не известные на целых десять лье в окружности; неведомо откуда они являлись, неведомо чем кормились и через некоторое время бесследно исчезали.

А между тем Франсуа обожал Кокотку. Он назвал ее Кокоткой без тени насмешки, хотя она вполне заслуживала это название, и беспрестанно твердил: «Такая умная тварь,— совсем как человек. Только что не говорит!»

Он заказал ей великолепный ошейник из красной кожи с медной бляшкой, на которой были выгравированы слова: «Мадмуазель Кокотка, кучера Франсуа».

Она стала огромной. Насколько прежде она была худа, настолько теперь сделалась тучной, а под ее раздутым животом по-прежнему болтались длинные отвислые соски. Быстро растолстев, она, подобно тучным людям, тяжело ступала, растопыривая лапы,

тяжело дыша открытой пастью, не в силах пробежать и нескольких шагов.

Она обнаружила феноменальную плодовитость,— едва успев ощениться, нагуливала новых щенят и производила на свет четыре раза в год по целому выводку крохотных песиков, принадлежавших ко всем разновидностям собачьей породы. Франсуа оставлял одного, чтобы у нее «сошло молоко», а остальных собирал в свой кожаный фартук и без всякой жалости топил в реке.

Но вскоре к жалобам садовника присоединила свои жалобы и кухарка. Она обнаруживала собак в буфете, в чулане, где хранился уголь, повсюду — вплоть до печки, и они тащили все, что только им попадалось.

Наконец, хозяин, потеряв последнее терпение, приказал Франсуа отделаться от Кокотки. Огорченный малый стал искать, куда бы ему пристроить собаку. Никто ее не брал. Тогда он поручил одному возчику завезти ее подальше и бросить в поле по ту сторону Парижа, возле Жуанвиль-ле-Пон.

В тот же вечер Кокотка возвратилась.

Надо было принимать серьезное решение. За пять франков собаку согласился захватить начальник поезда, идущего в Гавр. Он должен был выпустить ее по прибытии туда.

На третий день к вечеру Кокотка притащилась на конюшню, взъерошенная, отощавшая, исцарапанная, чуть живая.

Хозяин разжалобился и оставил ее в покое.

Но вскоре псы возвратились еще в большем количестве, еще более остервенелые, чем раньше. И однажды вечером, когда хозяин давал большой обед, какой-то дог утащил фаршированную трюфелями пулярку прямо из-под носа у кухарки, которая не решилась вырвать у него птицу.

На этот раз хозяин не на шутку рассердился и, позвав Франсуа, гневно сказал ему:

— Если вы до завтрашнего утра не утопите эту тварь в реке, я вас выставлю за дверь, слышите?

Конюх был как громом поражен; он поднялся к себе в каморку, чтобы уложить свои вещи в чемодан,

так как предпочитал уйти с места. Потом он сообразил, что ведь все равно его никуда не примут, если он будет таскать за собой эту беспокойную тварь; подумал о том, что служит в порядочном доме, получает хорошее жалованье и харчи, и решил, что, по правде сказать, собака не стоит всех этих благ. В конце концов, собственные интересы взяли верх, и Франсуа решил покончить с Кокоткой на рассвете.

Он плохо спал в эту ночь. На заре он встал, захватил крепкую веревку и пошел за собакой. Она медленно поднялась с подстилки, встряхнулась, лениво потянулась и, виляя хвостом, подошла к хозяину.

У него упало сердце, и он начал нежно обнимать собаку, гладить ее длинные уши и, целуя в морду, называл ее всеми ласковыми именами, какие только знал.

Но вот где-то рядом часы пробили шесть. Надо было действовать. Он распахнул дверь и сказал: «За мной!» Животное завиляло хвостом, радуясь, что они идут гулять.

Подойдя к реке, он выбрал самое глубокое место, затем привязал веревку одним концом к ее нарядному кожаному ошейнику и, подобрав большой камень, обвязал его другим концом веревки. Схватив Кокотку, он стал тискать ее в объятиях, нежно целуя, словно расставаясь с дорогим существом. Он прижимал ее к груди, баюкал, называл: «Красавица моя Кокоточка, милая моя Кокоточка!», а она только повизгивала от удовольствия.

Раз десять он собирался бросить ее в реку, и всякий раз у него недоставало мужества.

Но вот он решился и изо всех сил швырнул ее в воду, как можно дальше от берега. Она попыталась было плыть, как во время купания, но камень тянул голову ко дну, и она мало-помалу стала погружаться в реку; собака бросала на своего хозяина умоляющие, прямо человеческие взгляды, барахтаясь, как тонущий человек. Затем вся передняя часть ее туловища погрузилась в воду, а задними лапами она отчаянно махала над водой; потом скрылись и они.

Еще добрых пять минут пузыри поднимались и лопались на поверхности реки, словно вода в ней кипе-

ла, а Франсуа стоял как потерянный, вне себя от ужаса, с бурно бьющимся сердцем; ему казалось, что он видит, как его Кокотка корчится в предсмертных судорогах на тинистом дне, и в крестьянской своей простоте спрашивал себя: «Что думает обо мне сейчас эта животина?»

Он чуть не помешался; он проболел целый месяц и всякую ночь видел во сне свою собаку; он чувствовал, как она лижет ему руки, он слышал ее лай. Пришлось позвать врача. Наконец, он стал поправляться, и в конце июня хозяева увезли его в свое имение Бьессар, под Руаном.

Там он снова очутился на берегу Сены. Он начал купаться. Каждое утро он шел на реку вместе с конюхом, и они переплывали Сену.

И вот однажды, когда они весело барахтались в воде, Франсуа вдруг крикнул своему товарищу:

— Смотри-ка, что это там плывет? Сейчас я тебя угощу котлеткой.

Это была падаль — огромный, раздувшийся, облезлый труп собаки плыл по течению вверх ногами.

Франсуа подплыл к нему, загребая саженками; он продолжал шутить:

— Эх жаль, мясцо не больно свежее, зато много, смотри, как гора!

И он плавал вокруг огромного разлагающегося трупа, держась на некотором расстоянии от него.

Но вдруг он замолк и стал присматриваться к падали с каким-то странным вниманием, потом подплыл ближе, словно хотел к ней прикоснуться. Он пристально рассматривал ошейник; потом протянул руку, схватил труп собаки за шею, так что он завертелся в воде, притянул его совсем близко к себе и прочитал на позеленевшей медной бляшке: «Мадмуазель Кокотка, кучера Франсуа».

Мертвая собака разыскала своего хозяина за шестьдесят лье от дома!

У Франсуа вырвался нечеловеческий вопль, и он в ужасе поплыл к берегу, не переставая кричать. Выбравшись на берег, он, как был, голый, пустился бежать сломя голову куда глаза глядят. Он сошел с ума!

ДРАГОЦЕННОСТИ

Г-н Лантен познакомился с ней на вечере у помощника заведующего отделом, и любовь опутала его, точно сетью.

Отец ее был сборщиком податей в провинции; он умер несколько лет назад. Она переехала в Париж вместе с матерью, которая, желая выдать дочь замуж, завела знакомство с буржуазными семьями по соседству. Люди они были бедные, но в высшей степени приличные, воспитанные, приятные. Дочь казалась тем совершенным образцом порядочной девушки, которой всякий благоразумный молодой человек мечтает вручить свою судьбу. В ее скромной красоте была прелесть ангельской чистоты, а неуловимая улыбка, не сходившая с губ, казалась отблеском ее души.

Все кругом расхваливали ее, все знакомые без конца повторяли: «Счастливец, кто женится на ней. Лучшей жены не найдешь».

Г-н Лантен, служивший тогда столоначальником в Министерстве внутренних дел, с годовым окладом в три тысячи пятьсот франков, сделал ей предложение и женился.

Он был неописуемо счастлив с ней. Она вела хозяйство с такой искусной расчетливостью, что они жили почти роскошно. Какими только заботами, нежностями, милыми ласками не дарила она мужа; она была так очаровательна, что после шести лет супружества он любил ее еще больше, чем в первые дни.

Он не одобрял в ней только пристрастия к театру и фальшивым драгоценностям.

Ее приятельницы (она была знакома с женами нескольких скромных чиновников) то и дело доставали ей ложи на модные спектакли и даже на премьеры; и муж волей-неволей тащился с ней туда, хотя после трудового дня эти развлечения страшно утомляли его. Он упрашивал ее ездить в театр с какой-нибудь знакомой дамой, которая могла бы проводить ее потом домой. Она долго не соглашалась, находя это не совсем приличным. Наконец уступила ему в угоду, и он был ей за это бесконечно признателен.

Но страсть к театру скоро вызвала в ней потребность наряжаться. Одевалась она, правда, очень просто и скромно, но всегда со вкусом, и казалось, что ее тихая неотразимая прелесть, бесхитростная прелесть, вся светящаяся улыбкой, приобретала в простом наряде какую-то особую остроту. Зато она усвоила привычку вдевать в уши большие серьги с поддельными бриллиантами и носила фальшивый жемчуг, браслеты из низкопробного золота, гребни, отделанные разноцветными стекляшками, изображавшими драгоценные камни.

Мужу неприятно было это пристрастие к мишуре, и он часто говорил ей:

— Дорогая моя, у кого нет возможности приобретать настоящие драгоценности, для того красота и грация должны служить единственным украшением; вот поистине редчайшие сокровища.

Но она тихонько улыбалась и повторяла:

— Что поделаешь! Мне это нравится. Это моя страсть. Я прекрасно понимаю, что ты прав, но себя не переделаешь. Я обожаю драгоценности.

И, перебирая жемчужины ожерелья, любуясь сверканием и переливами граненых камней, она твердила:

— Да ты посмотри, как они замечательно сделаны. Совсем как настоящие.

Он улыбался:

— У тебя цыганские вкусы.

Бывало, когда они коротали вечера вдвоем, она ставила на чайный стол сафьяновую шкатулку со

своими «финтифлюшками», как выражался г-н Лантен, и принималась рассматривать фальшивые драгоценности с таким жадным вниманием, словно испытывала глубокое и тайное наслаждение. При этом она неизменно надевала на мужа какое-нибудь ожерелье и от души смеялась, восклицая: «До чего же ты смешной!» — а потом бросалась ему на шею и пылко целовала его.

Как-то зимой, возвращаясь из Оперы, она сильно продрогла. На другой день у нее начался кашель. Через неделю она умерла от воспаления легких.

Лантен едва сам не последовал за ней в могилу. Его отчаяние было так ужасно, что он поседел в один месяц. Он плакал с утра до ночи, сердце его разрывалось от невыносимых страданий; голос, улыбка, все очарование покойной неотступно преследовали его.

Время не сгладило его горя. Даже на службе, когда чиновники собирались вместе поболтать о новостях, щеки его вдруг начинали дергаться, нос морщился, глаза наполнялись слезами, лицо искажалось, и он принимался плакать навзрыд.

Он в неприкосновенности сохранил спальню своей подруги и каждый день запирался там, чтобы думать о ней. Все в комнате — мебель и даже платья — оставалось на том же месте, как в последний день ее жизни.

Но жить ему стало трудно. При жене его жалованья вполне хватало на все хозяйственные нужды, теперь же оно оказывалось недостаточным для него одного. Он недоумевал, каким образом она ухитрялась всегда угощать его прекрасным вином и тонкими блюдами, которых теперь при своих скромных средствах он уже не мог себе позволить.

Он начал делать долги и бегал в поисках денег, как человек, доведенный до крайности. Наконец, очутившись однажды без гроша в кармане,— а до выплаты жалованья оставалась еще целая неделя,— он решил что-нибудь продать; и тут ему пришла мысль отделаться от жениных «финтифлюшек», потому что в глубине души он сохранил неприязненное чувство к этой «бутафории», которая в былое время так раздражала его. Вид этих вещей, ежедневно попадавших-

ся ему на глаза, даже слегка омрачал воспоминание о любимой женщине.

Он долго разбирал кучу оставшейся после нее мишуры, так как до последних дней своей жизни она упорно продолжала покупать блестящие безделушки и почти каждый вечер приносила домой что-нибудь новое. Наконец он выбрал красивое ожерелье, которое она, по-видимому, любила больше всего; он рассчитывал получить за него шесть—восемь франков, потому что для фальшивого оно было сделано действительно весьма изящно.

Лантен сунул ожерелье в карман и отправился бульварами в министерство, разыскивая по дороге какой-нибудь солидный ювелирный магазин.

Наконец он увидел подходящий и вошел, несколько стесняясь выставлять напоказ свою бедность, продавая столь малоценную вещь.

— Сударь,— обратился он к ювелиру,— мне хотелось бы знать, во что вы можете это оценить.

Ювелир взял ожерелье, оглядел его со всех сторон, прикинул на руке, вгляделся еще раз через лупу, позвал приказчика, что-то тихо сказал ему, положил ожерелье обратно на прилавок и посмотрел на него издали, чтобы лучше судить об эффекте.

Г-н Лантен, смущенный такой долгой процедурой, уже открыл было рот, чтобы произнести: «Ну да, я отлично знаю, что оно ровно ничего не стоит»,— как вдруг ювелир заявил:

— Это ожерелье, сударь, стоит от двенадцати до пятнадцати тысяч франков; но я куплю его только в том случае, если вы точно укажете, каким образом оно вам досталось.

Вдовец, ничего не понимая, вытаращил глаза и застыл на месте с раскрытым ртом. Наконец он пробормотал:

— Что вы говорите?.. Вы уверены?!.

Ювелир по-своему истолковал его изумление и сухо возразил:

— Обратитесь еще куда-нибудь, может быть, в другом месте вам дадут дороже. По-моему, оно стоит самое большое пятнадцать тысяч. Если не найдете ничего выгоднее, приходите ко мне.

Ошеломленный г-н Лантен забрал свое ожерелье и поспешил уйти, повинуясь смутному желанию обдумать все наедине.

Но на улице он не мог удержаться от смеха: «Ну и болван! Поймать бы его на слове! Вот так ювелир: не может отличить подделку от настоящего!»

И он зашел в другой магазин, на углу улицы Мира.

Как только ювелир увидел ожерелье, он воскликнул:

— О, я прекрасно знаю это ожерелье, оно у меня и куплено!

Чрезвычайно взволнованный, г-н Лантен спросил:

— Какая ему цена?

— Я продал его за двадцать пять тысяч. Могу вам дать за него восемнадцать, но по закону полагается, чтоб вы сперва указали, как оно стало вашей собственностью.

Г-н Лантен даже сел, у него ноги подкосились от изумления.

— Да... но... все-таки осмотрите его внимательнее, сударь, я всегда был уверен, что ожерелье... поддельное.

— Будьте любезны сообщить вашу фамилию,— сказал ювелир.

— Пожалуйста, Лантен, служу в Министерстве внутренних дел, живу на улице Мучеников, дом шестнадцать.

Ювелир раскрыл книги, порылся в них и сказал:

— Это ожерелье было действительно послано по адресу госпожи Лантен, улица Мучеников, дом шестнадцать, двадцатого июля тысяча восемьсот семьдесят шестого года.

Оба посмотрели друг на друга в упор: чиновник — вне себя от изумления, ювелир — подозревая воровство.

Ювелир продолжал:

— Вы можете оставить мне ожерелье на одни сутки? Я выдам вам расписку.

— Да, конечно,— пробормотал г-н Лантен и вышел, сунув в карман сложенную квитанцию.

Он пересек улицу, направился в одну сторону, заметил, что ошибся дорогой, повернул к Тюильри, пе-

решел Сену, понял, что снова идет не туда, и возвратился к Елисейским полям, шагая без всякой определенной мысли. Он пытался рассуждать, понять, в чем же тут дело. Его жена не имела возможности купить такую дорогую вещь. Конечно, нет. Тогда, значит, это подарок! Подарок! От кого? За что?

Он остановился посреди улицы как вкопанный. Ужасное подозрение шевельнулось в нем: «Неужели она...»

Значит, и все остальные драгоценности — тоже подарки! Ему показалось, что земля колеблется, что стоящее перед ним дерево падает; он взмахнул руками и свалился без чувств.

Он пришел в себя в аптеке, куда его перенесли прохожие. Его проводили домой, и он заперся у себя.

До самой ночи он неудержимо рыдал, кусая платок, чтоб не кричать. Потом, сломленный усталостью и горем, лег в постель и уснул тяжелым сном.

Солнце разбудило его, он с трудом встал, собираясь идти в министерство. Но после пережитого потрясения работать было трудно. Он решил, что не пойдет на службу, и послал своему начальнику записку. Потом вспомнил, что ему надо зайти к ювелиру, и покраснел от стыда. Он долго колебался. Однако не мог же он оставить ожерелье в магазине; он оделся и вышел.

Погода была чудесная, синее небо раскинулось над улыбающимся городом. Люди, засунув руки в карманы, фланировали по улицам.

Глядя на них, Лантен думал: «Хорошо иметь деньги! Богатому и несчастье как с гуся вода, делай, что хочешь, путешествуй, развлекайся. Ах, будь я богатым!»

Он вдруг почувствовал голод, так как ничего не ел со вчерашнего дня. Но в кармане у него было пусто, и он снова вспомнил об ожерелье. Восемнадцать тысяч! Восемнадцать тысяч! Кругленькая сумма!

Он отправился на улицу Мира и стал расхаживать взад и вперед по тротуару против магазина. Восемнадцать тысяч франков! Несколько раз порывался он войти, но стыд удерживал его.

Однако ему страшно хотелось есть, а денег у него

не было ни единого су. Внезапно он решился: быстро, чтоб не дать себе времени раздумать, перебежал улицу и стремительно вошел в магазин.

Увидев его, хозяин засуетился, вежливо улыбаясь, подставил стул. Подошли и приказчики и, пряча улыбку, искоса поглядывали на Лантена.

— Я навел справки, сударь,— сказал ювелир,— и если вы не переменили намерения, я могу уплатить предложенную мною сумму.

— Да, пожалуйста,— пробормотал чиновник.

Ювелир вытащил из ящика восемнадцать ассигнаций, пересчитал их и вручил Лантену. Тот подписался на квитанции и дрожащей рукой засунул деньги в карман.

В дверях он обернулся к ювелиру, не переставшему улыбаться, и сказал, опустив глаза:

— У меня... остались еще драгоценности... тоже по наследству... Может быть, вы и те купите?

— Извольте,— кланяясь, отвечал ювелир.

Один приказчик убежал, чтобы не расхохотаться, другой начал громко сморкаться.

Лантен, весь красный, невозмутимо и важно заявил:

— Сейчас я их привезу.

Он нанял фиакр и поехал за драгоценностями.

Через час он вернулся, так и не позавтракав. Они принялись разбирать драгоценности, оценивая каждую в отдельности. Почти все были куплены в этом магазине.

Теперь Лантен спорил о ценах, сердился, требовал, чтобы ему показали торговые книги, и по мере того, как сумма возрастала, все больше повышал голос.

Серьги с крупными бриллиантами были оценены в двадцать тысяч франков, браслеты — в тридцать пять, брошки, кольца и медальоны — в шестнадцать тысяч, убор из сапфиров и изумрудов — в четырнадцать тысяч, солитер на золотой цепочке в виде колье — в сорок тысяч; все вместе стоило сто девяносто шесть тысяч франков.

— Видимо, особа, которой это принадлежало, вкладывала все свои сбережения в драгоценности,— добродушно подсмеивался ювелир.

— Такой способ помещения денег нисколько не хуже всякого другого,— солидно возразил Лантен.

Условившись с ювелиром, что окончательная экспертиза назначается на следующий день, он ушел.

На улице он увидел Вандомскую колонну, и ему захотелось вскарабкаться на нее, как на призовую мачту. Он ощущал в себе такую легкость, что способен был сыграть в чехарду со статуей императора, маячившей высоко в небе.

Завтракать он отправился к Вуазену и пил вино по двадцать франков бутылка.

Потом он нанял фиакр и прокатился по Булонскому лесу. Он оглядывал проезжавшие экипажи с некоторым презрением, еле сдерживаясь, чтоб не крикнуть: «Я тоже богат! У меня двести тысяч франков!»

Вспомнив о министерстве, он поехал туда, развязно вошел к начальнику и заявил:

— Милостивый государь, я подаю в отставку. Я получил наследство в триста тысяч франков.

Он попрощался с бывшими сослуживцами и поделился с ними планами своей новой жизни; потом пообедал в Английском кафе.

Сидя рядом с каким-то господином, который показался ему вполне приличным, он не мог преодолеть искушения и сообщил не без игривости, что получил наследство в четыреста тысяч франков.

Первый раз в жизни ему не было скучно в театре, а ночь он провел с проститутками.

Полгода спустя он женился. Его вторая жена была вполне порядочная женщина, но характер у нее был тяжелый. Она основательно помучила его.

ВИДЕНИЕ

Под конец дружеской вечеринки в старинном особняке на улице Гренель разговор зашел о наложении секвестра на имущество в связи с одним недавним процессом. У каждого нашлась своя история, и каждый уверял, что она вполне правдива.

Старый маркиз де ла Тур-Самюэль, восьмидесяти двух лет, встал, подошел к камину, облокотился на него и начал своим несколько дребезжащим голосом:

— Я тоже знаю одно странное происшествие, до такой степени странное, что оно преследует меня всю жизнь. Тому минуло уже пятьдесят шесть лет, но не проходит и месяца, чтобы я не видел его во сне. С того дня во мне остался какой-то след, какой-то отпечаток страха. Поймете ли вы меня? Да, в течение десяти минут я пережил смертельный ужас, оставшийся в моей душе навсегда. При неожиданном шуме дрожь проникает мне в самое сердце; если в темноте сумерек я неясно различаю предметы, меня охватывает безумное желание бежать. И, наконец, я боюсь ночи.

О, я никогда бы не сознался в этом, если бы не был в таком возрасте! Теперь же я во всем могу признаться. В восемьдесят два года позволительно не быть храбрым перед воображаемыми опасностями. Перед реальной опасностью я никогда не отступал, сударыни.

Эта история до такой степени все во мне перевернула, вселила в меня такую глубокую, такую необычайную и таинственную тревогу, что я никогда о ней

даже не говорил. Я хранил ее в тайниках моего существа, там, где прячут все мучительные позорные тайны, все слабости, в которых мы не смеем признаться.

Я расскажу вам это приключение так, как оно случилось, не пытаясь объяснить его. Конечно, объяснение существует, если только я попросту не сошел на время с ума. Но нет, сумасшедшим я не был и докажу вам это. Думайте, что хотите. Вот голые факты.

Это было в июле 1827 года. Я служил в руанском гарнизоне.

Однажды, гуляя по набережной, я встретил, как мне показалось, своего знакомого, но не мог вспомнить, кто он. Инстинктивно я сделал движение, чтобы остановиться. Незнакомец, заметив это, посмотрел на меня и кинулся мне в объятия.

Это был друг моей юности, которого я очень любил. В течение пяти лет, что мы не виделись, он словно постарел на пятьдесят лет. Волосы у него были совершенно седые, он шел сгорбившись, как больной. Увидев, как я удивлен, он рассказал мне свою жизнь. Его сломило страшное несчастье.

Влюбившись до безумия в одну девушку, он женился на ней в каком-то экстазе счастья. После года сверхчеловеческого блаженства и неугасающей страсти она вдруг умерла от болезни сердца, убитая, несомненно, такой любовью.

Он покинул свой замок в самый день похорон и переехал в руанский особняк. Здесь он жил в одиночестве, в отчаянии, снедаемый горем и чувствуя себя таким несчастным, что думал только о самоубийстве.

— Так как я встретил тебя, — сказал он, — то попрошу оказать мне большую услугу. Съезди в замок и возьми из секретера в моей спальне, в нашей спальне, кое-какие бумаги, крайне мне необходимые. Я не могу поручить это какому-нибудь подчиненному или поверенному, потому что мне необходимо полное молчание и непроницаемая тайна. Сам же я ни за что на свете не войду в этот дом.

Я дам тебе ключ от этой комнаты — я сам запер ее, уезжая, — и ключ от секретера. Ты передашь от меня записку садовнику, и он пропустит тебя в замок...

Приезжай ко мне завтра утром, и мы поговорим об этом.

Я обещал оказать ему эту небольшую услугу. Для меня она была простой прогулкой, потому что имение его находилось от Руана приблизительно в пяти лье. Верхом я потратил бы на это не больше часа.

На другой день в десять часов утра я был у него. Мы завтракали вдвоем, но он не произнес и двадцати слов. Он извинился передо мной; по его словам, он был необычайно взволнован мыслью, что я попаду в ту комнату, где погибло его счастье. В самом деле, он казался необыкновенно возбужденным, чем-то озабоченным, как будто в душе его происходила тайная борьба.

Наконец он подробно объяснил, что я должен сделать. Все было очень просто. Мне предстояло взять две пачки писем и связку бумаг, запертых в верхнем правом ящике стола, от которого он дал ключ.

— Мне нечего просить тебя не читать их, — прибавил он.

Я почти оскорбился этими словами и ответил немного резко.

— Прости меня, я так страдаю! — пробормотал он и заплакал.

Я расстался с ним около часа дня и отправился исполнять поручение.

Погода была великолепная, и я поехал крупной рысью через луга, прислушиваясь к пению жаворонков и ритмичному постукиванию моей сабли о сапог.

Затем я въехал в лес и пустил лошадь шагом. Молодые ветви ласково касались моего лица. Иногда я ловил зубами зеленый листок и жадно жевал его в порыве той радости жизни, которая беспричинно наполняет нас шумным и непонятным счастьем, каким-то упоением жизненной силой.

Приблизившись к замку, я вытащил из кармана письмо к садовнику и с удивлением увидел, что оно запечатано. Я был так изумлен и рассержен, что готов был вернуться, не исполнив поручения. Но решил, что проявлять подобную обидчивость было бы дурным тоном. К тому же мой друг был так расстроен, что мог запечатать письмо машинально.

Имение казалось брошенным уже лет двадцать. Развалившийся и сгнивший забор держался неизвестно как. Аллеи поросли травой; цветочных клумб и грядок совсем не было видно.

На шум, который я поднял, стуча ногой в ставень, из боковой двери вышел старик и, казалось, удивился, увидев меня. Я соскочил на землю и передал письмо. Он его прочел, вновь перечитал, перевернул на оборотную сторону, посмотрел на меня снизу вверх и, положив письмо в карман, спросил:

— Ну, так чего же вы желаете?

Я резко ответил:

— Вы должны это знать, если получили приказания от вашего хозяина. Я хочу войти в замок.

Казалось, он был сильно смущен. Он спросил:

— Значит, вы пойдете в ее... в ее спальню?

Я начинал терять терпение.

— Черт возьми! Уж не собираетесь ли вы учинить мне допрос?

— Нет... сударь... — пробормотал он. — Но... но комнату не открывали с тех пор... с тех пор... с самой смерти. Если вам угодно подождать меня пять минут, я... я пойду... посмотрю...

Я гневно прервал его:

— Что? Вы, кажется, смеетесь надо мной? Ведь вы не можете туда войти, если ключ у меня.

Он не знал, что еще сказать.

— В таком случае я покажу вам дорогу, сударь.

— Укажите мне лестницу и оставьте меня одного. Я найду дорогу и без вашей помощи.

— Но... однако... сударь...

На этот раз я окончательно взбесился.

— Вы замолчите или нет? Не то вам придется иметь дело со мной.

Я оттолкнул его и вошел в дом.

Сначала я миновал кухню, потом две маленькие комнатки, где жил этот человек с женой. Затем очутился в огромном вестибюле, поднялся по лестнице и увидел дверь, описанную моим другом.

Я без труда отпер ее и вошел.

В комнате было так темно, что в первую минуту я ничего не мог различить. Я остановился, охваченный

запахом гнили и плесени, какой бывает в нежилых, покинутых помещениях, в мертвых покоях. Потом малопомалу глаза мои освоились с темнотой, и я довольно ясно увидел огромную комнату, находившуюся в полном беспорядке, с кроватью без простынь, но с матрацами и подушками, причем на одной из подушек осталась глубокая впадина, как будто от локтя или головы, словно недавно еще лежавшей на ней.

Кресла казались сдвинутыми с мест. Я заметил, что одна дверь, должно быть, от стенного шкафа, была полуоткрыта.

Первым делом я подошел к окну и хотел отворить его, чтобы дать доступ свету. Но болты на ставнях до такой степени заржавели, что никак не поддавались.

Я попытался даже сбить их саблей, но безуспешно. Так как меня раздражали эти бесполезные усилия, а глаза мои в конце концов привыкли к полумраку, я отказался от попытки осветить комнату и направился к секретеру.

Я уселся в кресло, откинул крышку и открыл указанный мне ящик. Он был набит до краев. Нужны были только три пакета, и, зная их по описанию, я принялся за поиски.

Я напрягал зрение, стараясь разобрать надписи, как вдруг мне показалось, что я слышу или, вернее, чувствую за собой шорох. Сначала я не обратил на него внимания, думая, что это сквозной ветер шелестит какой-нибудь занавеской. Но через минуту новое, почти неуловимое движение вызвало во мне странное и неприятное чувство; легкая дрожь пробежала у меня по коже.

Было до того глупо волноваться, хотя бы и чуть-чуть, что я не стал даже оборачиваться, стыдясь самого себя. В это время я отыскал вторую нужную мне пачку и нашел уже третью, как вдруг глубокий и тяжкий вздох за моим плечом заставил меня в ужасе отскочить метра на два от кресла. Я порывисто обернулся, схватившись рукою за эфес сабли, и, право, если бы я не нащупал ее сбоку, то бросился бы бежать, как трус.

Высокая женщина, вся в белом, неподвижно стояла

за креслом, где я сидел за секунду перед тем, и смотрела на меня.

Я был так потрясен, что чуть не грохнулся навзничь! О! Никто не может понять этого ужасающего и тупого испуга, не испытав его на себе. Сердце замирает, тело становится мягким, как губка, и все внутри будто обрывается.

Я не верил в привидения, и что же? Я чуть не упал в обморок от мучительной суеверной боязни мертвецов; я перестрадал за эти несколько минут больше, чем за всю остальную жизнь, да, перестрадал в неодолимой тоске сверхъестественного ужаса.

Если бы она не заговорила, я, быть может, умер бы! Но она заговорила; она заговорила кротким и страдальческим голосом, вызывавшим трепет. Не посмею сказать, что я овладел собой и вновь получил способность рассуждать. Нет. Я был совершенно ошеломлен и не сознавал, что я делаю. Но моя внутренняя гордость — а также отчасти и гордость военная — заставила меня, почти помимо воли, сохранять достоинство. Я позировал перед самим собою и, вероятно, перед нею, кто бы она ни была — женщина или призрак. Во всем этом я отдал себе отчет уже позже, потому что, уверяю вас, в ту минуту я ни о чем не думал. Мне было только страшно.

Она сказала:

— О, сударь, вы можете оказать мне большую услугу.

Я хотел ответить, но не в силах был произнести ни слова. Из горла моего вырвался какой-то неопределенный звук.

Она продолжала:

— Вы согласны? Вы можете спасти, исцелить меня. Я ужасно страдаю. Я страдаю все время, о, как я страдаю!

И она тихо опустилась в мое кресло. Она смотрела на меня.

— Вы согласны?

Я утвердительно кивнул головой, так как голос все еще не повиновался мне.

Тогда она протянула мне черепаховый гребень и прошептала:

— Причешите меня, о, причешите меня! Это меня излечит. Надо, чтобы меня причесали. Посмотрите на мою голову... Как я страдаю! Мои волосы причиняют мне такую боль!

Ее распущенные волосы, очень длинные и, как мне показалось, черные, свешивались через спинку кресла и касались земли.

Зачем я это сделал? Почему, весь дрожа, я схватил гребень и взял в руки ее длинные волосы, вызвавшие во мне ощущение отвратительного холода, как будто я прикоснулся к змеям? Не могу объяснить.

Это ощущение так и осталось у меня в пальцах, и я вздрагиваю при одном воспоминании о нем.

Я ее причесал. Не знаю, как я убрал эти ледяные пряди волос. Я скручивал их, связывал в узел и снова развязывал, заплетал, как заплетают лошадиную гриву. Она вздыхала, наклоняла голову, казалась счастливой.

Вдруг она сказала мне: «Благодарю», — и, вырвав гребень из моих рук, убежала через ту полуоткрытую дверь, которую я заметил, войдя в комнату.

Оставшись один, я пробыл несколько секунд в оцепенении, будто проснулся от кошмарного сна. Наконец я пришел в себя. Я бросился к окну и бешеным ударом разбил ставню.

Волна света хлынула в комнату. Я подбежал к двери, за которой исчезло это существо, и увидел, что она заперта и не поддается.

Тогда меня охватила потребность бежать, тот панический страх, который бывает на войне. Я быстро схватил из открытого секретера три пачки писем, промчался через весь дом, прыгая по лестнице через несколько ступенек, и, не помню, как, очутившись на воздухе, увидел в десяти шагах от себя свою лошадь. Одним прыжком я вскочил на нее и поскакал галопом.

Я остановился только в Руане, перед своей квартирой. Бросив повод денщику, я вбежал в свою комнату и заперся в ней, чтобы прийти в себя.

Целый час с душевной тревогой я спрашивал себя, не был ли я жертвой галлюцинации. Конечно, со мной случилось то непонятное нервное потрясение, то помра-

чение рассудка, какими порождаются чудеса и сверхъестественные явления.

Я готов был уже поверить, что это была галлюцинация, обман чувств, но когда подошел к окну, взгляд мой случайно упал на грудь. Мой мундир весь был в длинных женских волосах, зацепившихся за пуговицы.

Один за другим я снял их и дрожащими пальцами выбросил за окно.

Потом я позвал денщика. Я чувствовал себя слишком взволнованным, слишком потрясенным, чтобы сразу отправиться к приятелю. Мне хотелось, к тому же, хорошенько обдумать, что ему сказать.

Я отослал ему письма, а он передал мне с солдатом расписку в их получении. Мой друг расспрашивал обо мне. Ему сказали, что я болен, что у меня солнечный удар и уж не знаю, что еще. Он, казалось, был обеспокоен.

Я отправился к нему на другой день рано утром, чуть рассвело, решив рассказать правду. Оказалось, что накануне вечером он ушел и не возвращался.

Днем я вновь заходил к нему, но его все еще не было. Я прождал неделю. Он не появлялся. Тогда я заявил в полицию. Его искали всюду, но не могли найти никаких следов; нигде он не проезжал, нигде не появлялся.

В заброшенном замке был произведен тщательный обыск. Ничего подозрительного там не нашли.

Ничто не указывало, что там скрывалась какая-то женщина.

Так как следствие ни к чему не привело, все поиски были прекращены.

И в течение пятидесяти шести лет я так ничего больше и не узнал. Ничего!

ДВЕРЬ

— О, — воскликнул Карл Массулиньи, — вопрос о снисходительных мужьях — вопрос очень трудный! Конечно, я видел их немало и самых различных, однако не мог прийти к определенному мнению ни об одном. Я часто пытался выяснить, действительно ли они слепы, или прозорливы, или же просто слабохарактерны. Думаю, что их можно разбить на эти три категории.

Не будем останавливаться на слепых. Впрочем, они вовсе не снисходительны, они просто ничего не знают; это добрые простаки, не видящие дальше своего носа. Однако интересно и любопытно отметить, с какой легкостью мужчины, решительно все мужчины, и даже женщины, все женщины, позволяют себя обманывать. Мы поддаемся на любую хитрость окружающих — наших детей, наших друзей, слуг, поставщиков. Человек доверчив, и для того чтобы заподозрить, отгадать или разрушить козни других, мы не пользуемся и десятой долей того лукавства, к какому прибегаем, когда сами хотим кого-нибудь обмануть.

Прозорливых мужей можно разделить на три разряда. Это, прежде всего, те, кто находит выгоду — выгоду для кошелька, для самолюбия или для чего-нибудь другого — в том, чтобы у жены был любовник или любовники. Такие требуют лишь, чтобы сколько-нибудь соблюдались приличия, и этим удовлетворяются.

Затем беснующиеся. Об этих можно было бы написать великолепный роман.

И, наконец, слабые,— те, что боятся скандала.

Есть, кроме того, бессильные или, скорее, усталые, которые бегут от супружеского ложа из боязни атаксии или апоплексического удара и мирятся с тем, что на эту опасность идет приятель.

Лично я знал одного супруга чрезвычайно редкой разновидности, который предохранял себя от общего несчастья остроумным и оригинальным способом.

Я познакомился в Париже с одной элегантной, светской, всюду принятой четой. Жене, очень живой, высокой, худенькой, окруженной массой поклонников, молва приписывала кое-какие приключения. Она мне нравилась своим остроумием, и я, кажется, также нравился ей. Я попытался поухаживать пробы ради, она ответила явным поощрением. Вскоре мы дошли до нежных взглядов, рукопожатий, до всех тех маленьких любовных ласк, которые предшествуют решительному приступу.

Однако я колебался. Я убежден, что большинство светских связей, даже мимолетных, не стоят ни того зла, которое они нам приносят, ни тех неприятностей, которые могут возникнуть впоследствии. Я уже мысленно взвешивал удовольствия и неудобства, каких мог желать и опасаться, когда мне показалось вдруг, что ее муж что-то подозревает и наблюдает за мной.

Однажды вечером на балу, в то время как я нашептывал молодой женщине нежности, сидя в маленькой гостиной, рядом с залом, где танцевали, я заметил вдруг в зеркале отражение лица, которое выслеживало нас. Это был он. Наши взгляды встретились, и я увидел, все в том же зеркале, как он повернулся и ушел.

Я прошептал:

— Ваш муж следит за нами.

Она, по-видимому, удивилась.

— Мой муж?

— Да, уже несколько раз он подсматривал за нами.

— Да неужели? Вы уверены в этом?

— Вполне уверен.

— Как странно! Обыкновенно он как нельзя более любезен с моими друзьями.

— Может быть, это потому, что он догадался о моей любви к вам.

— Что вы! Ведь не вы первый ухаживаете за мной. За каждой женщиной, хоть сколько-нибудь заметной, тянется целая стая воздыхателей.

— Да, но я люблю вас глубоко.

— Предположим, что это правда. Но разве мужья догадываются когда-нибудь о подобных вещах?

— Значит, он не ревнив?

— Нет... нет...

Она подумала минуту и прибавила:

— Нет... Я никогда не замечала, чтоб он был ревнив.

— Он никогда... никогда не следил за вами?

— Нет... Я вам уже сказала, что он очень любезен с моими друзьями.

С этого дня мое волокитство стало настойчивее. Меня не так уж интересовала жена, как искушала возможная ревность мужа.

Что касается жены, я оценивал ее трезво и хладнокровно. Она обладала несомненным светским очарованием благодаря живому, веселому, милому и поверхностному уму, но в ней не было настоящего и глубокого обаяния. Как я уже сказал вам, она была веселая, эффектная, слишком, быть может, подчеркнуто-элегантная. Как бы лучше объяснить? Это была... это была декорация, но не настоящее жилище.

Однажды, когда я обедал у них и собрался уже уходить, ее муж сказал мне:

— Милый друг (с некоторого времени он обходился со мной, как с другом), мы скоро уезжаем в деревню. Нам с женой доставляет большое удовольствие видеть у себя тех, кого мы любим. Не хотите ли приехать к нам погостить на месяц? С вашей стороны это будет очень мило.

Я был поражен, но согласился.

Месяц спустя я приехал к ним в имение Верткрессон, в Турени.

Меня ждали на вокзале, в пяти километрах от замка. Их было трое: она, ее муж и какой-то незнакомый господин, оказавшийся графом де Мортерад, которому меня представили. Граф как будто был в восторге от знакомства со мною. Самые странные мысли приходили мне в голову, пока мы крупной рысью ехали по краси-

вой дороге между двумя рядами живой изгороди. Я спрашивал себя: «Что бы это значило? Ведь муж не сомневается в том, что его жена и я нравимся друг другу, и однако приглашает меня к себе, принимает как близкого приятеля и точно говорит: смелее, смелее, мой милый, дорога свободна!

А затем меня знакомят с этим господином, видимо, своим человеком в доме, и... и тот желает, кажется, уже уехать, причем, так же как и супруг, доволен, по-видимому, моим приездом.

Не предшественник ли это, жаждущий отставки? Пожалуй. Но в таком случае мужчины заключили друг с другом немое соглашение, один из этих маленьких договоров, отвратительных, но удобных и столь распространенных в обществе. Мне молчаливо предлагали войти в это сообщество в качестве заместителя. Мне протягивали руки, мне открывали объятия. Мне распахивали все двери и все сердца.

А она? Загадка! Она должна знать обо всем, она не может не знать. А между тем... между тем...»

Я ничего не понимал!

Обед прошел весело и очень сердечно. Выйдя из-за стола, муж и приятель занялись игрой в карты, а я с хозяйкой дома отправился на крыльцо полюбоваться лунным светом. Природа, по-видимому, очень возбуждала ее чувства, и я подумал, что минута моего счастья уже недалека. В этот вечер я находил ее поистине очаровательной. Деревня сделала ее нежнее, вернее, истомленнее. Ее высокая тонкая фигура была прелестна на фоне каменного крыльца, возле большой вазы с каким-то растением. Мне хотелось увлечь ее под деревья, припасть к ее коленям и шептать слова любви.

Муж окликнул ее:

— Луиза!

— Да, мой друг.

— Ты забыла о чае.

— Иду, мой друг.

Мы вернулись, и она приготовила нам чай. Мужчины, окончив игру в карты, явно захотели спать. Пришлось разойтись по комнатам. Я заснул очень поздно и спал плохо.

На другой день решено было совершить после зав-

трака прогулку, и мы отправились в открытом ландо смотреть какие-то развалины. Мы с ней сидели в глубине экипажа, муж и граф — напротив нас.

Все болтали живо, весело и непринужденно. Я сирота, и мне показалось, что я нашел родную семью: до такой степени я чувствовал себя дома среди них.

Вдруг она протянула ножку к ногам мужа, и он промолвил тоном упрека:

— Луиза, прошу вас, не донашивайте здесь своих старых ботинок! В деревне незачем одеваться хуже, чем в Париже.

Я опустил глаза. Действительно, на ней были старые, стоптанные ботинки, и я заметил также, что чулок плохо натянут.

Она покраснела и спрятала ногу под платье. Друг смотрел вдаль с равнодушным видом, ни на что не обращая внимания. Муж предложил мне сигару, и я закурил.

В течение нескольких дней мне ни на минуту не удавалось остаться с ней наедине: муж повсюду следовал за нами. Впрочем, со мною он был очень мил.

И вот как-то утром до завтрака он зашел ко мне и предложил прогуляться. Мы заговорили о браке. Я сказал несколько фраз об одиночестве и что-то такое о совместной жизни, которую нежность женщины делает столь очаровательной. Он вдруг прервал меня:

— Мой друг, не говорите о том, чего вы совершенно не знаете. Женщина, не заинтересованная в любви к вам, любит недолго. Всякое кокетство, делающее ее обворожительной, пока она нам окончательно не принадлежит, тотчас же прекращается, как только это случилось. И к тому же.... честные женщины... то есть наши жены... они не... у них не хватает... словом, они плохо знают свое женское ремесло. Вот... что я хочу сказать.

Он ничего больше не прибавил, и я не мог угадать его настоящих мыслей.

Дня два спустя после этого разговора он позвал меня рано утром в свою комнату, чтобы показать коллекцию гравюр.

Я уселся в кресло напротив огромной двери, отделявшей его половину от комнат жены. За этой дверью

я слышал движение, шаги и вовсе не думал о гравюрах, хотя поминутно восклицал:

— О, великолепно! Очаровательно, очаровательно!

Внезапно он сказал:

— Но тут рядом у меня есть настоящая редкость. Я вам покажу сейчас.

И он бросился к двери, обе половинки которой распахнулись разом, как бывает на сцене.

В огромной комнате, среди беспорядочно разбросанных по полу юбок, воротничков, корсажей, стояло высокое, сухопарое, растрепанное существо в какой-то старой измятой шелковой юбке, натянутой на тощие бедра, и причесывало перед зеркалом светлые короткие и жидкие волосы.

Локти ее торчали двумя острыми углами, и когда она в испуге обернулась, я увидел под простой полотняной рубашкой плоскую грудь, маскируемую на людях фальшивым ватным бюстом.

Муж очень естественно вскрикнул, затворил за собой дверь и произнес с удрученным видом:

— О, боже мой, какой я дурак! Какой глупец! Жена никогда не простит мне этой оплошности!

А мне хотелось поблагодарить его.

Три дня спустя я уехал, горячо пожав руки обоим мужчинам и поцеловав руку жены, очень холодно простившейся со мной.

Карл Массулиньи умолк.

Кто-то задал вопрос:

— Но кто же был этот друг дома?

— Не знаю... Тем не менее... тем не менее он был очень огорчен, что я так скоро уезжаю.

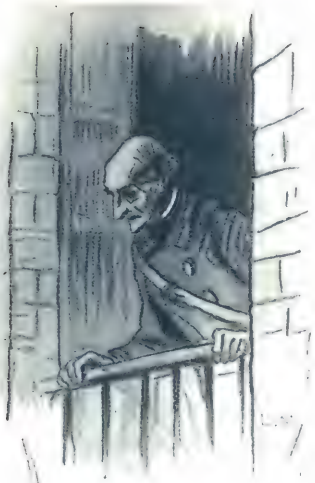
ОТЕЦ

Жан де Вальнуа — мой друг, и я время от времени навещаю его. Он живет в маленьком имении на берегу реки, в лесу. Он удалился туда после пятнадцати лет сумасбродной жизни в Париже. Ему вдруг надоели удовольствия, ужины, мужчины, женщины, карты, решительно все, и он поселился в поместье, где родился.

Двое или трое из нас изредка ездили к нему на две — три недели. Он, конечно, выражал большую радость, когда мы приезжали, но был в восторге, когда снова оставался один.

Итак, я поехал к нему на прошлой неделе, и он принял меня с распростертыми объятиями. Мы проводили время то вместе, то врозь. Днем он обыкновенно читал, а я работал, вечерами же мы болтали до полуночи.

И вот в прошлый вторник, после знойного дня, часов в девять вечера, мы сидели вдвоем, глядя на реку, протекавшую у наших ног, и обменивались весьма неясными мыслями о звездах, которые купались в струившейся воде и, казалось, плыли мимо нас. Мы обменивались какими-то туманными, смутными и короткими замечаниями, потому что наши мысли очень ограничены, слабы и бессильны. Я сетовал на одно из умирающих светил в Большой Медведице. Оно так потускнело, что его можно видеть лишь в ясные ночи. Стоит небу слегка затуманиться, и это угасающее светило уже исчезает. Мы думали о существах, населяющих эти миры, об их невиданных формах, об их непонятных для нас способностях, об их неведомых органах, о животных, о расте-



«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ».
Худ. Люсьен Метиве. 1903.

Худ. Люсьен Метиве. 1903. «КОРОЛЕВА ГОРТЕНЗИЯ».

ниях, о всевозможных породах, о всевозможных царствах, о всевозможных веществах и организмах, каких человеческое воображение не в состоянии даже себе представить.

Вдруг до нас донесся издали голос:

— Сударь... Сударь...

Жан ответил:

— Я здесь, Батист.

Найдя нас, слуга сообщил:

— Пришла ваша цыганка, сударь.

Мой друг засмеялся, захохотал, как безумный, что с ним случалось редко, а затем спросил:

— Значит, сегодня девятнадцатое июля?

— Да, сударь.

— Отлично. Скажите ей, чтобы подождала. Дайте ей поужинать. Я приду через десять минут.

Когда слуга ушел, мой друг взял меня под руку.

— Пойдем потихоньку, я расскажу тебе одну историю,— сказал он.

— Семь лет тому назад, в год моего приезда сюда, я вышел однажды вечером прогуляться по лесу. Погода была такая же прекрасная, как сегодня, и я тихо брел под большими деревьями, глядя сквозь листву на звезды, вдыхая воздух полной грудью и упиваясь свежестью ночи и леса.

Я только что навсегда покинул Париж. Я был крайне утомлен и до отвращения пресыщен всяческими глупостями, низостями, всяческой грязью,— всем, что мне пришлось перевидать и в чем я принимал участие в течение пятнадцати лет.

Я углубился далеко, очень далеко в лес, по тропинке, ведущей в деревню Крузиль, в пятнадцати километрах отсюда.

Внезапно мой пес Бок, огромный сенжермен, никогда не покидавший меня, остановился как вкопанный и зарычал. Я подумал, что мы наткнулись на лисицу, волка или кабана, и осторожно, на цыпочках, пошел вперед, стараясь не шуметь. Но вдруг я услышал крики, человеческие крики, жалобные, отчаянные, душераздирающие.

Несомненно, в зарослях кого-то убивали, и я бросился на крик, сжимая в правой руке толстую дубовую палку, настоящую палицу.

Я приближался к месту, откуда неслись стоны; они слышались теперь яснее, но как-то приглушенно. Казалось, они доносились из какого-то жилья, может быть, из хижины угольщика. Бок бежал впереди шага на три, то останавливаясь, то опять возвращаясь ко мне, странно возбужденный, все время рыча. Внезапно другая собака, огромная, черная, с горящими глазами, преградила нам путь. Я отчетливо видел оскаленные белые клыки, сверкавшие в ее пасти.

Я бросился на нее с поднятой палкой, но Бок уже схватился с ней, и они покатились по земле, вцепившись друг другу в горло. Я пошел вперед и наткнулся на лошадь, лежавшую посреди дороги. Остановившись в удивлении, чтобы рассмотреть животное, я заметил повозку, или, вернее, дом на колесах, в каких обычно разъезжают по деревням во время ярмарок балаганные актеры и странствующие торговцы.

Крики неслись оттуда — ужасные, пронзительные крики. Так как дверь находилась на противоположном конце фургона, я обошел вокруг повозки и быстро взобрался на три деревянные ступеньки, готовясь броситься на преступника.

То, что я увидел, показалось мне таким странным, что сначала я ничего не понял. Какой-то мужчина стоял на коленях и, казалось, молился, а на кровати, в углу повозки, лежало что-то — некое полуголое существо, скрюченное в конвульсиях, лица которого я не видел и которое металось, билось и кричало.

Это была женщина, мучившаяся родами.

Как только я понял, чем вызваны эти вопли, я тотчас же заявил о своем присутствии, и обезумевший мужчина, видимо марселец, бросился ко мне, умоляя помочь ей, спасти ее и обещая в целом потоке слов бесконечную благодарность. Я никогда не видел родов, никогда не помогал в таких обстоятельствах ни одному существу женского пола — ни женщине, ни собаке, ни кошке,— в чем и признался ему чистосердечно, с ужасом глядя на несчастную, которая так безумно кричала на постели.

Затем, овладев собою, я спросил растерявшегося мужчину, почему он не едет в ближайшую деревню. Оказалось, лошадь его упала в канаву, сломала ногу и не может идти дальше.

— Хорошо, милейший,— сказал я,— сейчас нас двое, и мы можем отвезти вашу жену ко мне.

Грызня собак заставила нас выйти из фургона: животных пришлось разогнать ударами палок, рискуя убить их. Мне пришло в голову запрячь их — одну справа, другую слева — рядом с нами и заставить их помогать нам. Через десять минут все было готово, и повозка медленно двинулась в путь, встряхивая на глубоких колеях несчастную женщину, у которой все разрывалось внутри.

Что это был за путь, мой друг! Мы тянули, задыхаясь, кряхтя, все в поту, порою скользя и падая, а бедные собаки пыхтели у наших ног, как кузнечные мехи.

Понадобилось целых три часа, чтобы добраться до дома. Когда мы дотащились до двери, крики в фургоне прекратились. Мать и ребенок чувствовали себя хорошо.

Их уложили в хорошую постель, потом я послал за доктором, а марселец, успокоенный, утешенный и торжествующий, наелся тем временем до отвала и напился до бесчувствия, празднуя счастливое рождение ребенка.

Это была девочка.

Я оставил у себя этих людей на целую неделю. Мать, мадмуазель Эльмира, подвизавшаяся на амплуа ясновидящей, предсказала мне бесконечно долгую жизнь и безграничное счастье.

На следующий год, день в день, с наступлением вечера слуга, который только что приходил за мной, явился после обеда в курительную комнату и сказал:

— Пришла прошлогодняя цыганка, сударь, поблагодарить вас.

Я велел ввести ее и был поражен, увидев рядом с ней огромного малого — белокурого и толстого северянина, который поклонился мне и заговорил в качестве главы семейства. Он узнал, как я был добр к мадмуазель Эльмире, и не хотел упустить случая принести

мне их общую благодарность и выразить признательность в годовщину происшествия.

Я предложил им поужинать на кухне и переночевать. На другое утро они ушли.

И вот бедная женщина является ежегодно в один и тот же день с ребенком, чудесной девочкой, и каждый раз с новым... повелителем. Из них только один, какой-то овернец, благодарил меня два года подряд. Девочка всех их зовет «папа», как мы говорим «сударь».

Мы дошли до дому и едва различили у крыльца три тени, которые, стоя, нас дожидались.

Самая высокая сделала несколько шагов вперед и, низко поклонившись, сказала:

— Господин граф, мы пришли сегодня, знаете, чтобы выразить вам нашу благодарность...

Это был бельгиец!

После него заговорила самая маленькая тем заученным и деланным голосом, каким дети обычно приносят поздравления.

С невинным видом я отвел в сторону мадам Эльмиру и, обменявшись с нею несколькими словами, спросил:

— Это отец ребенка?

— О, нет, сударь.

— А отец разве умер?

— О, нет, сударь. Мы с ним видимся иногда. Он жандарм.

— Как? Так это не тот марселец, первый, что был при родах?

— О, нет, сударь. Тот был негодяй, он украл мои сбережения.

— А жандарм, настоящий отец, знает своего ребенка?

— О, да, сударь, он ее даже очень любит. Но он не может заботиться о ней, потому что у него есть другие дети, от жены.

МУАРОН

Разговор все еще шел о Пранцини, когда г-н Малуро, бывший генеральный прокурор во времена Империи, сказал нам:

— О, мне довелось познакомиться с очень любопытным делом, любопытным по многим обстоятельствам, как вы сейчас увидите.

В то время я был имперским прокурором в провинции. Эту должность я получил благодаря моему отцу, состоявшему старшим председателем суда в Париже. И вот мне пришлось выступить по делу, известному под названием «Дело учителя Муарона».

Г-н Муарон, школьный учитель на севере Франции, пользовался у местного населения превосходной репутацией. Человек образованный, рассудительный, очень религиозный, немного замкнутый, он женился в Буалино, где занимался своей профессией. У него было трое детей, умерших один за другим от легочной болезни. С тех пор он, казалось, перенес всю нежность, таившуюся в его сердце, на детвору, порученную его заботам. Он покупал на собственные деньги игрушки для своих лучших, самых прилежных и милых учеников; он угощал их обедом, закармливал лакомствами, сластями и пирожками. Все любили и превозносили этого честного человека, этого добряка, как вдруг один за другим умерли пять его учеников, и умерли весьма странным образом. Думали, что это какая-нибудь эпидемия, вызванная водой, испортившейся вследствие засухи. Врачи не могли найти причины, тем более что

симптомы недуга казались совершенно необычайными. Дети, видимо, заболевали какой-то изнурительной болезнью, переставали есть, жаловались на боль в животе, мало-помалу хирели, а затем умирали в страшных мучениях.

Последнего умершего вскрыли, но ничего не обнаружили. Внутренности, отосланные в Париж, были исследованы и также не дали указаний на присутствие какого-либо ядовитого вещества.

В течение года ничего не случалось. Потом два маленьких мальчика, лучшие ученики в классе, любимцы папаши Муарона, умерли один за другим в течение четырех суток. Снова было предписано произвести вскрытие тел, и в обоих трупах были обнаружены осколки толченого стекла, врезавшиеся в кишки. Отсюда пришли к заключению, что эти два мальчугана неосторожно съели что-нибудь неочищенное и непромытое. Достаточно было разбиться стеклу над чашкой с молоком, чтобы вызвать этот ужасный случай. Дело на том бы и кончилось, если бы в это самое время не заболела служанка Муарона. Приглашенный врач констатировал те же болезненные признаки, что и у детей, умерших незадолго до того, стал расспрашивать ее и добился признания, что она стащила и съела конфеты, купленные учителем для своих учеников.

По приказанию суда в школьном доме произвели обыск, и там обнаружен был шкаф, полный игрушек и лакомств, предназначенных для детей. И вот почти во всех съедобных вещах были найдены осколки стекла или обломки иголок.

Муарон, которого немедленно же арестовали, был, казалось, до такой степени возмущен и поражен подозрением, тяготевшим над ним, что его пришлось освободить. Однако против него обнаружились улики, и они поколебали мое первоначальное убеждение, основанное на его прекрасной репутации, на всей его жизни, а главное, на абсолютном отсутствии побудительных мотивов для подобного преступления.

К чему бы этот добрый, простой, религиозный человек стал убивать детей, своих любимцев, которых он баловал и пичкал лакомствами, детей, ради которых

тратил на игрушки и конфеты половину своего жалования?

Допустив подобный поступок, следовало бы заключить о сумасшествии. Муарон же казался таким рассудительным, спокойным, полным благоразумия и здравого смысла, что как будто нельзя было допустить и мысли о душевной болезни.

Улики, однако, накоплялись. Конфеты, пирожки, леденцы и другие лакомства, взятые для анализа у торговцев, снабжавших ими учителя, не содержали никаких подозрительных примесей.

Тогда он стал уверять, что, должно быть, неизвестный враг отворил подобранным ключом его шкаф и подсыпал в лакомства осколки стекла и иголок. Он предположил целую историю с наследством, зависевшим от смерти одного из детей, от смерти, которой решил добиваться какой-нибудь крестьянин, свалив все подозрения на учителя. Этого зверя, говорил он, нисколько не смущала мысль о других несчастных мальчуганах, которые должны были также погибнуть при этом.

Это было возможно. Муарон казался до такой степени уверенным в своей правоте, он так сокрушался, что мы, без всякого сомнения, оправдали бы его, несмотря на все обнаружившиеся против него улики, если бы не два тягчайших обстоятельства, открывшихся одно за другим.

Первое — это табакерка, полная толченого стекла! Его табакерка в потайном ящике письменного стола, где он прятал деньги!

Даже и этой находке он нашел было объяснение, почти правдоподобное,— как последней хитрости настоящего, но неизвестного преступника. Но к следователю явился вдруг один мелочной торговец из Сен-Марлуфа и рассказал, что какой-то господин неоднократно покупал у него иголки, самые тоненькие, какие только мог найти, и ломал их, чтобы выбрать, какие ему подходят.

Торговец, которому было показано на очной ставке двенадцать человек, тотчас же узнал Муарона. И следствие обнаружило, что учитель действительно ездил в Сен-Марлуф в указанные торговцем дни.

Пропускаю ужасные показания детей о выборе лакомств и о том, как он заботился, чтобы дети ели при нем и чтобы скрыты были всякие следы.

Возмущенное общественное мнение потребовало самого сурового наказания, и это явилось такой грозной силой, что исключало возможность каких бы то ни было противодействий и колебаний.

Муарон был приговорен к смерти. Апелляционная жалоба его была отклонена. Ему оставалось только просить о помиловании. Через отца я узнал, что император откажет.

И вот однажды утром, когда я работал у себя в кабинете, мне доложили о приходе тюремного священника.

Это был старый аббат, хорошо знавший людей и привыкший к преступникам. Он казался смущенным, стесненным, обеспокоенным. Поговорив несколько минут о том, о сем, он вдруг сказал мне, вставая:

— Господин имперский прокурор, если Муарон будет обезглавлен, то вы казните невиновного.

Потом, не поклонившись, он вышел, оставив меня под сильным впечатлением своих слов. Он произнес их взволнованным и торжественным тоном, приоткрыв ради спасения человеческой жизни свои уста, замкнутые и запечатленные тайной исповеди.

Через час я уезжал в Париж, и отец мой, узнав от меня о происшедшем, немедленно выхлопотал мне аудиенцию у императора.

Я был принят на другой день. Его величество работал в маленькой гостиной, когда нас к нему ввели. Я изложил все дело, вплоть до визита священника, и уже начал рассказывать об этом визите, когда дверь за креслом государя отворилась и вошла императрица, предполагавшая, что он у себя один. Его величество Наполеон обратился к ней за советом. Едва познакомившись с обстоятельствами дела, она воскликнула:

— Надо помиловать этого человека. Так надо, потому что он не виновен!

Но почему эта внезапная уверенность столь набожной женщины вселила в мой мозг ужасное сомнение?

До этой минуты я страстно желал смягчения наказания. Но тут я вдруг заподозрил, что мною играет,

меня дурачит хитрый преступник, пустивший в ход священника и исповедь как последнее средство защиты.

Я изложил свои сомнения их величествам. Император колебался: он был готов уступить своей природной доброте, но в то же время его удерживала боязнь поддаться обману со стороны негодяя. Однако императрица, убежденная, что священник повиновался некоему внушению свыше, повторяла:

— Что же из того: лучше пощадить виновного, чем убить невинного!

Ее мнение восторжествовало. Смертная казнь заменена была каторжными работами.

Несколько лет спустя я узнал, что Муарона, о примерном поведении которого на тулонской каторге было снова доложено императору, взял к себе в услужение директор тюрьмы.

Потом я долго ничего не слыхал об этом человеке.

Года два тому назад, когда я гостил летом в Лилле, у своего родственника де Лариеля, как-то вечером, перед самым обедом, мне доложили, что какой-то молодой священник хочет поговорить со мной.

Я приказал его ввести, и он стал умолять меня прийти к одному умирающему, непременно желавшему меня видеть. В течение моей долгой судейской карьеры такие случаи бывали у меня нередко, и хотя республиканская власть отстранила меня от дел, все же время от времени ко мне обращались при подобных обстоятельствах.

Итак, я последовал за священником, который привел меня в маленькую нищенскую квартирку под самой крышей высокого дома в рабочем квартале.

Здесь я увидел странное существо, сидевшее на соломенном тюфяке, прислонясь к стене, чтобы легче было дышать.

Это был морщинистый старик, худой, как скелет, с глубоко запавшими и блестящими глазами.

Едва завидев меня, он прошептал:

— Вы меня не узнаете?

— Нет.

— Я Муарон.

Я вздрогнул:

— Учитель?

— Да.

— Каким образом вы здесь?

— Слишком долго рассказывать. У меня нет времени... Я умираю... мне привели этого кюре... и так как я знал, что вы здесь, то послал за вами... Я хочу вам исповедаться... ведь вы спасли мне жизнь... тогда...

Он судорожно сжимал руками солому своего тюфяка и низким, хриплым, резким голосом продолжал:

— Вот... Вам я обязан сказать правду... Вам... надо же ее поведать кому-нибудь, прежде чем покинуть этот мир...

Это я убивал детей... всех... это я... из мести...

Слушайте. Я был честным человеком, очень честным... очень честным... очень чистым... Я обожал бога... милосердного бога... бога, которого нас учат любить, а не того ложного бога, палача, вора, убийцу, который правит миром. Я никогда не делал ничего дурного, никогда не совершал никакой низости. Я был чист, как никто, сударь.

Я был женат, имел детей и любил их так, как никогда отец или мать не любили своих детей. Я жил только для них. Я сходил с ума по ним. Они умерли все трое. Почему? За что? Что я такое сделал? Я почувствовал возмущение, яростное возмущение. И вдруг глаза мои открылись, как у пробудившегося от сна. И я понял, что бог жесток. За что он убил моих детей? Мои глаза открылись, и я увидел, что он любит убивать. Он только это и любит, сударь. Он дает жизнь только затем, чтобы ее уничтожить! Бог, сударь, это истребитель. Ему нужны все новые и новые мертвецы. Он убивает на все лады — для вящей забавы. Он придумал болезни, несчастные случаи, чтобы тихонько развлекаться целые месяцы, целые годы, а затем, когда ему становится скучно, к его услугам эпидемии, чума, холера, ангина, оспа... Да разве я знаю все, что он выдумал, это чудовище? И этого ему еще мало, — все эти болезни слишком однообразны. И он увеселяет себя время от времени войнами, чтобы видеть, как двести тысяч солдат затоплены в крови и грязи, растерзаны,

повержены на землю с оторванными руками и ногами, с разбитыми пушечным ядром головами.

И это не все. Он сотворил людей, поедающих друг друга. А потом, когда он увидел, что люди становятся лучше, чем он, он сотворил животных, чтобы видеть, как люди охотятся за ними, убивают их и съедают. И это еще не все. Он сотворил крохотных животных, живущих один только день, мошек, издыхающих миллиардами за один час, муравьев, которых давят ногой, и много-много других, столько, что мы и вообразить этого не можем. И все эти существа убивают друг друга, охотятся друг за другом, пожирают друг друга и беспрерывно умирают. А милосердный бог глядит и радуется, ибо он-то видит всех, как самых больших, так и самых малых, тех, что в капле воды, и тех, что на других планетах. Он смотрит на них и радуется. О каналья!

Тогда и я, сударь, стал убивать — убивать детей. Я сыграл с ним штуку. Эти-то достались не ему. Не ему, а мне. И я бы еще многих убил, да вы меня схватили... Да!..

Меня должны были казнить на гильотине. Меня! Как бы он стал тогда потешаться, гадина! Тогда я потребовал священника и налгал. Я исповедался. Я солгал — и остался жив.

А теперь кончено. Я не могу больше ускользнуть от него. Но я не боюсь его, сударь, — я слишком его презираю.

Было страшно видеть этого несчастного, который задыхался в предсмертной икоте, раскрывая огромный рот, чтобы извергнуть несколько еле слышных слов, хрипел и, срывая простыню со своего тюфяка, двигал исхудалыми ногами под черным одеялом, как бы собираясь бежать.

О страшное существо и страшное воспоминание!

Я спросил его:

— Больше вам нечего сказать?

— Нечего, сударь.

— Тогда прощайте!

— Прощайте, сударь, рано или поздно...

Я повернулся к смертельно бледному священнику, который стоял у стены высоким темным силуэтом.

— Вы остаетесь, господин аббат?

— Остаюсь.

Тогда умирающий проговорил, издеваясь:

— Да, да, он посылает своих воронов на трупы.

С меня было довольно; я отворил дверь и поспешил уйти.

НАШИ ПИСЬМА

Восемь часов езды по железной дороге вызывают у одних сон, у других бессонницу. Я лично после всякого путешествия не могу уснуть всю ночь.

Около пяти часов вечера я приехал к своим друзьям Мюре д'Артюс провести три недели в их поместье Абель. Красивый дом, построенный в конце прошлого века одним из их предков, все время находился во владении этой семьи. Поэтому он сохраняет уютный вид, свойственный тем жилищам, где постоянно живут одни и те же люди, поддерживая в них обстановку и порядок и оживляя их своим присутствием. Ничто здесь не меняется, и душа дома не отлетает из этих комнат, где никогда не чувствуется запустения, где ковры никогда не снимаются со стен и ветшают, бледнеют, линяют, вися все на тех же местах. Старую мебель не выносят и лишь передвигают время от времени, чтобы дать место какой-нибудь новой вещи, которая появляется здесь, как новорожденный среди братьев и сестер.

Дом стоит на холме посреди парка, отлого спускающегося к реке. Через реку переброшен горбатый каменный мост. За рекою тянутся луга, где медленно бродят тучные коровы, пощипывая мокрую траву. Глаза их кажутся влажными от росы, тумана и свежести пастбища.

Я люблю этот дом, как любят то, о чем страстно мечтают. Я приезжаю туда каждый год, осенью, с бесконечной радостью и уезжаю оттуда с сожалением.

Пообедав в этой дружеской, спокойной семье, где

меня принимали, как родного, я спросил Поля Мюре, моего товарища:

— Какую комнату ты предназначил мне в этом году?

— Комнату тети Розы.

Час спустя госпожа Мюре д'Артюс, в сопровождении своих трех детей, двух девочек-подростков и шалуна-мальчишки, привела меня в комнату тети Розы, где я еще никогда не ночевал.

Оставшись один, я осмотрел стены, мебель и все помещение, чтобы освоиться в нем. Я знал немного эту комнату, так как заходил сюда несколько раз и бросал безразличный взгляд на сделанный пастелью портрет тети Розы, чьим именем и называлась комната.

Она ничего мне не говорила, эта старая тетя Роза в папильотках, потускневшая под стеклом. У нее был вид почтенной женщины прежних времен, женщины с принципами и правилами, столь же твердой в прописной морали, как и в кухонных рецептах. Это была одна из старых теток, которые спугивают веселье и являются упрямым и морщинистым ангелом провинциальных семейств.

Впрочем, я ничего не слыхал о ней. Не знал ни о ее жизни, ни о ее смерти. Жила ли она в нынешнем или в прошлом столетии? Покинула ли этот мир после скучной или беспокойной жизни? Отдала ли она небесам чистую душу старой девы, спокойную душу супруги, нежную душу матери или душу, взволнованную любовью? Что мне до того? Само имя «тетя Роза» казалось мне смешным, банальным и некрасивым.

Я взял свечу, чтобы взглянуть на строгое лицо портрета, повешенного высоко на стене в старинной золоченой раме. Лицо показалось мне незначительным, неприятным, даже антипатичным, и я стал разглядывать обстановку комнаты. Вся она была конца эпохи Людовика XVI, Революции и Директории.

Ни одного стула, ни занавеси не было внесено с тех пор в эту комнату, сохранившую запах воспоминаний, тонкий аромат, аромат дерева, тканей, кресел, обоев тех жилищ, где жили, любили и страдали.

Вскоре я лег, но мне не спалось. Промучившись час или два, я решил встать и заняться писанием писем.

Я открыл маленький секретер красного дерева с бронзовой отделкой, стоявший между двух окон, в надежде найти там чернила и бумагу. Но я не нашел ничего, кроме очень старой ручки из иглы дикобраза со слегка искусанным концом. Я хотел уже захлопнуть крышку, как вдруг взгляд мой привлекла какая-то блестящая точка, что-то вроде головки желтой кнопки, которая торчала, образуя маленькую выпуклость в вырезе небольшой доски.

Тронув ее пальцем, я почувствовал, что она шатается. Я схватил ее двумя ногтями и потянул к себе. Она легко подалась. Это была длинная золотая булавка, всунутая и спрятанная в щель дерева.

К чему бы она? Я тотчас же подумал, что она употреблялась для нажимания пружины, скрывавшей секретный замок, и начал доискиваться. Это продолжалось долго. После, по крайней мере, двухчасовых стараний я открыл другое отверстие, почти напротив первого, в глубине желобка. Я всунул туда мою булавку — маленькая дощечка отскочила мне прямо в лицо, и я увидел две пачки писем, пожелтевших и перевязанных голубой лентой.

Я их прочел и перепишу здесь два из них.

«Вы хотите, чтобы я вернул Ваши письма, моя дорогая. Вот они, но для меня это большое горе. Чего Вы боитесь? Что я их потеряю? Но ведь они заперты. Что их у меня украдут? Но я берегу их, так как это мое самое бесценное сокровище.

Да, Вы причинили мне безграничное горе. Я спрашивал себя, не раскаиваетесь ли Вы в глубине своего сердца? Не в том, что полюбили меня,— я знаю, Вы меня любите,— но, быть может, в том, что выразили эту живую любовь на бумаге, в часы, когда сердце Ваше доверилось не мне, а перу в Вашей руке. Когда мы любим, у нас является потребность в признании, нежная потребность говорить или писать, и мы говорим, мы пишем. Слова улетают, нежные слова, сотканные из музыки, воздуха и любви, горячие, легкие,

исчезающие, как только отзвучат, и остающиеся лишь в памяти, но мы не можем ни видеть их, ни осязать, ни целовать, как слова, написанные рукой. Ваши письма? Извольте, я возвращаю их. Но какое это горе для меня!

Вы, должно быть, почувствовали стыд за эти закрепленные на бумаге признания. Своей робкой и стыдливой душой, болезненно ощущающей еле уловимые оттенки, Вы пожалели о том, что писали любимому человеку. Вы вспомнили фразы, смутившие вас, и сказали себе: «Я превращу в пепел эти слова».

Будьте довольны, будьте спокойны. Вот Ваши письма. Я люблю Вас».

«Мой друг!

Нет, Вы не поняли, не угадали. Я нисколько не жалею и не пожалею никогда, что призналась Вам в моей нежной любви. Я буду вам писать всегда, но Вы тотчас же возвращайте мне мои письма, как только прочтете.

Я Вас оскорблю, мой друг, если объясню причину этого требования. Она не поэтична, как Вы думаете, но практична. Я боюсь,— но не Вас, конечно, а случая. Я виновата. Я не хочу, чтобы моя вина обрушилась на кого-нибудь другого, кроме меня.

Поймите меня хорошенько. Мы можем умереть. Вы или я. Вы можете умереть, упав с лошади,— ведь Вы каждый день ездите верхом; на Вас могут напасть, убить на дуэли. Вы можете умереть от болезни сердца, при поломке экипажа, от тысячи случайностей: умереть можно только один раз, но причин для смерти больше, чем отпущенных нам судьбою дней.

И вот Ваша сестра, Ваш брат или Ваша невестка найдут мои письма.

Вы думаете, они меня любят? Не думаю. Но даже если бы они меня обожали, возможно ли, чтобы две женщины и мужчина, зная тайну, и такую тайну, не рассказали бы о ней?

Конечно, Вам может показаться нелепым, что я говорю о Вашей смерти и высказываю подозрение относительно скромности Ваших родных.

Но рано или поздно мы все умрем, не правда ли? И почти наверно один из нас переживет другого. Итак, надо предвидеть все опасности, даже эту.

Я же буду хранить Ваши письма рядом со своими, в потайном ящике моего секретера. Я покажу Вам, как они лежат рядом в шелковом футляре, полные нашей любви, слитно два возлюбленных в одной могиле.

Вы мне скажете: «Но, если Вы умрете первая, моя дорогая, Ваш муж найдет эти письма».

О, я ничего не боюсь. Прежде всего, он не знает тайны моего стола, а затем он не станет их искать. И даже, если он найдет их после моей смерти, я ничего не опасаюсь.

Думали ли Вы когда-нибудь обо всех любовных письмах, найденных в ящиках умерших? Я уже давно размышляю об этом, и эти-то долгие размышления и заставили меня просить у Вас мои письма.

Знайте же, что никогда, слышите ли, никогда женщина не сжигает, не рвет и не уничтожает писем, где говорится о любви к ней. В них заключена вся наша жизнь, вся надежда, все ожидания, вся мечта. Записочки, заключающие в себе наше имя и ласкающие нас словами любви,— это наши священные реликвии; а мы все почитаем молельни, особенно же те, где сами занимаем место святых. Наши любовные письма — это наше право на красоту, грацию, обаяние, это наша интимная женская гордость, сокровище нашего сердца. Нет, нет, никогда женщина не уничтожает этих тайных и очаровательных архивов своей жизни.

Но мы умираем, как все, и тогда... тогда эти письма кто-нибудь находит. Кто? Супруг? Что он с ними делает? Ничего. Он их сжигает.

О, я много думала об этом, очень много. Поймите, что каждый день умирают женщины, любимые кем-нибудь, что каждый день следы или доказательства их виновности попадают в руки мужей, и никогда не бывает никакого скандала, никогда не происходит никакой дуэли.

Подумайте, мой друг, о том, кто такой мужчина, что такое сердце мужчины. Он мстит за живую, дерется на дуэли с обесчестившим его человеком, убивает его, если она жива, потому что... да, почему? Я этого

не знаю. Но когда подобные улики находят после ее смерти, их сжигают, делая вид, что ничего не знают, продолжают подавать руку любовнику умершей и только радуются, что письма не попали в посторонние руки, что они уничтожены.

О, сколько среди моих знакомых найдется мужей, которые несомненно сожгли такие письма и потом делали вид, что ничего не знают! А с какой яростью они дрались бы на дуэли, если бы нашли их при жизни жены! Но она умерла. Понятие о чести изменилось. Могила — это забвение супружеской вины.

Итак, мне можно хранить наши письма, в Ваших же руках они угроза для нас обоих.

Попробуйте сказать, что я не права.

Я Вас люблю и целую Ваши волосы.

Роза».

Я поднял взор на портрет тети Розы и, взглянув на ее строгое, морщинистое, немного злое лицо, подумал о всех этих женских душах, которых мы совсем не знаем, которые считаем совсем иными, чем они на самом деле, о их простой, врожденной хитрости и непостижимом для нас спокойном лукавстве,— и мне пришел на память стих де Виньи:

О вечный спутник мой с душою ненадежной!

НОЧЬ

(Кошмар)

Я страстно люблю ночь. Я люблю ее, как любят родину или любовницу,— инстинктивной, глубокой, непобедимой любовью. Я люблю ее всеми своими чувствами — глазами, видящими ее, обонянием, вдыхающим ее, ушами, внимающими ее тишине, всем моим телом, охваченным лаской мрака. Жаворонки поют при солнечном свете, в голубом горячем воздухе, в прозрачности ясного утра. Филин летает ночью; черным пятном пересекает он темное пространство и, радостно опьяненный темною бесконечностью, испускает гулкие зловещие крики.

День утомляет меня, надоедает мне. Он груб и шумен. Я с трудом встаю, нехотя одеваюсь и выхожу из дому с сожалением. Каждый шаг, каждое движение, жест, каждое слово, каждая мысль тяготит меня, точно я подымаю непосильное бремя.

Но когда солнце начинает склоняться, смутная радость охватывает все мое тело. Я пробуждаюсь, одушевляюсь. По мере того, как спускается темнота, я начинаю чувствовать себя совсем другим: моложе, сильнее, веселее, счастливей. Я вижу, как сгущается эта кроткая великая тьма, падающая с неба; она затопляет город, точно неуловимая волна; она скрадывает, стирает, уничтожает краски и формы; она обнимает дома, живые существа, памятники в своих неощутимых объятиях.

Тогда мне хочется кричать от радости, подобно совам, бегать по крышам, подобно кошкам. И могучая, непобедимая жажда любви вспыхивает в моих жилах.

Я иду, шагая по темным предместьям Парижа, по окрестным лесам, и слышу, как бродят там мои братья — звери и браконьеры.

Все то, что вы страстно любите, в конце концов всегда вас убивает. Но как передать, что происходит со мной? Чем объяснить, что я решаюсь об этом рассказать? Не знаю, ничего не знаю,— знаю только, что это так. И все.

Вчера... Было ли это вчера? По-видимому, да, если только это не случилось прежде, в другой день, в другом месяце, в другом году,— не знаю. Это, однако, должно было быть вчера, потому что день больше не наступал, потому что солнце не всходило. Но с каких пор продолжается ночь? С каких пор?.. Кто скажет? Кто это узнает когда-нибудь?

Итак, вчера я вышел после обеда, как делаю это каждый вечер. Была прекрасная погода, очень мягкая, очень теплая. Направляясь к бульварам, я смотрел вверх и видел над головой черную реку, усеянную звездами, окаймленную в небе крышами домов; она извивалась и зыбилась волнами, эта река, по которой струились светила.

Все было прозрачно в легком воздухе — от планет до газовых рожков. Столько огней горело в небе и в городе, что самый мрак, казалось, сиял. Светлые ночи куда радостнее ярких, солнечных дней.

На бульваре сверкали огни кафе, публика смеялась, люди двигались по тротуарам, пили вино. Я зашел ненадолго в театр. В какой? Не знаю. Там было так светло, что мне стало грустно, и я ушел, чувствуя, что сердце мое омрачено этим грубым светом, отражавшимся на позолоте балкона, искусственным сверканием огромной хрустальной люстры, огнями освещенной рампы,— этот резкий, фальшивый блеск навевал меланхолию. Я дошел до Елисейских Полей, где кафешантаны походили на очаги лесного пожара.

Каштаны, окутанные желтым светом, казались не то окрашенными, не то фосфоресцирующими. А электрические шары, похожие на сверкающие бледные

луны, на упавшие с неба гигантские живые жемчужины, своим перламутровым, таинственным и царственным сиянием совершенно затмили отвратительный, грязный свет газовых рожков и цветные гирлянды стеклянных фонариков.

Я остановился под Триумфальной аркой, чтобы посмотреть на дорогу, на изумительную, ярко освещенную дорогу, которая тянулась к городу двумя линиями огней, и на небесные светила, сияющие там, вверху, неведомые светила, случайно брошенные в пространство, где они очерчивают те странные фигуры, что порождают столько мечтаний, столько дум.

Я вошел в Булонский лес и долго бродил там. Я был охвачен странным трепетом, нежданным и могучим волнением, вдохновенным восторгом, граничащим с безумием.

Я ходил долго-долго. Потом пошел обратно.

Который был час, когда я снова очутился под Триумфальной аркой? Не знаю. Город засыпал, и тучи, тяжелые, черные тучи, медленно тянулись по небу.

И тут я впервые почувствовал, что должно случиться что-то новое, необычайное. Мне показалось, что стало холодно, что воздух словно сгущался, что ночь, моя любимая ночь, тяжелым гнетом ложилась мне на сердце. Улица была теперь пустынна. Только двое полицейских ходили взад и вперед у стоянки фиакров, а по мостовой, едва освещенной газовыми рожками, готовыми вот-вот погаснуть, тянулась к Главному рынку вереница повозок с овощами. Нагруженные морковью, репой и капустой, они двигались медленно. Невидимые возчики спали на своих возах, лошади шли ровным шагом, бесшумно ступая по деревянной мостовой. Под каждым фонарем тротуара морковь загоралась красным цветом, репа — белым, капуста — зеленым. Повозки катились одна за другой, красные, как огонь, белые, как серебро, зеленые, как изумруд. Я пошел за ними, затем повернул на Королевскую улицу и вернулся на бульвар. Ни души; свет в кафе погашен; только несколько запоздалых прохожих торопились домой. Никогда не видел я Парижа таким мертвым, таким пустынным. Я вынул часы. Было два часа.

Меня толкала какая-то сила, какая-то потребность

двигаться. Я прошел до Бастилии. Здесь я заметил, что никогда еще не видывал такой темной ночи, так как не различал даже Июльской колонны,— золотая статуя терялась в непроницаемом мраке. Тяжелый свод туч, огромный, как бесконечность, поглотил звезды и, казалось, опускался на землю, чтобы уничтожить и ее.

Я вернулся. Вокруг меня не было уже ни души. Впрочем, на площади Шато д'О на меня чуть не наткнулся пьяный; вскоре исчез и он. Несколько минут я прислушивался к его гулким, неровным шагам. Я пошел дальше. На холме Монмартра проехал фиакр, спускаясь к Сене. Я окликнул его. Кучер не ответил. Какая-то женщина бродила возле улицы Друо.

— Господин, послушайте-ка...

Я ускорил шаги, чтобы избежать ее протянутой руки. И больше я не встретил никого. Перед театром Водевиль тряпичник рылся в канаве. Его фонарик мелькал у самой земли. Я спросил его:

— Который час, приятель?

— Почем я знаю! — проворчал он.— У меня нет часов.

Тут я вдруг заметил, что газовые рожки погашены. Я знал, что в это время года из экономии их гасят рано, перед рассветом, но до рассвета было еще далеко, очень далеко.

«Пойду на Главный рынок,— подумал я,— там, по крайней мере, увижу жизнь».

Я отправился дальше, не различая перед собой дороги. Я подвигался медленно, как в лесу, узнавая улицы только по счету.

Возле здания Лионского кредита на меня зарычала собака. Я повернул на улицу Граммон и заблудился. Я стал бродить наугад, потом узнал Биржу по окружавшей ее железной решетке.

Весь Париж спал глубоким, жутким сном. Но вот вдали послышался стук фиакра, одинокого фиакра, может быть, того самого, который мне только что встретился. Я пытался догнать его, идя на шум колес через пустынные улицы, черные, черные, черные, как смерть.

Я заблудился снова. Где я? Какое безумие гасить газ так рано. Не видно ни одного прохожего, ни одно-

го запоздавшего, ни одного бродяги, не слышно даже мяуканья влюбленной кошки. Ничего.

Где же полицейские? Я подумал: «Крикну, и они появятся». Я закричал. Никто мне не ответил.

Я закричал сильнее. Мой голос уносился, не рождая эхо, слабый, глухой, задушенный ночью, этой непроницаемой ночью.

Я испустил вопль:

— Помогите! Помогите! Помогите!

Мой отчаянный призыв остался без ответа. Который же был час? Я вытащил часы, но у меня не было спичек. Я прислушивался к легкому тиканью маленького механизма со странной, непривычной радостью. Он казался живым. Я уже был не совсем одинок. Какое чудо! Я снова пустился в путь, как слепой, ощупывая палкой стены и каждую минуту подымая глаза к небу в надежде, что забрезжит наконец рассвет. Но небесное пространство было черно, совсем черно, чернее самого города.

Который мог быть час? Мне казалось, что я иду бесконечно долго,— ноги мои подкашивались, я задыхался и невыносимо страдал от голода.

Я решился позвонить у первых же ворот. Я потянул медную ручку, и звон колокольчика гулко раздался в тишине дома. Он звенел странно, точно этот дребезжащий звук был единственным во всем доме.

Я подождал; ответа не было; дверь не отворили. Я снова позвонил; опять подождал — ничего.

Мне стало страшно. Я побежал к следующему дому и раз двадцать подряд дергал звонок, звеневший в темном коридоре, где должен был спать консьерж. Но он не проснулся, и я пошел дальше, изо всех сил дергая у ворот за кольца и ручки звонков, стучась ногами, палкой, руками в двери, упорно оставшиеся запертыми.

И вдруг я заметил, что очутился на Главном рынке. Здесь было пустынно, тихо и мертво: ни повозок, ни людей, ни одной связки овощей или цветов. Он был пуст, молчалив, покинут, мертв.

Меня охватил ужас. Что случилось? Боже мой, что случилось?

Я ушел оттуда. Но который час? Который же час?

Кто скажет мне, который час? Ни одни часы не били ни на колокольнях, ни на зданиях. Я подумал: «Сниму стекло с моих часов и пальцами нащупаю стрелки». Я вынул часы... Они не шли... они остановились.

Ничего больше, ничего — никакого движения в городе, ни луча света, ни звука в воздухе. Ничего. Нет даже отдаленного стука колес фиакра — ничего.

Я был на набережной, и с реки подымалась леденящая свежесть.

А Сена, течет ли она еще?

Я захотел это узнать, нащупал лестницу и спустился по ней... Я не слышал журчания текущей воды под арками моста... Еще ступеньки... потом песок... тина... потом вода...

Я окунул в нее руку... она текла... она текла... холодная... холодная... холодная... почти ледяная... почти иссякшая... почти мертвая...

И я почувствовал, что у меня уже не хватит сил подняться наверх... и что я тоже умру здесь... от голода, от усталости, от холода.

МИСС ГАРРИЕТ

МИСС ГАРРИЕТ

*Госпоже ****

Нас было семеро в бреке, четыре дамы и трое мужчин, причем один сидел на козлах рядом с кучером, и лошади шли шагом, потому что дорога, извиваясь, поднималась в гору.

Мы с рассветом выехали из Этрета осмотреть развалины Танкарвиля и все еще дремали, скованные утренней прохладой. Особенно женщины, не привыкшие вставать по-охотничьи рано, поминутно смыкали веки, склоняли головы или зевали, равнодушные к волнующему зрелищу рождения дня.

Стояла осень. По обе стороны дороги тянулись оголенные поля, желтея короткими стеблями скошенных хлебов, торчавших из земли, словно щетина небритой бороды. Окутанная туманом равнина как будто дымилась. Жаворонки пели в небе, другие птицы щебетали среди кустов.

Наконец на грани горизонта показалось багрово-красное солнце, и, по мере того как оно всходило, светлея с минуты на минуту, природа словно пробуждалась, отряхивалась, улыбалась и, как девушка, вставшая с постели, сбрасывала покровы белых туманов.

Сидевший на козлах граф д'Этрай крикнул: «Смотрите, заяц!» — и указал рукой влево на поле клевера. Заяц удирал, ныряя в густой траве, показывая только длинные уши; затем он поскакал через пашню, остановился, бросился бежать, свернул, опять остановился,

тревожно карауля малейшую опасность, не зная, какой путь предпочесть; наконец он снова пустился наутек, подпрыгивая на задних лапах, и скрылся среди гряд свекловицы. Все мужчины встрепенулись и следили глазами за зверьком.

Рене Лемануар произнес:

— Не очень-то мы любезны нынче утром. — И, поглядев на свою соседку, юную баронессу де Серен, которую одолевал сон, вполголоса сказал ей: — Вы вспоминаете мужа, баронесса? Успокойтесь, он вернется не раньше субботы. У вас впереди целых четыре дня.

Она ответила с полусонной улыбкой:

— До чего вы глупы! — И, совсем проснувшись, добавила: — Послушайте, расскажите нам что-нибудь, посмешите нас. Вот вы, господин Шеналь, говорят, вы имели больше успеха у женщин, чем герцог Ришелье, так расскажите нам одно из своих любовных приключений, какое вам вздумается.

Леон Шеналь, старик художник, был когда-то очень красив, жизнерадостен, любим женщинами и знал себе цену; погладив длинную седую бороду, он усмехнулся, задумался на миг и неожиданно нахмурился.

— Невеселая это будет повесть, сударыня; я расскажу вам о самой жалостной любви в моей жизни. Никому из друзей не пожелаю внушить такую любовь.

I

Мне было тогда двадцать пять лет, и я малярничал по нормандскому побережью. На моем языке «малярничать» — значит бродить с мешком за спиной от одного постоялого двора до другого и попутно делать этюды и зарисовки с натуры. Ничего не знаю я лучше этого скитания наудачу. Живешь свободно, безо всяких помех, без забот, без тревог, даже без дум о завтрашнем дне. Шагаешь по любой дороге, какая приглянется, следуя одной лишь собственной прихоти, требуя одной лишь услады для глаз. Останавливаешься только потому, что пленился каким-то ручейком или почуял, как приятно тянет жареной картошкой из дверей трактира. Порой на выбор влияет запах полыни или

простодушно манящий взгляд трактирной служанки. Не надо презирать деревенскую любовь. И душу и темперамент найдешь у крестьянских девушек и вдобавок упругие щеки и свежие губы, а пылкий поцелуй их крепок и сочен, как дикий плод. Любовь всегда дорога, откуда бы она ни пришла. Сердце, что бьется, когда вы появляетесь, глаза, что плачут, когда вы уходите, — такие редкостные, такие сладостные, такие ценные дары, что пренебрегать ими никогда нельзя.

Я знавал свидания в оврагах, усеянных первоцветом, за хлевом, где спят коровы, на сеновале, еще не остывшем от дневного зноя. У меня сохранились воспоминания о толстом небеленом холсте на мускулистом и ловком теле и сожаления о бесхитростных, непосредственных ласках, более стыдливых в откровенной своей грубости, чем изощренные радости, какие дарят нам утонченные прелестницы.

Но дороже всего в этих странствиях наудачу сама природа, леса, солнечные восходы, сумерки, лунные ночи. Для художника это поистине бракосочетание с землей. Ты один на один с ней в этом долгом безмятежном любовном свидании.

Лежишь на лугу посреди ромашек и маков и, раскрыв глаза под ярким потоком света, глядишь вдаль на деревушку с остроконечной колокольней, где бьет полдень. Или сидишь подле ключа, пробивающегося из-под корней дуба, среди трав, тонких, высоких, налитых соком. Станешь на колени, нагнешься и пьешь холодную прозрачную воду, смачиваешь в ней усы и нос, пьешь ее с чувственным наслаждением, как будто целуешь в губы струйку ключа. Порой где-нибудь по течению ручейка набредешь на глубокую яму, погрузишься в нее нагишом, и вдоль всего тела с головы до ног ощущаешь холодящую и чарующую ласку, трепет быстрой и нежной струи.

На вершине холма бываешь весел, грустишь на берегу пруда и волнуешься, когда солнце тонет в море кровавых облаков и разбрызгивает по речной глади красные отблески. А вечером, когда луна проходит дозором в глубине небес, мечтаешь о всяких диковинах, какие и в голову бы не пришли при ярком свете дня.

Итак, странствуя по тем самым местам, где мы проводим нынешнее лето, я добрел однажды вечером до деревеньки Бенувиль на самом кряже между Ипором и Этрета. Я шел от Фекана вдоль берега, высокого берега, отвесного, как стена, где выступы меловых скал круто спускаются в море. С самого утра шел я под соленым морским ветром по низкому дерну, мягкому и гладкому, раскинутому, как ковер, на самом краю обрыва. Так, распевая во все горло, размашисто шагая, созерцая то мерный и плавный полет чайки, проносившей по синему небу белый полукруг крыльев, то бурый парус рыбачьей лодки на зеленом море, я вольно и беззаботно провел счастливый день.

Мне указали маленькую ферму, нечто вроде постоялого двора посреди нормандской усадьбы, обсаженной двойным рядом буков, где хозяйка-крестьянка давала приют прохожим.

Спустившись с кряжа, я направился в селение, укрытое высокими деревьями, и явился к тетке Лекашёр.

Это была морщинистая, суровая старуха; казалось, она нехотя, даже с недоверием, принимала постояльцев.

Дело было в мае; яблони в цвету раскинули над двором душистый навес и осыпали людей и траву дождем порхающих розовых лепестков.

Я спросил:

— Ну как, мадам Лекашёр, найдется у вас свободная комната?

Удивившись, что я знаю, как ее зовут, она отвечала:

— Как сказать, в доме-то все занято. Да надо подумать.

В пять минут мы столковались, и я сбросил с плеч мешок на земляной пол деревенской горницы, где вся обстановка состояла из кровати, двух стульев, стола и умывальника. Комната примыкала к кухне, просторной, закопченной, в которой жильцы ели за одним столом с работниками фермы и хозяйкой-вдовой.

Помыв руки, я вышел. Старуха жарила к обеду курицу над огромным очагом, где висел котелок, почерневший от дыма.

— Значит, у вас есть и другие жильцы? — спросил я.

Она отвечала, по своему обычаю, ворчливо:

— Да, живет тут одна дама, англичанка в летах. Я ей отвела вторую горницу.

Накинув еще пять су в день, я получил право в ясную погоду обедать отдельно на дворе.

Итак, мне накрыли у крыльца, и я принялся раздирать зубами тощую нормандскую курицу, прихлебывая светлый сидр и заедая пшеничным хлебом, испеченным дня четыре назад, но превосходным.

Вдруг деревянная калитка, выходившая на дорогу, открылась и к дому направилась странного вида особа. Очень сухопарая, очень долговязая, она была так стянута шотландской шалью в красную клетку, что могло показаться, будто у нее нет рук, если бы на уровне бедер не высовывалась костлявая кисть, державшая типичный для туристов белый зонтик. Подпрыгивавшие при каждом ее шаге седые букли окаймляли физиономию мумии, вид которой невольно напомнил мне копченую селедку в папильотках. Она прошла мимо меня торопливо, потупив глаза, и скрылась в домишке.

Столь диковинное явление развлекло меня; несомненно, это была моя соседка, «англичанка в летах», о которой говорила хозяйка.

В тот день я больше не видел ее. Наутро, едва я расположился писать посреди знакомой вам живописной долины, которая тянется вплоть до Этрета, как, подняв глаза, увидел на гребне холма странный предмет — нечто вроде флагштока. Это была она. Заметив меня, она исчезла.

В полдень я вернулся к завтраку и уселся за общий стол, чтобы свести знакомство со старой чудачкой. Но она не откликалась на мои любезности, оставалась равнодушна ко всяческим знакам внимания. Я предупредительно наливал ей воды, усердно передавал кушанья. Единственным выражением благодарности был едва заметный кивок да несколько английских слов, сказанных так тихо, что я не мог расслышать их.

Я перестал заниматься ею, хотя она и тревожила мои мысли.

Спустя три дня я знал о ней столько же, сколько и сама г-жа Лекашёр.

Звали ее мисс Гарриет. В поисках глухой деревушки, где бы провести лето, она полтора месяца назад остановилась в Бенувиле и явно собиралась задержаться здесь. За столом она не разговаривала, торопливо ела, читая нравоучительные протестантские брошюрки. Такие брошюрки она раздавала, кому могла. Сам кюре получил от нее четыре экземпляра, — их за два су доставил ему деревенский мальчишка.

Иногда она говорила нашей хозяйке ни с того ни с сего, без всякого повода для такого заявления: «Я любить господа больше, чем все; я им восторгаться во всех его творениях; я его обожать во вся его природа; я хранить его в моем сердце». И тут же вручала озадаченной крестьянке одну из брошюрок, долженствующих обратить в истинную веру весь мир. В деревне ее недолюбливали. После того как учитель заявил: «Это атеистка», — на нее легла тень. Кюре успокоил сомнения г-жи Лекашёр словами: «Она, правда, еретичка, однако господь не хочет погибели грешника, и, помимо того, она, на мой взгляд, особа безупречной нравственности».

Слова «атеистка», «еретичка», точный смысл которых был неясен, будоражили умы. Вдобавок толковали, что англичанка очень богата, а странствует она весь век по свету потому, что ее выгнали из дому. За что же ее прогнали из дому? Понятно, за нечестие.

На самом деле это была энтузиастка своих убеждений, упрямая пуританка, каких в изобилии производит Англия, одна из тех безобидных, но несносных старых дев, какие обязательны за каждым табльдотом Европы, портят Италию, отравляют Швейцарию, делают непригодными для жизни чудесные средиземноморские города, повсюду приносят свои странные причуды, нравы законсервированных весталок, неописуемые наряды и своеобразный запах резины, как будто этих англичанок на ночь прячут в каучуковый футляр.

Стоило мне заприметить одну из них в отеле, как я спешил прочь, точно птица от огородного пугала.

Однако эта казалась мне такой необыкновенной, что даже привлекала меня.

Худ. Ш. Морель. 1904. «МИСС ГАРРИЕТ».

Худ. Ш. Морель. 1904. «ВЕРЕВОЧКА».

Г-жа Лекашёр питала инстинктивную вражду ко всему некрестьянскому, и потому узкому ее умишку была ненавистна восторженность старой девы. Она придумала англичанке прозвище, явно презрительное, пришедшее к ней непонятно откуда, возникшее в связи с какой-то смутной и таинственной работой мозга. Она говорила: «Сущая бесовка». И это прозвище в применении к такому нравственному и сентиментальному существу невыразимо смешило меня. Я и сам называл ее не иначе, как «бесовка», потому что мне забавно было произносить вслух это слово при виде ее.

— Ну как, что нынче поделывает наша бесовка? — спрашивал я тетку Лекашёр.

И крестьянка отвечала с возмущением:

— Вы не поверите, сударь, подобрала она жабу — у той, видите ли, лапу раздавили, — в комнату к себе отнесла, в умывальник положила и перевязку ей сделала, все равно как человеку. Ну не грех ли?

В другой раз, проходя низом под скалами, она купила большую рыбину, которую только что выловили, и сейчас же бросила назад в море. А матрос, хотя ему щедро заплатили, изругал ее нещадно, разъярившись так, словно она вытащила у него деньги из кармана. Еще долго спустя он приходил в бешенство и бранился, говоря об этом. Да, конечно же, мисс Гарриет была бесовка.

Тетка Лекашёр гениально окрестила ее.

Другого мнения придерживался конюх, которого звали Сапером, потому что он смолоду служил в Африке. Он говорил, хитро прищурившись:

— Ясное дело, штучка была, пожила в свое время. Слышала бы это бедная дева!

Служанка Селеста работала на нее с неохотой, непонятно почему. Должно быть, лишь потому, что она была чужеземка, другой породы, другой веры, говорила на другом языке. Словом, бесовка!

Целыми днями бродила она по окрестностям, искала и славила бога в его природе. Как-то вечером я увидел ее на коленях, в молитвенной позе, среди кустарника. Заметив что-то красное, сквозившее в листве, я раздвинул ветки, и мисс Гарриет вскочила, сконфузившись оттого, что ее застигли врасплох, устремив на

меня испуганные глаза, точь-в-точь сова, когда ее накроют среди дня.

Случалось, когда я работал между утесами, она вдруг вырастала на гребне скалы, совсем как телеграфный столб. Она жадно вглядывалась в простор моря, позлащенный солнцем, и в ширь небес, алеющую огнем. Случалось, я видел, как она стремительно шагает по долине пружинящей походкой англичанки; и я спешил нагнать ее, сам не знаю зачем, повинуясь одному желанию — увидеть ее лицо, лицо фанатички, худое, замкнутое, озаренное глубокой, внутренней радостью.

Нередко встречал я ее также подле какой-нибудь фермы: она сидела в тени яблони, на траве, развернув книжку и устремив глаза в пространство.

Я не собирался трогаться дальше, покидать этот мирный край, ибо тысячи любовных нитей привязывали меня к его широким и мягким ландшафтам. Мне хорошо было на этой безвестной ферме, вдали от всего и близко к земле, благодетельной, сочной, прекрасной, зеленеющей земле, которую когда-нибудь мы удобрим своим телом. Признаюсь: быть может, и доля любопытства удерживала меня у тетки Лекашёр. Мне хотелось получше узнать чудаковатую мисс Гарриет и понять, что творится в одинокой душе старой странствующей англичанки.

II

Наше сближение произошло довольно необычно. Я только что кончил этюд, весьма смелый на мой взгляд, впрочем, смелый и на самом деле. Спустя пятнадцать лет он был продан за десять тысяч франков. Кстати, он был прост, как дважды два четыре, и вне всяких академических правил. Правый угол полотна изображал утес, огромный утес, весь в наростах и ржавых, желтых, красных водорослях, облитых солнцем, точно маслом. Источник света был скрыт за моей спиной, а лучи его падали на скалу расплавленным золотом. Это было здорово сделано. Такой яркий, пламенный, красочный передний план, что дух захватывало.

Слева — море, но не синее, не свинцовое море, а

море, точно из нефрита, мутно-зеленое и суровое под таким же хмурым небом.

Я был так доволен своей работой, что приплясывал, возвращаясь с нею на постоялый двор. Мне хотелось, чтобы весь мир сразу же увидел ее. Помнится, я показал ее корове на придорожном лугу и крикнул ей:

— Взгляни, голубка, такое не часто увидишь.

Подойдя к дому, я принялся во всю глотку звать тетку Лекашёр:

— Эй! Эй! Хозяйка! Пожалуйте скорее да гляньтека сюда.

Крестьянка явилась и уставилась на мое произведение тупым взглядом, не разбиравшим, то ли это бык, то ли дом.

Мисс Гарриет возвратилась с прогулки и проходила позади меня как раз в ту минуту, когда я держал этюд в протянутой руке и показывал хозяйке. Я постарался повернуть полотно так, чтобы оно не ускользнуло от взгляда «бесовки». Она увидела его и застыла на месте, ошеломленная, потрясенная. Это, оказывается, был ее утес, тот самый, куда она взбиралась помечтать на свободе.

Она произнесла свое британское «Оу!» так выразительно и хвалебно, что я с улыбкой обернулся к ней.

— Это мой последний этюд, мадмуазель,— пояснил я.

Она пролепетала в комическом и трогательном восторге:

— О! Сударь! Вы так глубоко понимать природа.

Сознаюсь, я покраснел: из уст королевы эта похвала тронула бы меня не больше. Я был обезоружен, покорен, побежден. Даю слово, я готов был расцеловать ее!

За столом я сидел подле нее, как всегда. Впервые она заговорила вслух, продолжая свою мысль:

— О! Я так любить природа!

Я подвигал ей хлеб, воду, вино. Теперь она принимала мои услуги со скупой улыбкой мумии. И я завел разговор о пейзаже.

Мы одновременно встали из-за стола и принялись ходить по двору; потом грандиозный костер, который заходящее солнце зажгло над морем, привлек меня, я

отворил калитку, выходящую на кряж, и мы отправились вместе, довольные тем, что узнали и поняли друг друга.

Вечер был теплый, мягкий, из тех благодатных вечеров, которые дают отраду уму и телу. Все вокруг — радость и очарование. Теплый, душистый воздух, напоенный испарениями трав и водорослей, нежит обоняние крепким ароматом, нежит вкус морской свежестью, нежит ум неотразимым покоем. Мы шли теперь по краю обрыва, а в ста метрах под нами безбрежное море катило мелкие волны. Раскрытым ртом, расширенной грудью ловили мы прилетавший из-за океана свежий ветер, соленый от долгого лобзания морских вод, и ощущали на коже его медлительную ласку.

Завернувшись в клетчатую шаль, выставив зубы, англичанка восторженно смотрела, как огромное светило склонялось к морю. Далеко-далеко впереди, у грани горизонта, на фоне пламенеющего неба вырисовывался силуэт трехмачтового судна с поднятыми парусами, а немного поближе плыл пароход, и клубы дыма вились за ним, оставляя нескончаемое облако поперек всего небосвода.

И багровый шар медленно склонялся все ниже. Вскоре он соприкоснулся с водой, как раз позади неподвижного корабля, и тот предстал, словно в огненном кольце, посреди раскаленного светила. Оно все погружалось, пожираемое океаном. Видно было, как оно опускается, сужается, исчезает. Все кончилось. Лишь силуэт суденышка по-прежнему был вычерчен на золотом фоне небесных далей.

Мисс Гарриет страстным взглядом следила за пылающим закатом дня. И, без сомнения, ей неудержимо хотелось обнять небо, море, весь кругозор.

Она лепетала:

— Оу! Я любить... Я любить... Я любить...

Я заметил слезы у нее на глазах. Она продолжала:

— Я хотел быть маленький птичка и улететь в небеса.

Она все стояла, точно шест, как я не раз заставал ее на скале, сама красная в пунцовой шали. Мне хотелось зарисовать ее в альбом. Это была пустая пародия на экстаз.

Я отвернулся, чтобы не засмеяться.

Потом я заговорил с ней о живописи, совсем как с товарищем, употребляя специальные выражения, отмечая контраст тонов, яркость колорита. Она слушала внимательно, понимающе, стараясь угадать смысл неясных ей слов, уловить мою мысль. Временами она вставляла:

— О! Я понимать! Я понимать! Это очень интересовать меня.

Мы возвратились.

Наутро, едва завидев меня, она поспешила мне навстречу поздороваться. И мы стали совсем друзьями.

Славное она была существо, душа у нее, как на пружинах, скачками впадала в экстаз. Равновесия ей недоставало, как всем женщинам, оставшимся девицами до пятидесяти лет. Казалось, она замаринована в своей прокисшей невинности, но сердце ее сохранило юный пыл. Она любила природу и животных восторженной любовью, настоявшейся, точно старое вино, на всей той чувственной любви, которую ей не удалось отдать мужчине.

Я сам свидетель, что ее приводил в неумеренное волнение вид кормящей суки, скачущей по лугу кобылы с жеребенком, гнезда с головастыми и голыми птенцами, которые пищат, широко разевая клювики.

Бедные, одинокие создания, бродячие и печальные гостьи табльдотов, смешные и жалкие создания, я полюбил вас с тех пор, как узнал ее!

Вскоре я заметил, что ей хочется о чем-то поговорить со мной, но она не решается, и меня забавляла ее робость. Когда я уходил по утрам с ящиком за плечами, она провожала меня до околицы молчаливо, заметно волнуясь, не зная, с чего начать. И вдруг поворачивала назад, спешила прочь, как всегда подпрыгивая на ходу.

Однажды она все-таки набралась храбрости:

— Я хотела смотреть, как вы делать картина. А вы согласен? Я очень любопытна видеть. — При этом она краснела, как будто произносила очень рискованные слова.

Я повел ее с собой в ущелье Малой Долины, где начал новый этюд.

Она стояла позади, с пристальным вниманием следя за каждым моим движением.

Потом внезапно, боясь, верно, стеснить меня, она сказала:

— Благодарю вас, — и ушла.

Но вскоре она совсем освоилась и стала сопровождать меня каждый день с явным удовольствием. Она приносила под мышкой складной стул, не допуская, чтобы я нес его, и располагалась подле меня. Так она просиживала по целым часам, безмолвно следя глазами за малейшим движением моей кисти. Когда с помощью яркого мазка, смело наложенного шпателем, я добивался неожиданного и удачного эффекта, у нее невольно вырывалось коротенькое «Оу!», полное изумления, восторга и похвалы. Она питала умиленное почтение к моим полотнам, почтение чуть не молитвенное к воссозданию руками человеческими частицы содеянного творцом. Этюды мои были в ее глазах своего рода религиозными картинами; порой она говорила мне о боге, надеясь наставить меня на путь истинный.

И странная же личность был ее господь бог! Какой-то сельский философ, без большого ума и силы, ибо он в ее представлении всегда был удручен беззакониями, творимыми у него на глазах, как будто он не мог предотвратить их.

Впрочем, она была с ним в превосходных отношениях, он, видимо, поверял ей свои секреты и обиды. Она говорила: «Богу угодно» или «Богу неугодно», совсем как сержант заявляет новобранцу: «Полковник так приказал».

Она от души скорбела о моем неведении божественного промысла и пыталась открыть мне глаза; в карманах, в шляпе, если мне случалось бросить ее на земле, в ящике с красками, под дверью, в начищенных к утру башмаках — повсюду находил я каждый день религиозные брошюрки, которые она, несомненно, получала прямо из рая.

Я держал себя с ней по-дружески просто, как со старой приятельницей. Но вскоре я заметил, что ее манеры изменились. Первое время я над этим не задумывался.

Стоило мне расположиться работать в своей излюбленной долине или на какой-нибудь глухой тропинке, как она внезапно появлялась предо мной. Шла она торопливо, подпрыгивая на ходу, с размаху садилась, запыхавшись, как будто бежала перед тем или как будто ее душило сильное волнение. При этом она была очень красна той английской краснотой, какая не свойственна больше ни одной нации; потом она безо всякой причины бледнела, становилась землисто-бурой и, казалось, близка была к обмороку. Однако понемногу лицо ее принимало обычное выражение, и она начинала разговаривать.

Но ни с того ни с сего она вдруг обрывала фразу на полуслове и убегала так стремительно и неожиданно, что я старался припомнить, не рассердил ли, не обидел ли ее чем-нибудь.

В конце концов я решил, что таковы ее обычные повадки, несколько смягченные ради меня в первое время нашего знакомства.

Когда она возвращалась на ферму после долгих часов ходьбы под ветром вдоль берега, ее длинные волосы, завитые в локоны, нередко висели раскрученными прядями, как будто у них лопнула пружинка. Прежде она на это не обращала внимания и шла обедать, не смущаясь тем, что брат ее, ветерок, растрепал ей локоны.

Теперь же она поднималась к себе в каморку поправить свои штопоры, как я прозвал их; и когда я делал ей приятельский комплимент, неизменно конфузя ее: «Вы нынче прекрасны, как день, мисс Гарриет», — тотчас у нее к щекам приливал румянец, девический румянец, какой бывает в пятнадцать лет.

Под конец она снова стала дичиться и уже не ходила смотреть, как я рисую. Я думал: это блажь, это скоро кончится. Но это не кончалось. Когда я говорил с ней, она отвечала либо с подчеркнутым равнодушием, либо с глухим раздражением. Мы встречались только за обедом и почти совсем не разговаривали. Я был уверен, что оскорбил ее чем-нибудь; однажды вечером я спросил ее:

— Мисс Гарриет, почему вы переменились ко мне? Чем я не угодил вам? Вы очень огорчаете меня!

Она ответила тоном возмущения, крайне комического:

— Я с вами совсем похожий на прежде. Вы неправ, неправ, неправ,— и убежала к себе в комнату.

Порой она как-то странно смотрела на меня. С тех пор я не раз думал, что так должны смотреть приговоренные к смерти, когда им объявляют, что настал последний день. Во взгляде ее таилось безумие, мистическое и страстное безумие; было в нем еще что-то — лихорадочная, отчаянная жажда, безудержная и бессильная жажда неосуществленного и неосуществимого! Казалось мне также, что сердце ее оборонялось от неведомой силы, старалось обуздать эту силу, что в ней происходила борьба, а может быть, еще и другое... Как знать! Как знать!

III

Это было поистине поразительное открытие.

С некоторых пор я каждое утро работал над картиной такого содержания:

Глубокая ложбина, заключенная, зажатая между двумя лесистыми откосами, тянется, теряется, тонет в том молочном тумане, который хлопьями витает в утренние часы среди холмов. А вдалеке, из-за густой и прозрачной дымки, виднеются, или, вернее, угадываются, очертания влюбленной четы, парня и девушки; они идут обнявшись, прижавшись друг к другу, она подняла голову к нему, он наклонился к ней, и губы их слиты.

Первый солнечный луч, проскользнув меж ветвей, пронизал эту предрассветную мглу, озарил ее розовым отблеском позади сельских любовников, и смутные тени их движутся в серебряном свете. Это было неплохо, право же, неплохо.

Я работал на склоне, ведущем в Малую Долину Этрета. По счастью, в то утро над долиной как раз колыхалась пелена, нужная мне для работы.

Какой-то предмет вырос передо мной, точно призрак, — это оказалась мисс Гарриет. Увидев меня, она бросилась было прочь, но я окликнул ее:

— Идите, идите сюда, мадмуазель. Я приготовил вам картинку.

Она подошла словно нехотя. Я протянул ей набросок. Она не сказала ни слова, только смотрела долго, не шевелясь, и вдруг заплакала. Она плакала, судорожно вздрагивая, как плачут те, кто долго боролся со слезами и, обессилев, все еще пытается сдержаться. Я вскочил, сам расчувствовавшись от этой непонятной мне скорби, и схватил ее руки движением порывистого участия, движением истого француза, который сначала действует, а думает потом.

Несколько мгновений она не отнимала рук, и я чувствовал, что они дрожат в моих руках так, словно все ее нервы сведены судорогой. Потом она резко отняла, скорее вырвала их.

Я узнал его, этот трепет, я не раз ощущал его; ошибки быть не могло. О! Любовный трепет женщины, будь ей пятнадцать или пятьдесят лет, будь она из простонародья или из общества, все равно проникает мне прямо в сердце, и я без колебаний узнаю его.

Все ее жалкое существо содрогнулось, затрепетало, изнемогло. Я понял это. Она ушла, и я не вымолвил ни слова, я был поражен, словно увидел чудо, и удручен, словно совершил преступление.

Я не возвратился к завтраку. Я пошел бродить по берегу, не зная, плакать мне или смеяться, находя приключение забавным и печальным, чувствуя себя смешным и сознавая, что она-то несчастна до потери рассудка.

Я недоумевал, как мне поступить.

Сделав вывод, что мне остается лишь уехать, я тотчас решил осуществить это намерение.

Я проходил полдня и вернулся к самому обеду несколько грустный, несколько томный.

За стол уселись как обычно. Мисс Гарриет была тут же, сосредоточенно ела, ни с кем не говорила и не поднимала глаз. Впрочем, ни в лице, ни в манерах ее перемены не было.

Дождавшись конца обеда, я обратился к хозяйке:

— Ну вот, мадам Лекашёр, скоро я от вас уеду.

Удивившись и огорчившись, старуха запричитала своим тягучим голосом:

— И что это вы вздумали, сударь вы мой? Уезжаете от нас! А я-то до чего к вам привыкла!

Я искоса поглядел на мисс Гарриет: лицо ее даже не дрогнуло. Зато Селеста, служанка, подняла на меня глаза. Это была толстая девка лет восемнадцати, краснощекая, крепкая, сильная, как лошадь, и на редкость опрятная. Случалось, я целовал ее в темных углах, по привычке завсегдатая постоялых дворов, только и всего.

Так закончился обед.

Я пошел выкурить трубку под яблонями и принялся шагать по двору из конца в конец. Все, что я передумал за день, сделанное утром поразительное открытие страстной и смешной любви ко мне, воспоминания, возникшие в связи с этой догадкой, пленительные и жгучие воспоминания, быть может, и взгляд служанки, обращенный на меня при известии о моем отъезде, — все это переплелось, смешалось, и я ощущал теперь в теле пылкий задор, зуд поцелуев на губах, а в крови то самое, необъяснимое, что толкает на глупости.

Надвигалась ночь, сгущая тени под деревьями, и я увидел, как Селеста пошла запирать курятник на другом конце усадьбы. Я побежал за ней, ступая так легко, что она не слышала моих шагов, а когда она выпрямилась, опустив заслонку на отверстие, через которое ходят куры, я схватил ее в объятия и осыпал ее широкое лоснящееся лицо градом поцелуев. Она отбивалась, смеясь, привычная к такому обращению.

Почему я так поспешно отпустил ее? Почему я обернулся так резко? Каким образом почуял я чье-то присутствие у себя за спиной?

Это мисс Гарриет, возвращаясь, увидела нас и оцепенела, как при появлении призрака. Спустя миг она исчезла в темноте.

Я вернулся в дом пристыженный, взволнованный; я был бы меньше удручен, если б она застигла меня на месте настоящего преступления.

Спал я плохо, нервы были напряжены, печальные мысли томили меня. Мне чудился плач. Должно быть, я ошибался. Несколько раз казалось мне также, будто кто-то ходит по дому и отворяет наружную дверь.

Под утро усталость сломила меня и сон меня одолел. Я проснулся поздно и вышел к завтраку, все еще смущаясь и не зная, как себя держать.

Никто не видел мисс Гарриет. Мы подождали ее; она не являлась. Тетка Лекашёр вошла к ней в комнату, англичанки уже не было. Должно быть, она, по своему обычаю, отправилась гулять на заре, чтобы увидеть восход солнца.

Никто не удивился, и все молча принялись за еду.

День был жаркий, очень жаркий, один из тех знойных, душных дней, когда ни один листок не шелохнется. Стол вынесли во двор, под яблоню, и время от времени Сапер спускался в погреб за сидром, потому что все пили без перерыва. Селеста носила из кухни блюда — баранье рагу с картофелем, тушеного кролика и салат. Потом она поставила перед нами тарелку вишен, первых в сезоне.

Мне захотелось вымыть их, чтобы освежить, и я попросил служанку принести из колодца воды похолоднее.

Минут через пять она вернулась и сообщила, что колодец высох. Она размотала веревку до конца, ведро коснулось дна и поднялось пустым. Тетка Лекашёр сама решила выяснить, в чем дело, и пошла заглянуть в колодец. Она вернулась с заявлением, что там виднеется что-то непонятное. Должно быть, сосед назло набросал туда соломы.

Я тоже решил взглянуть, думая, что сумею лучше разобраться, и нагнулся над краем колодца. Я смутно различил белый предмет. Но что именно? Мне пришло в голову спустить на веревке фонарь. Желтое пламя плясало на каменных стенках, мало-помалу погружаясь вглубь. Все четверо стояли мы, нагнувшись над отверстием, — Сапер и Селеста не замедлили присоединиться к нам. Фонарь остановился над какой-то неопределенной грудой, белой с черным, странной, непонятной. Сапер закричал:

— Это лошадь. Вон я вижу копыто. Верно, сбежала с луга и провалилась ночью.

Но я вдруг весь содрогнулся. Я разглядел сперва башмак, потом вытянутую ногу; все тело и вторая нога были скрыты под водой.

Я забормотал чуть слышно, дрожа так, что фонарь, как бешеный, прыгал в колодце над высунувшимся башмаком:

— Там... там... женщина... там... мисс Гарриет.

Один Сапер и бровью не повел. То ли еще доводилось ему видеть в Африке!

Тетка Лекашёр и Селеста подняли пронзительный визг и пустились бежать.

Надо было вытащить покойницу. Я крепко привязал конюха за пояс и затем стал спускать его очень медленно с помощью ручной лебедки, глядя, как он погружается в темноту. В руках он держал фонарь и другую веревку. Вскоре раздался его голос, как будто выходивший из недр земли: «Стой!», — и я увидел, как он вылавливает что-то из воды, это была вторая нога; он связал их вместе и крикнул снова: «Тяни!»

Я стал тянуть его наверх, но руки мне не повиновались, мускулы ослабели, я боялся, что веревка выскользнет у меня и человек сорвется. Когда голова его появилась над краем, я спросил: «Ну как?»,— как будто ждал вестей от той, что лежала там, на дне.

Мы взобрались на каменный край колодца и, стоя друг против друга, наклонясь над отверстием, начали поднимать тело.

Тетка Лекашёр и Селеста наблюдали за нами издали, из-за угла дома. Увидев, что из колодца показались черные башмаки и белые чулки утопленницы, они скрылись.

Сапер ухватился за лодыжки, и ее, несчастную и целомудренную деву, извлекли в самой нескромной позе. Лицо было страшное, черное, исцарапанное, а длинные седые волосы, совсем распущенные, развитые навсегда, висели мокрыми грязными прядями. Сапер изрек презрительным тоном:

— Ну и худа же, черт подери!

Мы отнесли покойницу в ее комнату, и, так как женщины не появлялись, я вместе с конюхом обрядил ее.

Я вымыл ее жалкое, искаженное лицо. Под моими пальцами чуть приоткрылся один глаз и посмотрел на меня тем тусклым, тем холодным, тем страшным взглядом покойника, который смотрит из потустороннего мира. Я подобрал, как умел, ее рассыпавшиеся волосы

и неловкими руками соорудил у нее на голове новую странную прическу. Потом я снял с нее промокшую одежду, со стыдом, чувствуя себя осквернителем, приоткрыл ее грудь, и плечи, и длинные руки, тонкие, точно жерди.

Потом я пошел нарвать цветов — маков, васильков, ромашек и свежей душистой травы — и осыпал ими ее смертное ложе.

Дальше мне пришлось выполнить обычные формальности, так как я был подле нее один.

В письме, найденном у нее в кармане и написанном перед самой смертью, она просила, чтобы ее похоронили в той деревне, где она провела последние дни. Ужасная догадка сдавила мне сердце. Не ради меня ли хочет она остаться здесь?

Под вечер пришли соседские кумушки поглядеть на усопшую, но я не пустил их: я хотел быть один, и я просидел подле нее всю ночь.

При свечах смотрел я на нее, на несчастную женщину, всем чужую, умершую так далеко от родины и так плачевно. Остались ли у нее где-нибудь друзья, родные? Каково было ее детство, ее жизнь? Откуда явилась она, одинокая странница, заброшенная, как бездомная собака? Какая тайна страдания и отчаяния укрылась в ее нескладном теле, в этом теле, точно позорный изъян пронесенном через всю жизнь, в этой смешной оболочке, отпугнувшей от нее всякую привязанность и любовь?

Какие бывают несчастливые люди! Я чувствовал, что над этим человеческим созданием тяготела извечная несправедливость безжалостной природы. Все было кончено для нее, а она, быть может, никогда не знала того, что дает силу самым обездоленным, — надежды быть любимой хоть раз! Почему бы иначе стала она так скрываться, избегать людей? Почему бы любила такой страстной любовью всю природу, все живое, только не человека?

И мне было понятно, что она верила в бога и чаяла в ином мире награды за свои страдания. Теперь она начнет разлагаться и в свой черед станет растением. Она расцветет на солнце, будет кормом для коров, зерном, которое унесут птицы, и, став плотью животных,

возродится как человеческая плоть. Но то, что зовется душой, угасло на дне черного колодца. Она больше не будет страдать. Свою жизнь она отдала взамен других жизней, которые вырастут из нее.

Так текли часы нашего последнего, молчаливого и жуткого свидания. Забрезжил бледный свет зари, вот красный луч скользнул к постели, огненной полосой лег на одеяло и на руки. Этот час она особенно любила. Птицы проснулись и запели в ветвях.

Я распахнул окно, я раздвинул занавеси, чтобы все небо, целиком, видело нас, и, склонившись над холодным трупом, обхватил ладонями изуродованное лицо, потом медленно, без страха и отвращения, поцеловал долгим поцелуем никогда не целованные губы...

Леон Шеналь умолк. Женщины плакали. Слышно было, как на козлах упорно сморкается граф д'Этрай. Только кучер дремал. Лошади, не чувствуя бича, замедлили шаг и лениво тянули экипаж. И брек двигался еле-еле, словно вдруг отяжелев под бременем печали.

НАСЛЕДСТВО

Катюлю Мендесу.

I

Еще не было десяти, а чиновники, торопливо стекавшиеся со всех концов Парижа, вливались потоком в широкий подъезд Морского министерства: был канун Нового года — пора необычайного усердия и повышений по службе. Поспешный топот разносился по обширному зданию, пересеченному лабиринтом длинных и путаных коридоров, куда выходили двери бесчисленных отделов.

Чиновники расходились по своим местам, пожимали руки явившимся ранее сослуживцам, снимали новый сюртук, надевали для работы старый и усаживались за столы, где каждого ждала груда бумаг. Затем отправлялись за новостями в соседние отделы. Прежде всего справлялись, здесь ли начальник, в каком он расположении духа, много ли прибыло почты.

Регистратор «отдела материальной части» г-н Сезар Кашлен, бывший сержант морской пехоты, по выслуге лет ожидавший производства в старшие регистраторы, одну за другой заносил в огромную книгу бумаги, только что принесенные рассыльным из кабинета начальника. Против него сидел экспедитор — папаша Савон, выживший из ума старик, прославившийся на все министерство невзгодами своей супружеской жизни. Скрючившись и окаменев на стуле, как подо-

бает усердному писцу, он искоса заглядывал в лежавшую рядом бумагу и, неторопливо водя пером, тщательно переписывал депешу начальника.

Г-н Кашлен, тучный мужчина с подстриженными ежиком седыми волосами, сказал, не прерывая работы:

— Тридцать две депеши из Тулона. Они присылают столько, сколько другие четыре порта, вместе взятые.

Затем, обратясь к папаше Савону, он спросил, как делал это каждое утро:

— Ну-с, папаша Савон, как супруга?

Продолжая водить пером, старик ответил:

— Вы же знаете, господин Кашлен, как мне тяжело об этом говорить.

Регистратор рассмеялся, как смеялся каждое утро, слыша один и тот же ответ.

Дверь отворилась, и вошел Маз, красивый, щеголевато одетый брюнет, полагавший, что занимаемое им убогое служебное положение не достойно его превосходной внешности и манер. Он носил массивные перстни, массивную часовую цепь, монокль — больше из франтовства, так как снимал его за работой — и то и дело встряхивал манжетами, стараясь выставить напоказ крупные сверкающие запонки.

Еще в дверях он спросил:

— Много нынче дел?

Кашлен ответил:

— Тулон все шлет и шлет. Сразу видно, что Новый год не за горами, вот они и стараются.

В эту минуту вошел еще один человек — г-н Питоле, известный забавник и остряк. Он рассмеялся и спросил:

— А мы-то разве не стараемся?

И, вынув часы, объявил:

— Без семи минут десять, а все уже на местах! Ну, Маз, что вы скажете?! Бьюсь об заклад, что его милость господин Лезабль пришел к девяти, как и наш высокочтимый начальник.

Регистратор отодвинул бумаги, сунул перо за ухо и, облокотясь на стол, воскликнул:

— Ну, уж если этот не выслужится! Да он из кожи лезет вон!..

А г-н Питоле, усевшись на край стола и болтая ногами, ответил:

— Ну, конечно, выслужится, папаша Кашлен, не сомневайтесь, что выслужится. Ставлю двадцать франков против одного су, что не пройдет и десяти лет, как его сделают начальником отделения.

Маз, который свертывал папиросу, грея ляжки перед камином, воскликнул:

— Нет уж, увольте, я предпочитаю всю жизнь оставаться при двух с половиной тысячах, чем расшибаться в лепешку, как он!

Повернувшись на каблуках, Питоле насмешливо возразил:

— Что не помешало вам, дорогой мой, сегодня, двадцатого декабря, прийти задолго до десяти.

Но Маз хладнокровно пожал плечами:

— Еще бы! Я вовсе не желаю, чтобы кто-нибудь меня обскакал! Раз вы являетесь до зари, приходится и мне делать то же, хотя я вовсе не в восторге от такого усердия. Но я, по крайней мере, далек от того, чтобы называть начальника «дорогим патроном», как Лезабль, уходить в половине седьмого да еще брать с собой работу на дом. Впрочем, я ведь бываю в свете, у меня есть и другие обязанности, которые требуют времени.

Кашлен перестал писать и, задумавшись, уставился в пространство. Наконец, он спросил:

— Так вы полагаете, что он и в этом году получит повышение?

— Наверняка получит, да еще как получит! Это такой пронырa! — воскликнул Питоле.

И все заговорили на извечную тему о повышениях по службе и наградах, вот уж целый месяц волновавшую этот огромный чиновничий улей от подвала и до чердака.

Взвешивали шансы, прикидывали цифры наградных, перебирали должности, заранее негодовали, боясь, что их обойдут. Каждое утро возобновлялись бесконечные споры, которые велись накануне; к ним неизменно возвращались и на другой день с теми же доводами, теми же возражениями, теми же доказательствами.

Вошел г-н Буассель, тщедушный, бледный, болезненного вида чиновник, видевший жизнь в свете романов Александра Дюма. Всюду ему мерещились необычайные приключения, и по утрам он сообщал своему сослуживцу Питоле, какие невероятные встречи происходят у него на каждом шагу, какие драмы якобы разыгрываются в доме, где он живет, и как отчаянные вопли, донесшиеся с улицы в половине четвертого ночи, заставили его вскочить и броситься к окну. Ежедневно ему приходилось то разнимать дерущихся, то укрощать лошадей, то спасать женщин, которым грозила смертельная опасность. Физическое убожество не мешало ему самоуверенно и нудно похваляться своими подвигами и необыкновенной силой.

Услышав, что речь идет о Лезабле, он заявил:

— Я когда-нибудь еще ему покажу, этому мозгляку! Посмей он только меня обскакать, я его так тряхну, что у него сразу пропадет охота выслуживаться!

Маз, куривший перед камином, усмехнулся:

— Хорошо бы вам поторопиться, потому что мне известно из достоверных источников, что в этом году вас обошли, чтобы повысить Лезабля.

Потрясая кулаком, Буассель воскликнул:

— Клянусь, что если это так...

Дверь снова отворилась, и торопливо, с озабоченным видом вошел молодой чиновник, небольшого роста, с баками, как у флотского офицера или адвоката, в очень высоком стоячем воротничке, всегда быстро сыпавший словами, словно он опасался, что не успеет высказать все, что нужно. Он наскоро пожал всем руку, с видом крайне занятого человека, и обратился к регистратору:

— Дорогой Кашлен, дайте, пожалуйста, папку Шаплу, проволока для тросов, Тулон, АТВ, тысяча восемьсот семьдесят пять.

Кашлен поднялся, достал у себя над головой папку, вынул из нее пачку бумаг в синей обложке и, подавая ее сослуживцу, сказал:

— Вот, господин Лезабль. Вы знаете, что начальник взял отсюда вчера три депеши?

— Знаю. Они у меня, благодарю.

И молодой человек поспешно удалился.

Только он вышел, Маз воскликнул:

— Видали, сколько форсу! Можно подумать, что он уже, по крайней мере, начальник отделения.

А Питоле подхватил:

— Погодите! Он получит отдел скорее, чем любой из нас.

Кашлен так и не вернулся к своим бумагам. Казалось, им овладела какая-то навязчивая мысль. Он снова спросил:

— Так у него прекрасное будущее, у этого молодого человека?

Маз презрительно буркнул:

— Прекрасное для того, кто полагает, что министерство — это блестящее поприще, а для других этого маловато!

Питоле перебил его:

— Уж не рассчитываете ли вы стать посланником?

Маз нетерпеливо поморщился:

— Дело не во мне. Мне-то наплевать! Но в глазах света начальник отделения всегда будет ничтожеством.

Экспедитор, папаша Савон, не отрывался от своих бумаг. Но вот уже несколько минут он раз за разом макал перо в чернильницу, упорно его опять вытирал о влажную губку и все-таки не мог вывести ни одной буквы. Черная жидкость скатывалась с кончика пера и жирными кляксами капала на бумагу. Растерявшийся старик, с отчаянием глядя на депешу, которую придется переписывать заново, как и множество других за последнее время, уныло пробормотал:

— Опять чернила негодные!

Громовой хохот раздался со всех сторон. Кашлен смеялся так, что у него тряслось брюхо и даже подпрыгивал стол. Маз перегнулся пополам и скорчился, словно собирался влезть в камин; Питоле топал ногами и, захлебываясь, отряхивал правую руку, будто она мокрая. Даже Буассель задыхался от смеха, хотя обычно воспринимал события скорее трагически, нежели комически.

Но папаша Савон, вытирая перо о полу сюртука, проворчал:

— Нечего тут смеяться. Мне приходится по два — три раза переписывать всю работу.

Он вытащил из папки чистый лист бумаги, подложил транспарант и начал выводить заголовок: «Уважаемый господин министр...» Перо уже больше не оставляло клякс и писало четко. Старик привычно сел бочком и принялся за переписку.

Все продолжали хохотать. Смех душил их. Вот уже почти полгода они разыгрывали все ту же комедию, а старик ничего не замечал. Стоило накапать немного масла на влажную губку, служившую для вытирания перьев, и чернила скатывались с вымазанного жиром пера. Изумленный экспедитор часами предавался отчаянию, изводил целые коробки перьев и бутыли чернил и наконец пришел к убеждению, что канцелярские принадлежности стали никуда не годными.

И вот для затравленного старика служба превратилась в пытку. В табак ему подмешивали порох, в графин, из которого папаша Савон частенько наливал себе воды, подсыпали всякую дрянь, уверяя его, что со времен Коммуны социалисты только и делают, что портят предметы первой необходимости, чтобы опорочить правительство и вызвать революцию.

Старик воспылал смертельной ненавистью к анархистам, притаившимся, как ему мерещилось, повсюду, подстерегавшим его везде; его одолевал суеверный страх перед какой-то неведомой и грозной опасностью.

Внезапно в коридоре резко прозвенел колокольчик. Всем хорошо был знаком этот яростный звонок начальника, г-на Торшбефа; чиновники бросились к дверям и рассыпались по своим отделам.

Кашлен принялся было снова за регистрацию бумаг, но положил перо и задумался, подперев голову руками. Ему не давала покоя мысль, которую он вынашивал последнее время. Бывший сержант морской пехоты, уволенный вчистую после трех ранений — одного в Сенегале и двух в Кохинхине,— он по особой милости был зачислен в штат министерства. Начав с самых низших ступеней, он медленно продвигался по служебной лестнице, претерпев множество обид, невзгод и лишений. И власть, узаконенная власть, представлялась ему самым прекрасным, что есть на свете. Начальник отделения казался ему существом исключи-

тельным, существом высшего порядка; чиновники, о которых говорили: «Ну, это человек ловкий, он далеко пойдет»,— были для него людьми необыкновенными,— иной породы, нежели он сам.

Вот почему к своему сослуживцу Лезаблю он питал глубочайшее уважение, граничившее с благоговением, и лелеял заветную мечту, неотступную мечту — выдать за него свою дочь.

Когда-нибудь она будет богата и даже очень богата. Об этом знало все министерство: ведь у его сестры, мадмуазель Кашлен, был целый миллион, свободный от долгов и в надежном обеспечении. Правда, как утверждали злые языки, она приобрела его ценою «любви», но греховное происхождение его было искуплено запоздалым благочестием.

Престарелая девица, некогда дарившая ласки многим, удалилась на покой, владея полумиллионом франков, и за восемнадцать лет свирепой бережливости и более чем скромного образа жизни она сумела удвоить эту сумму. Давно живя у брата, оставшегося вдовцом с дочкой Корали на руках, она вносила лишь весьма незначительную долю в общее хозяйство. Охраняя и приумножая свои капиталы, она постоянно твердила брату:

— Все равно все это достанется твоей же дочери! Только выдай ее поскорее замуж. Я хочу видеть своих внучатых племянников. То-то будет радость, когда я смогу поцеловать ребенка нашей крови.

В министерстве все это знали, и в претендентах недостатка не было. Поговаривали, что сам Маз, красавец Маз, этот министерский лев, с явными намерениями увивался вокруг папаши Кашлена. Но отставной сержант, ловкий проныра, побывавший под всеми широтами, желал иметь зятем человека с будущим, человека, который со временем займет большой пост и этим придаст веса и ему, Сезару, бывшему унтеру. Лезабль вполне отвечал этим требованиям, и Кашлен давно уже искал способа заманить его к себе.

Вдруг он поднялся, потирая руки. Нашел!

Кашлен хорошо знал слабости своих сослуживцев. Лезабля можно было покорить, польстив его чиновничьему тщеславию. Он попросит у Лезабля покрови-

тельства, как просят его у какого-нибудь сенатора или депутата, у любой высокопоставленной особы.

Кашлен вот уже пять лет не получал повышения и был почти уверен, что оно ждет его в этом году. Так вот, он притворится, будто полагает, что обязан этим повышением Лезаблю, и в благодарность пригласит его к себе отобедать.

Как только этот план созрел у него в голове, Кашлен принялся за его осуществление. Он достал из шкафа свой выходной сюртук, скинул старый и, захватив все зарегистрированные бумаги, находившиеся в ведении Лезабля, направился в кабинет, который был предоставлен тому по особому благоволению начальства — снисходя к его рвению и важности возложенных на него обязанностей.

Лезабль писал, сидя за большим столом, среди вороха раскрытых папок и бумаг, занумерованных красными или синими чернилами.

Завидев Кашлена, он спросил запросто, но тоном, в котором сквозило уважение:

— Ну что, дорогой друг, много ли вы мне дел принесли?

— Да, немало. Но, помимо того, я хотел с вами поговорить.

— Присаживайтесь, друг мой, я вас слушаю.

Кашлен сел, откашлялся, изобразил на лице смущение и нерешительно произнес:

— Вот я о чем, господин Лезабль. Не стану ходить вокруг да около. Я старый солдат,— буду говорить напрямик. Я хочу просить вас об услуге.

— Какой?

— В двух словах: мне необходимо в этом году получить повышение. У меня нет никого, кто бы за меня похлопотал, и я подумал о вас.

Удивленный Лезабль слегка покраснел; довольный и преисполненный горделивого смущения, он все же возразил:

— Но я здесь ничто, дружище, я значу тут куда меньше, чем вы. Ведь вас скоро произведут в старшие регистраторы. Ничем не могу помочь. Поверьте, что...

Кашлен оборвал его с грубоватой почтительностью:

— Ну, ну, ну! Начальник к вам прислушивается,

и, если вы замолвите за меня словечко, дело выгорит. Подумайте только: через полтора года я вправе выйти на пенсию, а не получив к первому января повышения, я потеряю на этом пятьсот франков в год. Я прекрасно знаю, все говорят: Кашлен не нуждается, у его сестры миллион. Это верно, что у сестры миллион, но этот миллион приносит ей проценты, и она не хочет из него ничего давать. Правда, он достанется дочери,— это верно, но моя дочь и я — это не одно и то же. Какая мне польза от того, что моя дочь и зять будут кататься, как сыр в масле, если мне придется положить зубы на полку. Вот каковы дела, понимаете ли?

Лезабль кивнул в знак согласия:

— Справедливо, весьма справедливо. Ваш зять может отнестись к вам не так, как должно. К тому же всегда приятней никому не быть обязанным. Ну что ж! Обещаю вам сделать все, что от меня зависит: поговорю с начальником, обрисую положение, буду настаивать, если нужно. Рассчитывайте на меня!

Кашлен поднялся, схватил сослуживца за обе руки и, крепко, по-солдатски, их тряхнув, пробормотал:

— Спасибо, спасибо. Знайте, что ежели мне когда-либо представится случай... если я когда-нибудь смогу...

Он не договорил, не находя слов, и ушел, гулко чеканя по коридору мерный солдатский шаг.

Но, заслышав издали яростно звеневший колокольчик, Кашлен бросился бежать, ибо сразу распознал его: начальник отдела, г-н Торшбеф, требовал к себе регистратора.

Неделю спустя Кашлен, придя в министерство, нашел на своем столе запечатанное письмо следующего содержания:

«Дорогой коллега! Рад сообщить вам, что, по представлению директора нашего департамента и начальника отдела, министр вчера подписал приказ о назначении вас старшим регистратором. Завтра вы получите официальное извещение. До тех пор вы ничего не знаете,— не так ли?

Преданный вам *Лезабль*».

Сезар тут же поспешил в кабинет своего молодого сослуживца и, выражая признательность, стал расшар-

киваться, заявляя о своей преданности и рассыпаясь в благодарностях.

Уже на следующий день стало известно, что Лезабль и Кашлен получили повышение. Что же касается остальных чиновников, то им придется подождать до лучших времен, а пока удовольствоваться наградами в размере от ста пятидесяти до трехсот франков.

Буассель объявил, что в один из ближайших вечеров, ровно в полночь, подстережет Лезабля на углу, когда тот будет возвращаться домой, и задаст ему такую взбучку, что от него мокрое место останется. Остальные чиновники молчали.

В следующий понедельник, едва придя в министерство, Кашлен поспешил к своему покровителю и, с торжественным видом войдя в кабинет, напыщенно произнес:

— Надеюсь, что вы окажете мне честь и отобедаете у нас по случаю рождественских праздников. Соблаговолите сами указать день.

Лезабль приподнял голову и несколько удивленно взглянул в лицо своему сослуживцу; не спуская с него глаз и пытаясь прочесть его мысли, он ответил:

— Но, дорогой мой, дело в том... у меня все вечера заняты... я уже давно обещал...

Кашлен дружески настаивал:

— Ну вот! Не станете же вы огорчать нас своим отказом. Вы так много для нас сделали. Прошу вас от своего имени и от имени моего семейства.

Озадаченный Лезабль колебался. Он отлично все понял, но не успел подумать и взвесить все «за» и «против» и поэтому не знал, что ответить Кашлену. Наконец он решил про себя: «Это меня ни к чему не обяжет» — и, весьма довольный, согласился, пообещав прийти в ближайшую субботу.

— Тогда на другое утро можно будет поспать подольше,— добавил он, улыбаясь.

II

Г-н Кашлен жил на пятом этаже, в начале улицы Рошешуар, в небольшой квартирке с балконом, откуда был виден весь Париж. Из четырех комнат одну за-

нимала сестра г-на Кашлена, другую — дочь, третью — он сам; столовая служила заодно и гостиной.

Всю неделю Кашлен был взволнован предстоящим обедом. Долго обсуждалось меню, которому полагалось быть скромным, но изысканным. Порешили так: бульон с яйцами, закуски: креветки, колбаса, омары; жареная курица, зеленый горошек, паштет из гусиной печенки, салат, мороженое и фрукты.

Паштет купили в соседней колбасной, попросив отпустить самого лучшего качества, так что горшочек им обошелся в три с половиной франка. Что до вина, то Кашлен приобрел его в погребке на углу, где постоянно покупал разливное красное, которым обычно довольствовался. Он не захотел обращаться в большой магазин, рассуждая так: «Мелким торговцам редко удается сбыть дорогое вино, так что оно подолгу хранится у них в погребе и должно быть превосходным».

В субботу он вернулся домой пораньше, чтоб удостовериться, что все готово. Служанка, открывшая ему дверь, была краснее помидора, потому что, из страха опоздать, она затопила с полудня и целый день жарилась у плиты; да и волнение тоже давало себя знать.

Кашлен наведался в столовую, чтобы проверить, все ли на месте. В ярком свете лампы под зеленым абажуром, посреди небольшой комнаты, белел накрытый скатертью круглый стол. Возле каждой из четырех тарелок с салфетками, которые тетка, мадмуазель Кашлен, свернула наподобие епископской митры, лежали ножи и вилки из белого металла, а перед каждым прибором стояло по две рюмки — большая и маленькая. Сезар сразу же решил, что этого недостаточно, и крикнул:

— Шарлотта!

Дверь слева отворилась, и вошла низенькая старушка. Шарлотта была старше брата на десять лет. Ее худое лицо обрамляли седые букли, завитые на папильотках. Тоненький голосок казался слишком слабым даже для ее тщедушного, сгорбленного тела; ходила она словно сонная, слегка волоча ноги.

В дни молодости о ней говорили: «Какая миленькая!»

Теперь она превратилась в сухонькую старушонку, по старой памяти очень опрятную, упрямую, своевольн-

ную и раздражительную, с умом ограниченным и мелочным. Она была очень набожна и, казалось, совсем позабыла похождения минувших дней.

Шарлотта спросила брата:

— Тебе что?

Он ответил:

— Я нахожу, что две рюмки — это недостаточно внушительно. Что, если подать шампанское? Это обойдется не дороже трех — четырех франков, а зато можно будет поставить бокалы. Комната сразу примет другой вид.

Шарлотта возразила:

— Не вижу надобности в таком расходе. Впрочем, ведь платишь ты, меня это не касается.

Кашлен колебался, пытаясь убедить самого себя:

— Уверяю тебя, что так будет лучше. И потом это внесет оживление; к праздничному пирогу шампанское неплохо.

Этот довод заставил его решиться. Надев шляпу, он снова спустился с лестницы и пять минут спустя вернулся с бутылкой, украшенной огромной белой этикеткой с пышным гербом: «Шампанское пенистое. Высшего качества. Граф де Шатель-Реново».

— И обошлось-то всего в три франка,— объявил Кашлен,— а, кажется, превосходное.

Он сам вынул из буфета бокалы и поставил перед каждым прибором.

Дверь справа отворилась. Вошла дочь. Это была голубоглазая румяная девица с каштановыми волосами — рослая, пышная, крепкого сложения. Скромное платье хорошо обрисовывало ее полный и гибкий стан. В ее звучном, почти мужском голосе слышались волнующие низкие ноты.

— Боже, шампанское! Вот радость-то! — воскликнула она, по-детски хлопая в ладоши.

— Смотри, будь любезна с гостем, он оказал мне большую услугу,— предупредил отец.

Она звонко расхохоталась, что должно было означать: «Понимаю».

В передней зазвенел колокольчик; входная дверь открылась и захлопнулась. Вошел Лезабль. Он был очень представителен: черный фрак, белый галстук,

белые перчатки. Восхищенный Кашлен в смущении бросился навстречу:

— Но, дорогой друг, здесь все только свои; я, как видите, в пиджаке!

Молодой человек возразил:

— Знаю, вы говорили мне. Но у меня такая привычка — выходить по вечерам только во фраке.

Он раскланивался, держа цилиндр под мышкой. В петлице у него красовался цветок. Сезар познакомил его:

— Моя сестра мадмуазель Шарлотта, моя дочь Корали; мы запросто зовем ее Кора.

Все обменялись поклонами. Кашлен продолжал:

— Гостиной у нас нет. Это немного стеснительно, но мы обходимся.

Лезабль возразил:

— Но у вас прелестно!

Затем у него отобрали цилиндр, который он держал в руках. И он стал снимать перчатки.

Все сели, молча, через стол, разглядывая гостя; немного погодя Кашлен спросил:

— Начальник еще долго не уходил? Я ушел пораньше, чтобы помочь дамам.

Лезабль ответил небрежным тоном:

— Нет. Мы вышли с ним вместе: нам надо было переговорить по поводу брезентов из Бреста; это очень запутанное дело, с ним у нас будет много хлопот.

Кашлен счел нужным осведомить сестру:

— Все трудные дела поступают к господину Лезаблю; он у начальника правая рука.

Старуха, вежливо кивнув, сказала:

— Как же, как же, я слышала о способностях господина Лезабля.

Толкнув коленкой дверь, вошла служанка, высоко, обеими руками, неся большую суповую миску.

— Прошу к столу! — пригласил хозяин.— Господин Лезабль, садитесь здесь, между моей сестрой и дочерью. Надеюсь, вы не боитесь дам?

И обед начался.

Лезабль был очень любезен, но с оттенком превосходства, почти снисходительности; он искоса поглядывал на молодую девушку, изумляясь ее свежести и

завидному здоровью. Зная о намерении брата, мадмуазель Шарлотта старалась изо всех сил и поддерживала пустую болтовню, перескакивая с одного предмета на другой. Сияющий Кашлен говорил слишком громко, шутил, подливал гостю вина, купленного час назад в лавчонке на углу.

— Стаканчик бургонского, господин Лезабль. Не стану утверждать, что это высший сорт, но винцо недурное — выдержанное и, во всяком случае, натуральное; за это я ручаюсь. Мы получили его от наших тамошних друзей.

Корали молчала, слегка раскрасневшись и робея от соседства с молодым человеком, мысли которого она угадывала.

Когда подали омара, Сезар объявил:

— Вот с кем я охотно сведу знакомство.

Лезабль, улыбаясь, рассказал, что какой-то писатель назвал омара «кардиналом морей», не подозревая, что омары, прежде чем их сварят, всегда черного цвета. Кашлен захохотал во все горло, повторяя:

— Вот забавно! Ха, ха, ха!

Но мадмуазель Шарлотта рассердилась и обиженно сказала:

— Не понимаю, что тут смешного. Этот ваш писатель—просто невежа. Я готова понять любую шутку, любую, но высмеивать при мне духовенство не позволю.

Желая понравиться старухе, Лезабль воспользовался случаем, чтобы заявить о своей приверженности католической церкви. Он осудил людей дурного тона, легкомысленно толкующих о великих истинах, и заключил:

— Что касается меня, то я уважаю и почитаю веру отцов наших, в ней я был воспитан и ей останусь предан до конца дней моих.

Кашлен уже не смеялся. Он катал хлебные шарики и поддакивал:

— Справедливо, весьма справедливо.

Решив переменить наскучившую беседу, он заговорил о службе, как склонны делать все, кто изо дня в день тянет служебную лямку.

— Красавчик Маз, наверно, бесится, что не получил повышения, а?

Лезабль улыбнулся:

— Что поделаешь? Каждому по заслугам.

И они заговорили о министерстве; все оживились,— ведь дамы, которым Кашлен постоянно рассказывал обо всех чиновниках, знали каждого из них почти так же хорошо, как и он сам. Мадмуазель Шарлотту весьма привлекали романтическая фантазия и мнимые похождения Буасселя, о которых он так охотно повествовал, а мадмуазель Кору втайне занимал красавец Маз. Впрочем, обе никогда не видали ни того, ни другого.

Лезабль отзывался о сослуживцах свысока, словно министр о своих подчиненных.

Его слушали внимательно.

— У Маза есть, конечно, свои достоинства; но, если хочешь чего-нибудь достигнуть, надо работать усердней. Он же любит общество, развлечения. Все это сбивает его с толку. Если он не далеко пойдет — это его вина. Может быть, благодаря своим связям он и дослужится до столоначальника, но не более того. Что до Питоле, надо признать, что бумаги он составляет недурно, у него неплохой слог,— этого нельзя отрицать, но ему не хватает основательности. Все у него поверхностно. Такого человека не поставишь во главе какого-нибудь важного отдела, но толковому начальнику, который сумеет ему все разжевать, он может быть полезен.

Мадмуазель Шарлотта спросила:

— А господин Буассель?

Лезабль пожал плечами:

— Ничтожество, полнейшее ничтожество. Голова набита бог весть чем. Выдумывает всякую чушь. Для нас он просто пустое место.

Кашлен захохотал:

— А лучше всех папаша Савон!

И все рассмеялись.

Затем перешли к театру и новым пьесам. Лезабль столь же авторитетно судил о драматургии и решительно разделывался с авторами, оценивая сильные и слабые стороны каждого с самоуверенностью человека, который считает себя всеведущим и непогрешимым.

Кончили жаркое. Сезар уже бережно открывал горшочек с гусиной печенкой, и торжественность, с какой

он это делал, позволяла судить о совершенстве содержимого. Он заметил:

— Не знаю, будет ли она удачной. Обычно эта печенка превосходна. Мы получаем ее от двоюродного брата из Страсбурга.

И все с почтительной медлительностью принялись за изделие колбасной, заключенное в желтом глиняном горшочке.

С мороженым произошла катастрофа. В компотнице плескалась какая-то светлая жидкость — не то соус, не то суп. Служанка, опасаясь, что не сумеет справиться сама, попросила кондитера, явившегося к семи часам, вынуть это мороженое из формы.

Расстроенный Кашлен распорядился было его убрать, но тут же утешился, вспомнив о праздничном пироге; он стал разрезать его с таким загадочным видом, словно в этом кулинарном изделии заключалась величайшая тайна. Все взоры устремились на этот символический пирог; каждому полагалось отведать его, выбрав кусок с закрытыми глазами.

Кому же достанется боб? Глуповатая улыбка блуждала у всех на устах. Вдруг у Лезабля вырвалось изумленное: «Ах!»,— и он показал крупную белую фасолину, еще облепленную тестом, которую зажал большим и указательным пальцем. Кашлен захлопал в ладоши и закричал:

— Выбирайте королеву! Выбирайте королеву!

На мгновение король заколебался. Не сделает ли он удачный дипломатический ход, избрав мадмуазель Шарлотту? Она будет польщена, побеждена, завоевана. Но он рассудил, что пригласили-то его ради Коры, и он будет глупцом, ежели изберет тетку. Поэтому, обратившись к своей юной соседке, он сказал:

— Сударыня, разрешите предложить его вам!

И вручил ей боб — знак королевского могущества. Впервые они взглянули в глаза друг другу. Она ответила:

— Спасибо, сударь! — и приняла из его рук этот символ власти.

«А ведь она хороша,— подумал Лезабль,— глаза у нее чудесные. И какая свежая, цветущая!»

Звук, похожий на выстрел, заставил подскочить

обеих женщин. Кашлен откупорил шампанское, и жидкость неукротимой струей полилась из бутылки на скатерть. Наполнив бокалы пенистой влагой, хозяин заявил:

— Сразу видно, что шампанское лучшей марки.

А так как Лезабль торопился отпить из своего бокала, опасаясь, что вино перельется через край, Кашлен воскликнул:

— Король пьет! Король пьет!

И развеселившаяся старушонка тоже взвизгнула своим писклявым голоском:

— Король пьет! Король пьет!

Лезабль уверенно осушил свой бокал и поставил его на стол:

— Как видите, я не заставляю себя просить.

Затем, обратившись к мадмуазель Корали, он сказал:

— Теперь вы, сударыня!

Кора пригубила было, но тут раздались возгласы:

— Королева пьет! Королева пьет!

Она покраснела и, засмеявшись, отставила свой бокал.

Конец обеда прошел очень весело. Король усердно ухаживал за королевой. После десерта и ликеров Кашлен объявил:

— Сейчас уберут со стола, и станет просторней. Если нет дождя, можно побыть на балконе.

Было уже совсем темно, но ему очень хотелось показать гостю вид, открывавшийся сверху на Париж.

Отворили застекленную дверь. Повеяло сыростью. Воздух был теплый, словно в апреле, и все, поднявшись на приступочку, вышли на широкий балкон. Можно было различить только туманное сияние, реявшее над огромным городом подобно лучистому венчику, какие рисуют над головами святых. Кое-где свет казался более ярким, и Кашлен принялся объяснять:

— Глядите-ка, вон там — это сверкает Эден. А вот — вереница бульваров. Ого, сразу отличишь! Днем это — великолепное зрелище! Сколько ни путешествуй, лучше не увидишь.

Лезабль облокотился на железные перила рядом с Корой, которая молчаливо и рассеянно глядела в тем-

ноту, внезапно охваченная тоскливым томлением. Мадмуазель Шарлотта, опасаясь сырости, вернулась в столовую. Кашлен продолжал разглагольствовать, вытянутой рукой указывая местоположение Дома инвалидов, Трокадеро, Триумфальной арки на площади Звезды.

Лезабль спросил вполголоса:

— А вы, мадмуазель Кора, любите смотреть отсюда на Париж?

Она вздрогнула, словно очнувшись, и ответила:

— Я?.. Да, особенно по вечерам. Я думаю обо всем, что происходит там, внизу. Сколько счастливых людей и сколько несчастных в этих домах! Как много бы мы узнали, если б все могли увидеть!

Он пододвинулся к ней так, что их плечи и локти соприкасались.

— При лунном свете это, должно быть, волшебное зрелище?

Она сказала очень тихо:

— О да! Словно гравюра Гюстава Доре. Какое было бы наслаждение подолгу бродить по этим крышам!

Лезабль стал расспрашивать Кору о ее вкусах, заветных желаниях, радостях. Она отвечала без стеснения, показав себя разумной, рассудительной и не слишком мечтательной девушкой. Лезабль обнаружил в ней много здравого смысла, и ему вдруг захотелось обвить рукой этот полный упругий стан и медленно, короткими томительными поцелуями, словно маленькими глотками, как хорошее вино, впивать свежесть этой щечки, вот здесь, у самого ушка, на которое падал отсвет лампы. Он почувствовал влечение, взволнованный этой близостью, охваченный жаждой созревшего девственного тела, смущенный нежной прелестью юной девушки. Он готов был долгие часы, ночи, недели, вечность вот так, облокотившись, стоять рядом, ощущая ее подле себя, проникнутый очарованием ее близости. Что-то похожее на поэтическое чувство зашевелилось в его душе перед лицом громадного, раскинувшегося внизу Парижа, озаренного огнями, живущего своей ночной жизнью — жизнью разгула и наслаждений. Ему чудилось, что он владычествует над великим городом, что он реет над ним; и он подумал, как восхитительно было

бы стоять так каждый вечер, облокотившись на перила балкона, подле прекрасной женщины, и любить друг друга, и целовать друг друга, и сжимать в объятиях друг друга здесь, в вышине, над необъятным городом, над всеми любовными страстями, в нем заключенными, над всеми грубыми наслаждениями, над всеми пошлыми желаниями, здесь, в вышине, под самыми звездами.

Бывают вечера, когда наименее восторженные люди предаются мечтам, словно у них выросли крылья. А может быть, он был немного пьян.

Кашлен, уходивший за своей трубкой, вернулся на балкон и закурил.

— Я знаю, что вы не курите, поэтому и не предлагаю вам папиросы,— сказал он.— Нет ничего лучше, чем подымить немножечко тут, наверху. Если б мне пришлось поселиться внизу,— для меня это была бы не жизнь. А мы могли бы спуститься и пониже,— ведь дом принадлежит сестре, да и оба соседние — тоже, вон там налево и тот направо. Они приносят ей порядочный доход. В свое-то время они достались ей по недорогой цене.

И, обернувшись к столовой, он крикнул в открытую дверь:

— Шарлотта, сколько ты заплатила за эти участки?

Визгливым голосом старуха затараторила. До Лезабля доносились лишь обрывки фраз:

— В тысяча восемьсот шестьдесят третьем... тридцать пять франков... построен позже... три дома.. банкир... перепроданы... самое меньшее полмиллиона франков...

Она рассказывала о своем состоянии с самодовольством старого солдата, повествующего о былых походах. Она перечисляла все свои приобретения, предложения, какие ей когда-либо делали, свои доходы, ренту и так далее.

Лезабль, крайне заинтересованный, обернулся к двери, теперь уже прислонившись спиной к перилам балкона. Но все же он улавливал лишь обрывки фраз. Тогда он неожиданно покинул свою собеседницу и вернулся в столовую, чтобы уже не проронить ни слова. Усевшись рядом с мадмуазель Шарлоттой, он подробно обсудил с ней, насколько можно будет повысить квар-

тирную плату и какое помещение капитала выгоднее — в ценных бумагах или в недвижимости.

Он ушел около полуночи, пообещав прийти еще.

Месяц спустя в министерстве только и было толков, что о женитьбе Жака-Леопольда Лезабля на мадмуазель Селестине-Корали Кашлен.

III

Молодожены поселились на той же площадке, что и Кашлен с сестрой, в такой же точно квартире, откуда спровадили жильцов.

Но душу Лезабля снедала тревога: тетка не захотела официально закрепить за Корой право наследования. Правда, она поклялась, «как перед господом богом», что завещание ею составлено и хранится у нотариуса, г-на Беллома. Кроме того, она пообещала, что все ее состояние достанется племяннице, но при одном условии. Какое это условие — она объяснить не пожелала, несмотря ни на какие просьбы, хотя и заверяла с благожелательной усмешкой, что выполнить его нетрудно.

Лезабль почел за благо пренебречь всеми сомнениями, какие вызывала в нем упорная скрытность старой ханжи, и, так как девица ему очень нравилась, он уступил своему влечению и поддался упрямой настойчивости Кашлена.

Теперь он был счастлив, хотя неуверенность в будущем и не переставала его мучить; и он любил жену, ни в чем не обманувшую его ожиданий. Жизнь его текла однообразно и ровно. Прошло несколько недель; он уже привык к положению женатого человека и оставался все таким же исполнительным чиновником, как и прежде.

Прошел год. Снова наступило первое января. К великому удивлению Лезабля, он не получил повышения, на которое рассчитывал. Только Маз и Питоле продвинулись по службе. И Буассель по секрету сообщил Кашлену, что собирается как-нибудь вечерком, уходя из министерства, подстеречь у главного подъезда обоих сослуживцев и на глазах у всех их отколотить. Разумеется, он этого не сделал.

Целую неделю Лезабль не спал, ошеломленный тем, что, невзирая на проявленное усердие, его обошли по службе. А ведь он трудится, как каторжный, он постоянно заменяет помощника начальника, г-на Рабо, который хворает девять месяцев в году и только и делает, что отлеживается в больнице Валь-де-Грас; что ни утро — он приходит в половине девятого; что ни вечер — уходит в половине седьмого. Чего им еще надо? Ну что ж, раз не ценят такую работу, такое усердие, он будет поступать, как прочие, только и всего. Каждому по заслугам. Но как мог г-н Торшбеф, относившийся к нему, как к родному сыну, как мог он от него отречься? Необходимо узнать, что за этим кроется. Он пойдет к начальнику и объяснится с ним.

И вот в один из понедельников, утром, до прихода сослуживцев, Лезабль постучался в двери властелина.

Резкий голос громко произнес:

— Войдите!

Лезабль вошел.

За большим столом, заваленным бумагами, сидел г-н Торшбеф — коротенький, с огромной головой, словно покоящейся на бюваре, и что-то писал.

— Добрый день, Лезабль, как поживаете? — спросил он, завидев своего любимца.

— Добрый день, господин Торшбеф. Спасибо, очень хорошо,— ответил Лезабль.— А вы?

Начальник положил перо и повернулся вместе с креслом. Его тщедушное, немощное тело, затянутое в строгого покроя черный сюртук, казалось совсем крохотным в широком кожаном кресле с высокой спинкой. Розетка ордена Почетного легиона, огромная, яркая, чересчур крупная для этого маленького человечка, сверкала, будто пылающий уголь, на впалой груди, как бы раздавленной тяжестью черепа, столь громадного, словно у его владельца, как у гриба, весь рост пошел в шляпку.

У него был острый подбородок, впалые щеки, глаза навыкате, непомерно большой лоб и зачесанные назад седые волосы.

— Садитесь, друг мой, и говорите, что привело вас ко мне,— произнес г-н Торшбеф.

Со всеми прочими чиновниками он был по-военному

суров, воображая себя капитаном на борту судна, поскольку министерство представлялось ему громадным кораблем, флагманом всего французского флота.

Лезабль, слегка взволнованный и побледневший, пролепетал:

— Дорогой патрон, я хотел спросить вас, в чем я провинился?

— Да что вы, дорогой мой, с чего вы взяли?

— Должен сознаться, я был несколько удивлен, не получив в этом году повышения, как в прошлые годы. Простите за дерзость, дорогой патрон, но разрешите быть откровенным до конца. Я знаю, что вы оказывали мне чрезвычайную милость и предпочтение, о каком я не смел и мечтать. Я знаю, что на повышение можно рассчитывать не чаще, нежели раз в два—три года, но позвольте мне также заметить, что я выполняю в нашем учреждении примерно вчетверо больше работы, нежели рядовой чиновник, и затрачиваю по меньшей мере вдвое больше времени. Если взвесить затраченные мной усилия и плоды моих трудов, с одной стороны, и получаемое вознаграждение — с другой, окажется, без сомнения, что награда далеко не соответствует проявленному усердию.

Он старательно приготовил эту фразу и находил ее превосходной.

Г-н Торшбеф удивился и явно не знал, что отвечать. Наконец он произнес суховатым тоном:

— Хотя в принципе и не полагается начальнику обсуждать такие вопросы с подчиненным, из уважения к вашим несомненным заслугам я на сей раз вам отвечу. Как и в предыдущие годы, я представил вас к повышению. Но директор вычеркнул ваше имя на том основании, что ваша женитьба обеспечила вам прекрасное будущее, — не просто достаток, но богатство, какого никогда не достичь вашим скромным коллегам. Так вот, разве мы не обязаны считаться с имущественным положением каждого? Вы будете богаты, очень богаты. Лишние триста франков в год ничего для вас не могут значить, в то время как для любого другого чиновника эта незначительная прибавка составит большую сумму. Вот почему, друг мой, в этом году вы не получили повышения.

Лезабль ушел от начальника в смущении и ярости.

Вечером, за обедом, он придирался к жене. Корали была веселого и ровного нрава, но несколько своевольна и, если уж что-нибудь вобьет себе в голову, не уступит ни за что. В ней больше не таилась для него чувственная прелесть, как на первых порах, и, хотя ее свежесть и красота по-прежнему возбуждали в нем желание, он минутами испытывал то разочарование, близкое к отвращению, какое вскоре наступает в совместной жизни двух человеческих существ. Тысяча пошлых и прозаических житейских мелочей: утренняя небрежность туалета, поношенное платье из дешевой ткани, выцветший халат — из-за всей этой темной изнанки повседневности, слишком заметной в бедной семье, тускнели для него прелести брачной жизни, блекнул поэтический цветок, издали обольщающий жениха.

А тут еще тетка Шарлотта отравляла ему радости семейного очага: она вечно торчала у Лезаблей, во все совала нос, всем распоряжалась, делала замечания по всякому поводу, а молодые, смертельно боясь чем-либо ее рассердить, выносили это смиренно, но со все возрастающим, хоть и скрытым, раздражением.

Тетка бродила по квартире шаркающей старушечьей походкой, непрестанно твердя своим писклявым голоском:

— Почему не сделано то, почему не сделано это?

Оставаясь наедине с женой, Лезабль раздраженно восклицал:

— Твоя тетка стала невыносимой. Не желаю я больше терпеть! Слышишь? Не желаю.

Кора спокойно спрашивала:

— Так что же мне прикажешь делать?

Тогда он выходил из себя:

— Что за гнусная семейка!

А она все так же спокойно отвечала:

— Семейка-то гнусная, да наследство недурное,— не правда ли? Не глупи. Тебе, так же, как и мне, выгодно угождать тетушке.

И он умолкал, не зная, что на это возразить.

Тетка, одержимая мыслью о внуке, не переставая, донимала молодую чету. Загнав Лезабля куда-нибудь в угол, она нашептывала ему:

— Племянник, я желаю, чтобы вы стали отцом до того, как я умру. Я хочу видеть своего наследника. И не вздумайте меня уверять, будто Кора не создана быть матерью. Достаточно взглянуть на нее. Женятся, дорогой племянник, чтобы иметь семью, производить потомство. Наша пресвятая церковь запрещает бесплодные браки. Знаю, что вы небогаты, ребенок потребует расходов. Но, когда меня не станет, вы ни в чем не будете нуждаться. Я хочу маленького Лезабля, слышите вы? Хочу маленького Лезабля!..

Когда после полутора лет супружеской жизни Лезаблей ее желание все еще не сбылось, у Шарлотты зародились опасения, и она стала проявлять настойчивость. Она потихоньку делала наставления Коре, житейские наставления женщины, в свое время видавшей виды и умеющей при случае об этом вспомнить.

Но как-то утром тетка почувствовала недомогание и не смогла подняться. Она никогда раньше не хворала, и Кашлен, весьма взволнованный, постучался к зятю:

— Бегите скорей к доктору, а начальнику доложите, что ввиду непредвиденных обстоятельств я сегодня в министерство не приду.

Лезабль провел тревожный день, все валилось у него из рук; он не мог ни составлять бумаги, ни вникать в дела. Г-н Торшбеф, неприятно удивленный, заметил:

— Вы что-то сегодня рассеянны, господин Лезабль.

И Лезабль, томимый беспокойством, ответил:

— Я очень устал, дорогой патрон; всю ночь я провел у постели тетушки; состояние ее весьма тяжелое.

Однако начальник холодно возразил:

— Достаточно того, что при ней находится господин Кашлен. Я не могу допустить, чтобы все учреждение пришло в расстройство из-за личных дел моих подчиненных.

Лезабль выложил перед собой на стол часы, с лихорадочным нетерпением ожидая, когда стрелка подойдет к пяти. И как только во дворе министерства зазвонили часы, он поспешил уйти, впервые покидая учреждение в положенное время.

Он даже нанял фиакр, настолько мучило его беспокойство, и бегом поднялся по лестнице.

Открыла служанка; он пролепетал:

— Ну, как она?

— Доктор говорит — очень она плоха.

У него заколотилось сердце, и он едва выговорил:

— Ах, вот как!..

Неужели она так-таки умрет?

Он не решался войти в комнату больной и вызвал Кашлена, который был при ней.

Тесть немедля вышел к нему, стараясь не хлопнуть дверью. Он был в халате и ночном колпаке, как обычно по вечерам, когда уютно сиживал у камелька. Он прошептал:

— Она плоха, очень плоха. Вот уже четыре часа, как она без сознания. Ее даже причастили.

У Лезабля чуть не подкосились ноги; он присел на стул.

— Где жена?

— Подле нее.

— А врач что говорит?

— Говорит, что это удар. Она может оправиться, а может быть, не протянет и до утра.

— Я вам нужен? Если нет, я предпочел бы не входить. Мне тяжело видеть ее в этом состоянии.

— Нет, отправляйтесь к себе. Ежели что новое будет, я немедля вас позову.

И Лезабль вернулся к себе. Квартира показалась ему изменившейся — просторней, светлей. Но ему не сиделось на месте, и он вышел на балкон.

Стоял конец июля, и огромное солнце, скрываясь за башнями Трокадеро, изливало потоки пламени на великое множество крыш.

Небесный свод, пурпуровый у горизонта, менял оттенки, становясь выше бледно-золотым, потом — желтым, потом — зеленым, чуть-чуть зеленоватым, словно пронизанным светом, потом голубел, переходя в чистую и ясную лазурь, над головой.

Стрелой пролетали едва видимые ласточки, вычерчивая на фоне алого заката беглые очертания крючковатых крыльев, и над кровлями нескончаемых зданий, над далекими полями реяла розовая дымка, огненный туман, из которого в величавой торжественности поднимались шпили колоколен, стройные очертания город-

ских сооружений. В пылающем небе, огромная и черная, возникала Триумфальная арка на площади Звезды, а купол Дома инвалидов казался вторым солнцем, упавшим с неба на вершину здания.

Ухватившись обеими руками за железные перила, Лезабль впивал воздух, как пьют вино, и ему хотелось прыгать, кричать, кувыркаться, так захлестнула его радость, глубокая и торжествующая. Жизнь казалась прекрасной, будущее — полным радужных надежд. Что же он станет делать? И он размечтался.

Он вздрогнул, услышав шорох за спиной. Это была жена. Глаза у нее покраснели и опухли от слез. Лицо казалось усталым. Она подставила ему лоб для поцелуя и сказала:

— Обедать будем у папы, чтобы не оставлять ее. Служанка посидит с ней, пока мы поедим.

Он пошел за Корой в соседнюю квартиру.

Кашлен уже сидел за столом в ожидании дочери и зятя. На буфете стояла холодная курица, картофельный салат, вазочка с земляникой, в тарелках дымился суп.

Все сели.

— Вот невеселый денек, не хотел бы я, чтобы он повторился,— произнес Кашлен; голос его при этом ничего не выражал, а на лице было что-то похожее на чувство удовлетворения.

И он принялся уплетать за обе щеки, как человек, обладающий превосходным аппетитом, находя курятину великолепной, а картофельный салат необычайно вкусным.

Но у Лезабля теснило грудь, а душу терзало беспокойство, и он едва прикасался к еде, напряженно прислушиваясь к тому, что происходило в соседней комнате. А в ней стояла такая тишина, словно там никого не было. Кора ничего есть не могла. Она всхлипывала, вздыхала и то и дело уголком салфетки утирала слезы.

Кашлен спросил, обращаясь к зятю:

— Что сказал начальник?

Лезабль принялся обстоятельно рассказывать, а тесть требовал все новых подробностей, расспрашивая обо всех, словно он год не был в министерстве.

— Там, верно, все переполошились, узнав о ее болезни?

И он представил себе, как после ее смерти, торжествующий, явится в департамент и какие будут физиономии у сослуживцев. Но, словно отвечая на тайные укоры совести, он сказал:

— Я вовсе не желаю ей зла, нашей милой старушке! Богу известно, я хотел бы продлить ее дни, но все-таки это всех поразит. Папаша Савон и про Коммуну забудет!

Только принялись за землянику, как дверь из комнаты больной приотворилась. Все трое вскочили, не помня себя от волнения.

Вошла служанка с обычным для нее безмятежно-глуповатым видом и спокойно сообщила:

— Уже не дышит.

Кашлен швырнул салфетку на стол и ринулся, как сумасшедший, в комнату старухи; Кора, с бьющимся сердцем, последовала за ним; только Лезабль остановился в дверях, издали вглядываясь в белое пятно постели, едва различимое в вечерних сумерках. Он видел лишь неподвижную спину тестя, склонившегося над кроватью, и внезапно из далекой неведомой дали, с другого конца света до него донесся голос Кашлена; так в сновидении незнакомый голос вдруг произносит загадочные слова:

— Кончено. Она не дышит.

Лезабль увидел, как жена, зарыдав, упала на колени и уткнулась лицом в одеяло. Тогда он решился войти; Кашлен приподнялся, и он разглядел на белой подушке лицо тетки Шарлотты — с опущенными веками, запавшими щеками, застывшее и бледное, как у восковой куклы.

С лихорадочным беспокойством он спросил:

— Скончалась?

Кашлен, тоже смотревший на покойницу, обернулся, и глаза их встретились.

— Да,— ответил тесть и попытался придать своему лицу скорбное выражение. Но они с одного взгляда поняли друг друга и, не задумываясь, повинуясь какому-то внутреннему побуждению, обменялись крепким рукопожатием, словно в знак взаимной благодарности за то, что они друг для друга сделали

Затем, не теряя времени, они рьяно принялись за выполнение обязанностей, какие налагает смерть.

Лезабль вызвался сходить за врачом и как можно скорее закончить самые неотложные дела.

Он схватил шляпу и бегом спустился по лестнице, торопясь очутиться на улице, побыть в одиночестве, вздохнуть полной грудью, обо всем поразмыслить, насладиться наедине своим счастьем.

Покончив с делами, он, вместо того чтобы возвратиться домой, свернул на бульвар; его охватило желание видеть людей, вмешаться в людскую толчею, приобщиться к беспечному веселью вечерней толпы. Ему хотелось крикнуть в лицо прохожим: «У меня пятьдесят тысяч ливров ренты!»

Он шагал, заложив руки в карманы, и, останавливаясь перед витринами магазинов, разглядывал нарядные ткани, драгоценности, роскошную мебель с радостным сознанием: «Теперь я могу себе это позволить».

По пути он наткнулся на похоронное бюро, и внезапно его кольнула мысль: «А что, если она жива? Что, если они ошиблись?»

И, отравленный сомнением, он поспешно возвратился домой.

Еще с порога он спросил:

— Доктор был?

— Да,— ответил Кашлен.— Он установил факт смерти и обещал сделать заявление.

Они вернулись в комнату умершей. Кора, пристроившись в кресле, все еще плакала. Она плакала тихонько и безотчетно, почти уже не ощущая горести, с той легкостью, с какой обычно проливают слезы женщины.

Едва они остались одни в квартире, Кашлен сказал вполголоса:

— Служанка ушла, теперь мы могли бы взглянуть, не спрятано ли что в шкафах?

И мужчины вдвоем принялись за работу. Они выворачивали ящики, обшаривали карманы, развертывали каждую бумажонку. Наступила полночь, а они все еще не нашли ничего интересного. Уснувшая Кора тихонько и мерно похрапывала.

— Что ж, останемся здесь до утра? — спросил Сезар.

Поколебавшись, Лезабль сказал, что это будет, пожалуй, приличествовать обстоятельствам. Тогда тесть предложил:

— Принесем кресла.

И они отправились за двумя мягкими креслами, стоявшими в спальне у молодой четы.

Час спустя вся семейка спала, издавая разноголосый храп, рядом с оледеневшим в вечной неподвижности трупом.

Все трое проснулись с наступлением утра, когда в комнату вошла служанка. Кашлен, протирая глаза, признался:

— Я, кажется, слегка вздремнул — так, с полчасика.

На что Лезабль, быстро стряхнув с себя сонливость, заявил:

— Да, я видел. Я-то ни на секунду не забылся сном, я лишь прикрыл глаза, чтобы дать им отдохнуть.

Кора вернулась в свою квартиру.

Тогда Лезабль с напускным безразличием спросил тестя:

— Как вы полагаете, когда нам следует пойти к нотариусу ознакомиться с завещанием?

— Да... хоть сейчас... если хотите.

— А Кора тоже должна пойти с нами?

— Пожалуй, так будет лучше,— ведь наследница-то она.

— Тогда я скажу ей, чтобы она одевалась.

И Лезабль вышел своей обычной стремительной походкой.

Контора нотариуса Беллома еще только открылась, когда в ней появились Кашлен и чета Лезаблей,— все трое в глубоком трауре и со скорбными лицами.

Нотариус сейчас же их принял и усадил.

Заговорил Кашлен:

— Сударь, вы меня знаете: я брат мадмуазель Шарлотты Кашлен, а это моя дочь и зять. Бедняжка сестра моя вчера скончалась. Завтра мы ее хороним. Поскольку вы являетесь хранителем ее завещания, мы пришли узнать у вас, не оставила ли покойница каких-

либо распоряжений относительно своего погребения и не имеете ли вы что-либо нам сообщить?

Нотариус выдвинул ящик стола, достал конверт, вскрыл его, вынул бумагу и сказал:

— Вот, сударь, копия завещания, с которой я могу немедля вас ознакомить. Подлинный документ, совершенно тождественный этому, должен храниться у меня.

И он прочел:

«Я, нижеподписавшаяся, Викторина-Шарлотта Кашлен, сим выражаю свою последнюю волю:

Все мое состояние в сумме около одного миллиона ста двадцати тысяч франков я завещаю детям, которые родятся от брака племянницы моей Селестины-Корали Кашлен, с предоставлением родителям права пользоваться доходами с вышеозначенной суммы до совершеннолетия старшего из детей.

Нижеследующими распоряжениями оговаривается доля каждого ребенка, а также доля, предоставляемая родителям до конца их дней.

В случае, если моя смерть наступит ранее, нежели моя племянница родит наследника, все мое состояние остается на хранении у моего нотариуса в течение трех лет с тем, что, ежели на протяжении этого времени родится ребенок, будет поступлено согласно моей воле, как изложено выше.

В том случае, однако, если по истечении трех лет со дня моей смерти господь бог все еще не дарует племяннице моей Корали потомства, все мое состояние должно быть, заботами моего нотариуса, отдано бедным, а также благотворительным учреждениям, перечень каковых приведен ниже».

За сим нескончаемой вереницей следовали названия различных общин, цифры перечисляемых сумм, указания и распоряжения.

Окончив чтение, метр Беллом весьма вежливо вручил документ как громом пораженному Кашлену.

Нотариус счел даже нужным добавить несколько слов в пояснение:

— Когда покойная мадмуазель Кашлен впервые

оказала мне честь, заговорив о своем намерении составить завещание в этом смысле, она не скрыла от меня своего чрезвычайного желания иметь наследника, родного ей по крови. Движимая религиозным чувством, она на все мои доводы отвечала настойчивым изъявлением своей последней воли, полагая, что всякий бесплодный брак есть знак проклятия небесного. Не в моих силах было изменить ее намерение. Поверьте, что я об этом весьма сожалею.— И, обращаясь к Корали, он добавил с улыбкой:

— Я не сомневаюсь, что пожелание покойницы будет осуществлено весьма скоро.

И все трое ушли, слишком ошеломленные, чтобы о чем-либо думать.

Они возвращались домой, молча шагая рядом, сконфуженные и взбешенные, словно сами же обокрали друг друга. У Коры всю скорбь как рукой сняло: неблагодарность тетки освобождала ее от обязанности оплакивать покойницу. Наконец, придя в себя, Лезабль бледными, судорожно сведенными от досады губами произнес, обращаясь к тестю:

— Дайте мне, пожалуйста, этот документ, я хочу в точности ознакомиться с ним.

Кашлен вручил зятю бумагу, и тот погрузился в чтение. Он остановился посреди тротуара и, не обращая внимания на толкавших его со всех сторон прохожих, искушенным глазом опытного канцеляриста шарил по бумаге, пытаясь разобраться в каждом слове. Жена и тесть все так же молча дожидались в двух шагах.

Наконец он вернул тестю завещание, объявив:

— Ничего не поделаешь. Ловко же она нас обобрала!

Кашлен, обозленный крушением своих надежд, возразил:

— Это вам следовало обзавестись ребенком, черт подери! Вы ведь знали, что она давно этого желала.

Лезабль, не отвечая, пожал плечами.

Вернувшись домой, они застали множество людей, которые кормятся вокруг покойников. Лезабль ушел к себе, не желая больше ни во что вмешиваться, а Сезар злился, кричал, чтобы его оставили в покое, чтобы

поскорее кончали эту волынку и что пора наконец избавить его от этого трупа.

Кора заперлась у себя в комнате, и ее не было слышно. Но спустя час Кашлен постучался в двери к зятю.

— Дорогой Леопольд,— сказал он,— я хочу поделиться с вами некоторыми соображениями; ведь как-никак нам надо столковаться. По-моему, следует все же устроить приличные похороны, чтобы не возбуждать толков в министерстве. Деньги мы уж раздобудем. Да и ничего ведь еще не потеряно. Женаты вы не так давно, неужто у вас не будет детей? Придется немножко постараться, только и всего. Теперь займемся самым неотложным: можете ли вы нынче же зайти в министерство? Тогда я немедля надпишу адреса на извещениях о похоронах.

Лезабль не без досады должен был признать, что тесть его прав, и, усевшись друг против друга по концам длинного стола, они принялись надписывать уведомления в черной рамке.

Потом сели завтракать. Кора вышла к столу, безразличная ко всему, словно все происходившее ее вовсе не касалось; ела она с аппетитом, так как накануне весь день постилась.

Только кончили завтракать, она опять ушла к себе, Лезабль отправился в министерство, а Кашлен расположился на балконе, с трубкой в зубах, верхом на стуле. Палящее летнее солнце роняло отвесные лучи на крыши домов, и стекла слуховых окон горели таким нестерпимым блеском, что глазам было больно.

Кашлен, в одном жилете, ослепленный потоками света, мигая, смотрел на зеленые холмы, маячившие там, далеко-далеко, позади огромного города, позади пыльных окраин. Ему мерещилась широкая, тихая и прохладная Сена, протекающая у подножия лесистых холмов, и он думал, до чего было бы хорошо растянуться на траве под сенью деревьев где-нибудь на самом берегу реки, безмятежно поплевывая на воду, вместо того чтоб жариться на раскаленном балконе. Его томила тоска, неотступное мучительное сознание краха, непредвиденной неудачи, тем более жестокой и горькой, чем дольше лелеяли они надежду; и, одержи-

мый этой неотвязной мыслью, он произнес вслух, как бывает при сильном душевном потрясении:

— Старая шлюха!

В столовой, за спиной у него, шумно суетились агенты похоронного бюро и раздавался мерный стук молотка, которым заколачивали проб. По возвращении от нотариуса Кашлен так и не пожелал больше взглянуть на сестру.

Но понемногу тепло, веселое, ясное очарование этого знойного летнего дня пронизало его тело и душу, и ему стало казаться, что не все еще потеряно. Почему бы его дочери и не родить ребенка? Не прошло ведь еще и двух лет, как она вышла замуж. И зять как будто крепкий и здоровый, хотя и невелик ростом. Будет у них ребенок, черт побери!.. Да и нельзя ведь иначе!

Лезабль крадучись вошел в министерство и проскользнул в свой кабинет. На столе он нашел записку: «Вас спрашивает начальник». Он сделал было нетерпеливое движение, возмущенный этим деспотизмом, который опять будет тяготеть над ним. Но жгучее, неукротимое желание выдвинуться по службе подхлестнуло его. Он сам — и очень даже скоро — станет начальством, и поважнее этого!

Как был, не снимая выходного сюртука, Лезабль направился к г-ну Торшбефу. Он вошел с тем сокрушенным видом, какой полагается принимать в прискорбных случаях, и даже более того, на его грустном лице было выражение подлинного глубокого уныния, какое непроизвольно появляется у каждого при крупных неудачах.

Начальник приподнял огромную голову, как всегда, склоненную над бумагами, и резко заметил:

— Я прождал вас все утро. Вы почему не пришли?

— Дорогой патрон,— ответил Лезабль,— мы имели несчастье потерять нашу тетушку, мадмуазель Кашлен; я как раз и пришел затем, чтоб просить вас присутствовать на погребении, которое состоится завтра.

Лицо г-на Торшбефа мгновенно прояснилось. И он ответил с оттенком уважения:

— Тогда, дорогой мой, другое дело. Благодарю вас. А теперь вы свободны,— ведь хлопот у вас, вероятно, достаточно.

Но Лезаблю непременно хотелось доказать свое усердие:

— Благодарю вас, дорогой патрон, но у нас уже со всем покончено, так что я рассчитываю пробыть в учреждении до конца занятий.

И он вернулся в свой кабинет.

Новость облетела все министерство. Из всех отделов приходили сослуживцы, чтобы выразить Лезаблю соболезнование. Впрочем, это походило скорее на поздравления; к тому же каждому хотелось взглянуть, как будет себя вести счастливый наследник.

Лезабль с превосходно разыгранным видом покорности судьбе и удивительным тактом принимал сочувственные слова и выдерживал любопытные взгляды.

— Он прекрасно держится,— говорили одни; а другие добавляли: — Как-никак, а в глубине души он, наверно, донельзя рад.

Маз, который был смелее других, спросил непринужденным тоном светского человека:

— Вам точно известны размеры состояния?

Лезабль ответил с видом полнейшего бескорыстия:

— В точности — нет. Но в завещании названа сумма приблизительно в миллион двести тысяч франков. Я знаю об этом, поскольку нотариус вынужден был тотчас же ознакомить нас с некоторыми пунктами, касающимися похорон.

Все сошлись на том, что Лезабль и не подумает оставаться в министерстве. Кто же станет скрипеть пером в канцелярии, имея шестьдесят тысяч ливров ренты? Ведь как-никак он теперь особа! Кем захочет — тем и будет. Кое-кто полагал, что он собирается занять депутатское кресло. Начальник с минуты на минуту ждал, что Лезабль подаст ему прошение об отставке для передачи директору.

Все министерство явилось на похороны, и все нашли их довольно жалкими. Но ходили слухи, что такова была воля покойницы. «Это оговорено в завещании».

Кашлен назавтра приступил к исполнению своих обязанностей, а Лезабль, похворав с недельку, слегка побледневший, но по-прежнему прилежный и преисполненный усердия, тоже вернулся в министерство. Каза-

лось, ничто не изменилось в их судьбе. Все замечали только, что оба с важностью курят толстые сигары и рассуждают о ренте, о железнодорожных акциях и ценных бумагах, как люди, у которых карманы набиты банковыми билетами. Спустя некоторое время стало известно, что они сняли дачу в окрестностях Парижа, желая провести там остаток лета.

Все решили, что им передалась скупость покойной старухи.

— Это семейная черта, с кем поведешься — от того и наберешься. Что ни говори, не очень-то красиво торчать в канцелярии, получив такое огромное наследство!

Прошло некоторое время, и о них перестали говорить. Их по заслугам оценили и осудили.

IV

Следуя за гробом тетки Шарлотты, Лезабль, не переставая, думал о ее миллионе. Его снедала злоба, тем более лютая, что он вынужден был ее скрывать; из-за своей плачевной неудачи он возненавидел весь мир.

«Ведь я женат вот уже два года, почему же у нас еще нет ребенка?» — задавал он себе вопрос. И сердце его замирало от страха, что брак его останется бездетным.

И вот, подобно мальчугану, который, глядя на приз, прицепленный высоко, у самой верхушки сверкающего шеста, дает себе клятву напрячь все свое мужество и волю, всю силу и упорство и добраться до этой приманки,— Лезабль принял решение во что бы то ни стало сделаться отцом. Почему всякий другой может стать отцом, а он нет? Почему? Или он был слишком беспечен? Чего-то не предусмотрел? Из-за своего равнодушия и непростительной беззаботности чем-то пренебрег? Или просто, никогда не испытывая страстного желания оставить после себя наследника, он не проявил для этого должного старания. Отныне он приложит отчаянные усилия, чтобы достигнуть цели. Он ничего не упустит и добьется своего, раз он этого хочет.

Но, вернувшись с похорон, он почувствовал недомогание и вынужден был лечь в постель. Разочарование было так сильно, что он с трудом мог перенести этот удар.

Врач нашел его состояние настолько тяжелым, что предписал полный покой, посоветовал беречь себя. Опасались даже воспаления мозга.

Однако спустя неделю он был уже на ногах и приступил к работе в министерстве.

Но, продолжая считать себя больным, он все еще не осмеливался приблизиться к супружескому ложу. Он колебался и трепетал, подобно полководцу перед решающим сражением, от которого зависит его судьба. Каждый вечер он откладывал это сражение, в ожидании того счастливого часа, когда, ощущая прилив здоровья, бодрости и силы, чувствуешь себя способным на все. Он поминутно щупал пульс и, находя его то слишком слабым, то чрезмерно учащенным, принимал возбуждающие средства, ел кровавые бифштексы и для укрепления организма совершал по дороге домой длинные прогулки.

Но поскольку силы его не восстанавливались так, как ему бы хотелось, Лезабль подумал, не провести ли конец лета где-нибудь в окрестностях Парижа. Вскоре он окончательно уверовал в то, что свежий воздух полей окажет могучее действие на его здоровье. В таких случаях деревенский воздух делает чудеса. Успокоив себя несомненностью грядущего успеха, он многозначительно намекал тестю:

— В деревне я почувствую себя лучше, и все пойдет как надо.

Уже одно это слово «деревня», казалось, заключало в себе какой-то сокровенный смысл.

Они сняли небольшой деревенский домик в Безоне и поселились там втроем. Каждое утро мужчины отправлялись пешком через поле к полустанку Коломб и каждый вечер пешком возвращались.

Кора была восхищена этой жизнью на берегу реки. Она любила сидеть над ее тихими водами или же собирала цветы и приносила домой огромные букеты тонких бледно-золотистых трав.

По вечерам они совершали прогулку втроем по бе-

регу, до самой плотины Морю, где заходили в трактир «Под липами» выпить бутылку пива. На протяжении ста метров река, сдерживаемая длинным рядом свай, прорывалась между столбами, кидалась, бурлила, пенилась, падала с грохотом, от которого содрогалась земля; а в воздухе реяла мелкая водяная пыль, влажное облачко легкой дымкой вставало над водопадом, разнося вокруг запах взбаламученного ила и свежий привкус пены.

Спускалась ночь, вдалеке перед ними огромное зарево вставало над Парижем, и Кашлен каждый вечер повторял:

— Ого! Вот это город так город!

Время от времени в отдалении с грохотом пролетал по железному мосту поезд и стремительно уносился влево либо вправо — к Парижу или к морю.

Они медленно возвращались, глядя, как восходит луна, и присаживались на обочине дороги, чтобы полюбоваться колеблющимся желтым отблеском на спокойной глади реки, словно уплывавшим вместе с течением; зыбкий и переливчатый, он походил на пламенеющий муар. Жабы издавали пронзительный металлический звук. Ночные птицы перекликались в темноте. А иногда огромная немая тень скользила на поверхности реки, тревожа ее светящуюся спокойную гладь. Это речные браконьеры гнали свою лодку и, одним взмахом выбросив невод, бесшумно вытаскивали на борт громадную темную сеть, полную пескарей; сверкающий и трепещущий улов казался извлеченным со дна сокровищем — живым сокровищем из серебряных рыбок.

Кора, умиленная, растроганная, опиралась на руку мужа, намерения которого она угадывала, хотя между ними не было сказано ни слова. Для них будто снова наступила пора помолвки, пора ожидания любовных ласк. Иногда он украдкой касался губами ее нежного затылка, пленительного местечка возле самой мочки уха, где начинаются первые завитки волос. Она отвечала пожатием руки, и они все сильней желали друг друга, и все еще воздерживались, побуждаемые и обуздываемые страстью еще более могущественной — призраком миллиона.

Кашлен, умиротворенный надеждой, которая реяла вокруг, был счастлив, пил и ел вволю, и в вечерних сумерках в нем пробуждалась та смутная мечтательность, то глуповатое умиление, какое вызывают подчас в самых толстокожих людях картины природы: потоки света, струящегося в листве, лучи заходящего солнца на далеких склонах, пурпурное отражение их в реке.

— Когда видишь все это, невольно начинаешь верить в бога,— заявлял он.— За душу хватает,— и он показывал повыше живота, под ложечкой.— Я чувствую тогда, как меня всего переворачивает, и я совсем дурею. Словно меня окунули в ванну, и мне плакать хочется.

Меж тем Лезабль поправлялся; испытывая внезапно прилив энергии, какого он давно уже не знал, он ощущал потребность скакать, как молодой жеребенок, кататься по траве, кричать от радости.

Он решил, что час настал. Это была настоящая брачная ночь.

Затем наступил медовый месяц, исполненный ласк и упований.

Потом они убедились, что их попытки остались бесплодными и надежда тщетной.

Их охватило отчаяние — это был крах. Но Лезабль не терял мужества и упорствовал, прилагая сверхчеловеческие усилия для достижения цели. Его жену обуревало то же стремление, мучили те же страхи. Более крепкая, нежели он, Кора охотно шла навстречу попыткам мужа и, побуждая его к ласкам, непрестанно подогревала его слабеющий пыл.

В первых числах октября они возвратились в Париж.

Жить становилось тяжело. У них частенько срывались обидные слова, и Кашлен, чутьем угадывающий, как обстоят дела, донимал их ядовитыми и грубыми насмешками старого солдафона.

Их преследовала, грызла неотвязная мысль, разжигавшая в них озлобление друг против друга, мысль о наследстве, которое не давалось им в руки. Кора стала открыто пренебрегать мужем; она помыкала им, обра-

шалась с ним, как с мальчишкой, глупцом, ничтожеством. А Кашлен каждый день за обедом повторял:

— Был бы я богат, я бы народил кучу детишек. Ну, а бедняку надо быть благоразумным.

И, обращаясь к дочери, он добавлял:

— Ты-то, верно, пошла в меня, да вот...

И он бросал на зятя многозначительный взгляд, презрительно пожимая плечами.

Лезабль сносил это молча, как человек высшего круга, попавший в семью неотесанных грубиянов. Сослуживцы заметили, что он похудел и осунулся. Даже начальник как-то спросил:

— Что с вами? Вы не больны? Вас словно подменили.

Лезабль ответил:

— Нет, дорогой патрон, должно быть, я просто переутомился. Последнее время, как вы могли заметить, я довольно много работал.

Он очень рассчитывал на повышение к Новому году и в надежде на это с особенным трудолюбием отдавался своим обязанностям, как и полагается примерному чиновнику.

Он получил какие-то ничтожные наградные, еще более жалкие, нежели достались его сослуживцам. Его тестю вообще ничего не дали.

Оскорбленный до глубины души, Лезабль явился к начальнику и, обращаясь к нему, впервые назвал его не «дорогой патрон», а «сударь».

— Чего ради, сударь, должен я так усердствовать, если это мне ничего не дает?

Огромная голова г-на Торшбефа дернулась, что явно выражало неудовольствие.

— Я уже говорил вам, господин Лезабль, подобного рода пререкания между нами недопустимы. Еще раз повторяю, что считаю ваше требование совершенно неуместным, в особенности учитывая ваше нынешнее благополучие и бедность ваших сослуживцев...

Лезабль не сдержался:

— Сударь, но у меня нет ничего! Тетушка завещала все свое состояние первому ребенку, который родится от нашего брака. Мы с тестем живем только на жалованье.

Торшбеф слегка опешил, но все же возразил:

— Если у вас нет ничего сейчас, вы как-никак не сегодня-завтра разбогатеете, а это одно и то же.

И Лезабль ушел, более подавленный тем, что его обошли по службе, чем недоступностью наследства.

Несколько дней спустя, едва Кашлен успел переступить порог министерства, как явился красавец Маз. На губах у него играла улыбка. За ним с ехидным огоньком в глазах вошел Питоле; распахнув дверь, влетел Буассель, ухмыляясь и с заговорщицким видом подмигивая прочим. Только папаша Савон, не выпуская пенковой трубки изо рта и по-ребячьи поставив ноги на перекладину высокого стула, старательно водил пером по бумаге.

Все молчали, словно чего-то выжидая. Кашлен регистрировал бумаги, по привычке повторяя вслух:

— Тулон. Котелки для офицерской столовой на «Ришелье».— Лорпан. Скафандры для «Дезэ».— Брест. Образчики парусного холста английского производства.

Вошел Лезабль. Каждое утро он теперь сам приходил за делами, которые должны были к нему поступить, так как тесть уже не давал себе труда отправлять их ему с рассыльным.

Пока он рылся в бумагах, разложенных на столе у регистратора, Маз, потирая руки, искоса на него поглядывал, а у Питоле, свертывавшего в это время папиросу, губы подергивались, словно ему стоило неимоверных усилий удержаться от смеха.

— Скажите-ка, папаша Савон, вы ведь многому научились за вашу долгую жизнь? — спросил Питоле, обращаясь к экспедитору.

Старик не отвечал, предполагая, что над ним хотят поиздеваться и опять затеют разговор о его жене.

Питоле не унимался.

— Вы-то хорошо знали, как делать ребят, ведь у вас их было несколько?

Бедняга поднял голову:

— Вам же известно, господин Питоле, что я не люблю, когда над этим шутят. Я имел несчастье избрать себе недостойную подругу жизни. Получив доказательства ее неверности, я перестал считать ее своей женой.

Маз переспросил безразличным тоном, без тени улыбки:

— У вас были тому неоднократные доказательства, не правда ли?

И папаша Савон ответил серьезно:

— Да, сударь.

Снова заговорил Питоле:

— Это не помешало вам стать отцом многочисленного семейства? У вас, я слышал, трое или четверо ребят?

Старик покраснел и проговорил, запинаясь:

— Вы хотите меня оскорбить, господин Питоле, но вам это не удастся. У моей жены подлинно было трое детей. У меня есть основания предполагать, что старший мой. Двух других я не признаю своими.

Питоле подхватил:

— Верно, верно, все говорят, что старший — ваш. Этого достаточно. Как прекрасно иметь ребенка, да, это прекрасно, и какое это счастье! Да вот! Держу пари, что Лезабль был бы в восторге, если б мог, как вы, произвести на свет хотя бы одного.

Кашлен бросил писать. Он не смеялся, хотя папаша Савон был его постоянной мишенью, и обычно Сезар не скупился на непристойные шуточки по поводу его супружеских невзгод.

Лезабль собрал уже свои бумаги. Но, увидев, что все эти выходки направлены против него, он из гордости не захотел уйти. В смущении и ярости он ломал голову: кто же мог выдать его тайну? Внезапно ему пришли на память слова, сказанные им начальнику, и он сразу же понял, что, если не хочет стать посмешищем для всего министерства, он должен действовать очень решительно.

Буассель, по-прежнему ухмыляясь, прохаживался по комнате и, подражая охрипшему голосу уличного торговца, выкрикивал:

— Способ, как производить на свет детей,— десять сантимов два су! Покупайте! Способ, как производить на свет детей, открытый господином Савоном! Множество невероятнейших подробностей!

Все расхохотались, за исключением Лезабля и его

тестя. Тогда Питоле, обратясь к регистратору, спросил:

— Что с вами, Кашлен? Я не узнаю вас. Где ваша обычная веселость? Вы, как видно, не находите ничего смешного в том, что у жены папаши Савона был от него ребенок? А я нахожу это очень и очень даже забавным. Не всякому это дано!..

Лезабль побледнел, но опять начал перебирать бумаги, притворяясь, что читает их и ничего не слышит.

Тогда Буассель снова затянул голосом уличного зазывалы:

— О пользе наследников для получения наследства. Десять сантимов два су. Берите, хватайте!

Маз находил такого рода остроумие слишком низменным, но, злясь на Лезабля, лишившего его надежды на богатство, которую он все же питал в глубине души, спросил в упор:

— Что с вами, Лезабль? Вы так побледнели?!

Подняв голову, Лезабль взглянул Мазу прямо в лицо. Губы у него дрожали. Несколько секунд он колебался, подыскивая ядовитый и колкий ответ, но, не придумав ничего подходящего, ответил:

— Со мной — ничего. Меня только удивляет ваше необыкновенно тонкое остроумие.

Маз, все так же стоя спиной к камину и придерживая руками полы сюртука, смеясь, ответил:

— Кто как умеет, дорогой мой. Нам тоже не все удается, как и вам...

Взрыв хохота прервал его слова. Папаша Савон, смутно догадываясь, что насмешки относятся не к нему, так и застыл на месте, разинув рот и держа перо на весу. Кашлен выжидал, готовый броситься с кулаками на первого, кто подвернется под руку.

Лезабль пробормотал:

— Не понимаю. Что мне не удается?

Красавец Маз отпустил одну полу сюртука, чтобы покрутить усы, и любезно ответил:

— Я знаю, что вам обычно удается все, за что бы вы ни взялись. Признаюсь, я ошибся, сославшись на вас. Впрочем, речь шла о детях папаши Савона, а не о ваших; да кстати их у вас и нет. Стало быть, вы их не хотите; ведь вам всегда все удается.

Лезабль грубо спросил:

— Вам-то какое дело?

В ответ на этот вызывающий тон Маз тоже повысил голос:

— Скажите, пожалуйста! Что это вас так разобрало? Советую быть повежливей, а не то вам придется иметь дело со мной!

Но Лезабль, дрожа от бешенства и потеряв всякое самообладание, проговорил:

— Господин Маз, я не хлыщ и не красавчик, как вы. Прошу вас больше никогда ко мне не обращаться. Мне нет дела ни до вас, ни до вам подобных.

И он бросил вызывающий взгляд в сторону Питоле и Буасселя.

Тогда Маз сообразил, что подлинная сила таится в спокойной иронии, а так как самолюбие его было сильно задето, ему захотелось поразить врага в самое сердце. Поэтому он продолжал покровительственным тоном, тоном благожелательного советчика, хотя глаза его сверкали от ярости:

— Милейший Лезабль, вы переходите все границы. Впрочем, ваше раздражение мне понятно. Обидно же потерять состояние, и потерять его из-за такого пустяка: ведь легче и проще ничего быть не может... Хотите, я окажу вам эту услугу безвозмездно, как добрый товарищ. Это дело пяти минут...

Не успел он договорить, как чернильница папаши Савона, запущенная Лезаблем, угодила ему прямо в грудь. Чернила потоком залили ему лицо, с непостижимой быстротой превратив его в негра. Сжав кулаки, вращая белками, он ринулся на Лезабля. Но Кашлен, заслонив собой зятя, схватил рослого Маза в охапку, хорошенько его тряхнул и, надавав тумаков, прижал к стенке. Маз напряг все свои силы, вырвался, распахнул дверь, и, бросив обоим противникам: «Вы еще услышите обо мне!» — выбежал из комнаты.

Питоле и Буассель последовали за ним. Буассель объяснил свою сдержанность опасением, что, вмешавшись в драку, он непременно кого-нибудь убил бы.

Маз, очутившись у себя в отделе, попытался смыть чернила, но это ему не удалось. Его лицо было окраше-

но теми самыми темно-фиолетовыми чернилами, которые не выцветают и не смываются. В отчаянии и бешенстве он скомканным полотенцем яростно тер лицо перед зеркалом. Черное пятно расплывалось еще больше; к тому же из-за прилива крови оно приобретало багровый оттенок.

Буассель и Питоле, сопровождавшие Маза, наперебой давали ему советы. Один рекомендовал вымыть лицо чистым оливковым маслом, другой — нашатырным спиртом. Послали рассыльного за советом в аптеку. Он принес какую-то желтую жидкость и пемзу. Все было тщетно.

Маз в унынии уселся на стул и объявил:

— Мне нанесено оскорбление. Я вынужден действовать. Согласны вы быть моими секундантами и потребовать от господина Лезабля, чтобы он принес извинения в надлежащей форме либо дал мне удовлетворение с оружием в руках?

Оба приятеля выразили согласие, и все сообща принялись вырабатывать план действий. Никому не хотелось признаться, что он не имеет ни малейшего представления о такого рода делах; поэтому, озабоченные точным соблюдением всех правил, они робко высказывали самые разноречивые мнения. Решили посоветоваться с капитаном одного судна, прикомандированным к министерству для надзора над поставками угля. Но оказалось, что тот знает не больше их. Поразмыслив, он все же посоветовал им отправиться к Лезаблю и предложить ему назвать двух секундантов.

На пути к кабинету сослуживца Буассель вдруг встал как вкопанный:

— Но ведь необходимы перчатки!

Питоле, с минуту поколебавшись, подтвердил:

— Да, пожалуй.

Но чтоб обзавестись перчатками, пришлось бы отлучиться из министерства, а начальник шутить не любил. Поэтому ограничились тем, что послали в галантерейный магазин рассыльного. Он принес на выбор целую коллекцию. Долго колебались, какого цвета взять: Буассель полагал, что следует остановиться на черных; Питоле находил, что при данных обстоятельствах этот цвет неуместен. Согласились на лиловых.

При виде обоих сослуживцев, которые с торжественным видом, в перчатках вошли к нему в кабинет, Лезабль поднял голову и отрывисто спросил:

— Что вам угодно?

Питоле ответил:

— Сударь, наш друг, господин Маз, уполномочил нас передать вам, чтобы вы либо извинились перед ним, либо дали ему удовлетворение с оружием в руках за оскорбление действием, которое вы ему нанесли.

Но Лезабль, выйдя из себя, воскликнул:

— Как? Он меня оскорбил, и он же еще меня вызывает? Так передайте ему, что я его презираю и что я отвечу презрением на все, что он скажет или сделает.

Буассель приблизился и трагическим голосом произнес:

— Сударь, вы вынудите нас напечатать в газетах официальное заявление, весьма неблагоприятное для вас.

А Питоле ехидно добавил:

— Что может опорочить вашу честь и сильно повредить вашей карьере.

Лезабль, окончательно сраженный, оторопело глядел на них. Что делать? Он решил выиграть время.

— Господа, я вам дам ответ через десять минут. соблаговолите подождать в кабинете господина Питоле.

Оставшись один, он оглянулся вокруг, словно в поисках совета, защиты.

Дуэль! У него будет дуэль!

Он трепетал, растерявшись, как человек миролюбивый, никогда не ожидавший ничего подобного, не подготовленный к такой опасности, к таким волнениям, не закаливший своего мужества в предвидении столь грозного события. Он попытался встать, но снова упал на стул,— сердце у него колотилось, ноги подкашивались. Силы его улетучились вместе с гневом. Но мысль о том, что скажут в министерстве, о толках, какие пойдут по отделам, пробудила его угасающую гордость, и, не зная, на что решиться, он направился за советом к начальнику.

Г-н Торшбеф был озадачен и ничего не мог сказать своему подчиненному. Он не видел необходимости в поединке. Кроме того, он опасался, что все это может

нарушить порядок в его отделе. Он растерянно повторил:

— Ничего не могу вам посоветовать. Это вопрос чести, меня это не касается. Если желаете, я могу вам дать записочку к майору Буку. Он сведущ в этих делах, он вас научит, как поступить.

Лезабль поблагодарил и отправился к майору, который даже изъявил согласие быть секундантом; вторым секундантом он пригласил одного из своих помощников.

Буассель и Питоле дожидались их, все еще не снимая перчаток. Они раздобыли в соседнем отделе два стула, чтоб можно было устроиться вчетвером.

Секунданты торжественно обменялись поклонами и сели. Питоле первым взял слово и обрисовал положение. Выслушав его, майор заявил:

— Дело серьезное, но, на мой взгляд, поправимое. Все зависит от намерений сторон.

Старый моряк в душе потешался над ними.

В итоге длительного обсуждения были выработаны один за другим четыре проекта письма, предусматривавшие обоюдные извинения. Если г-н Маз заявит, что, по существу, не имел намерения оскорбить г-на Лезабля, последний охотно признает свою вину, выразившуюся в том, что он запустил в него чернильницей, и принесет свои извинения за опрометчивый поступок.

Затем четверо уполномоченных вернулись к своим доверителям.

Маз сидел у себя за столом, взволнованный предстоящей дуэлью,— хотя и предполагая вероятное отступление противника,— и рассматривал поочередно то одну, то другую щеку в небольшое круглое зеркальце в оловянной оправе. У каждого чиновника хранится такое зеркальце в ящике стола, чтоб вечером, перед уходом, привести в порядок прическу, расчесать бороду и поправить галстук.

Прочитав представленные ему секундантами письма, Маз с видимым удовлетворением заметил:

— На мой взгляд, условия весьма почетные. Я готов подписать.

Лезабль со своей стороны, приняв без возражений предложения секундантов, заявил:

— Если ваше мнение таково, мне остается только подчиниться.

И четверо уполномоченных собрались снова. Произошел обмен письмами, все торжественно раскланялись и разошлись, считая инцидент исчерпанным.

В министерстве царило чрезвычайное возбуждение. Чиновники бегали узнавать новости, сновали из одной двери в другую, толпились в коридорах.

Когда выяснилось, что дело улажено, все были весьма разочарованы. Кто-то сострил:

— А ребенка-то Лезаблю от этого не прибудет!

Острота облетела все министерство. Какой-то чиновник сложил по этому поводу песенку.

Казалось, с происшествием совсем уже покончено, когда всплыло новое затруднение, на которое указал Буассель: как следует вести себя противникам, если они столкнутся лицом к лицу? Должны ли они поздороваться или сделать вид, что незнакомы? Было решено, что они встретятся как бы случайно в кабинете начальника и в его присутствии вежливо обменяются двумя — тремя словами.

Церемония состоялась, после чего Маз немедленно послал за фиакром и уехал домой, чтобы снова попытаться отмыть чернила.

Лезабль и Кашлен молча возвращались вдвоем, злясь друг на друга, словно все произошло по вине одного из них.

Войдя в свою квартиру, Лезабль яростно швырнул шляпу на комод и крикнул жене:

— Хватит с меня! Теперь еще дуэль!.. А все из-за тебя.

Она изумленно на него взглянула, заранее начиная злиться.

— Дуэль? Это еще почему?

— Потому что Маз меня оскорбил, а все из-за тебя.

Кора подошла поближе.

— Из-за меня? Каким образом?

В ярости он бросился в кресло, повторяя:

— Он меня оскорбил. Я не обязан тебе докладывать — почему.

Но она настаивала:

— Я хочу, чтоб ты повторил, что он сказал обо мне.

Лезабль покраснел и пролепетал:

— Он сказал... сказал... если ты бесплодна...

Она отшатнулась, словно ее ударили хлыстом, и в исступленном бешенстве, с отцовской грубостью, сразу проступившей сквозь оболочку женственности, разразилась бранью:

— Я, я бесплодна? С чего он взял, негодяй?! Бесплодна из-за тебя — да! Потому что ты не мужчина! Но выйди я за другого, слышишь ты — за другого, за кого угодно, я бы рожала. Вот... Уж молчал бы лучше! Я и так довольно поплатилась за то, что вышла за такого слюнтяя!.. Так что же ты ответил этому мерзавцу?..

Растерявшись пред этим бурным натиском, Лезабль, запинаясь, произнес:

— Я... я... дал ему пощечину.

Она удивленно взглянула на мужа:

— Ну, а он что?..

— Он прислал мне своих секундантов. Вот и все!

Происшествие заинтересовало ее; как и всякую женщину, ее захватывал драматизм событий; гнев ее сразу улегся, и, проникшись уважением к мужу, который ради нее подвергал опасности свою жизнь, она спросила:

— Когда же вы деретесь?

Он спокойно ответил:

— Дуэли не будет. Секунданты уладили дело. Маз предо мной извинился.

Она смерила его презрительным взглядом:

— Ах, так! Меня оскорбляют в твоем присутствии, и ты это допускаешь! Драться ты не будешь! Еще недоставало, чтоб ты оказался трусом!

Он возмутился:

— Замолчи, пожалуйста! Мне-то лучше знать, раз это касается моей чести. Впрочем, вот письмо господина Маза. На, читай! Увидишь сама.

Она взяла из его рук письмо, пробежала глазами, все поняла и усмехнулась:

— Ты ему тоже написал? Вы друг друга испугались. Какие же мужчины трусы! Женщина на вашем месте... Да что же это на самом деле! Он меня оскорбил, меня, твою жену! И ты довольствуешься этим письмом! Не удивительно, что ты не способен иметь ребенка! Все одно к одному: ты так же струсил перед

мужчиной, как трусишь перед женщиной. Нечего сказать — хорош гусь!

Она внезапно обрела хрипловатый голос и ухватки Кашлена, грубоватые ухватки старого солдафона, не стесняющегося в выражениях.

Рослая, крепкая, здоровая, с высокой грудью, румяным и свежим лицом, побагровевшим от гнева, она стояла перед ним подбоченясь и низким раскатистым голосом изливала свою обиду. Она глядела на сидевшего перед ней бледного плешивого человечка с короткими адвокатскими бачками на бритом лице, и ей хотелось задушить, раздавить его.

Она повторяла:

— Ты ничтожество, да, ничтожество! Даже на службе каждый может тебя обскакать!

Дверь отворилась, и вошел Кашлен, привлеченный шумом.

Он спросил:

— Что тут у вас такое?

Она обернулась:

— Я ему выложила все начистоту, этому шуту гороховому!

Лезабль посмотрел на тестя, на жену и вдруг обнаружил между ними разительное сходство. Пелена спала с его глаз, и он увидел обоих — отца и дочь — такими, как они есть, родными по крови, по низменной и грубой природе. И он понял, что погиб, что навеки обречен жить между этими двумя людьми.

— Если бы хоть можно было развестись! Вот уж радость — выйти замуж за каплуна! — заявил Кашлен.

Услышав это слово, Лезабль вскочил как ужаленный. Дрожа от ярости, он наступал на тестя и бормотал, задыхаясь:

— Вон!.. Вон отсюда!.. Вы в моем доме, слышите? Убирайтесь вон!..

Схватив стоявшую на комоде бутыль с какой-то лекарственной настойкой, он размахивал ею, как дубинкой.

Оробевший Кашлен попятился и вышел из комнаты, бормоча:

— Что это его так разобрало?

Но ярость Лезабля не утихала: это было слишком!

Он обернулся к жене, которая не сводила с него глаз, слегка удивленная его неистовством, и, поставив бутыль обратно на комод, крикнул срывающимся голосом:

— А ты, ты...

Но, не зная, что сказать, что придумать, он умолк и с искаженным лицом остановился перед ней.

Она расхохоталась.

Он обезумел от этого оскорбительного смеха и, кинувшись к жене, левой рукой обхватил ее за шею, а правой стал бить по лицу. Растерянная, задыхающаяся, она отступала перед ним и, наконец, наткнувшись на кровать, упала навзничь. Лезабль все не отпускал ее, продолжая хлестать по щекам. Вдруг он остановился, тяжело дыша, в полном изнеможении. Внезапно устыдившись своей грубости, он пробормотал:

— Вот... вот... видишь.

Но она не шевелилась, словно мертвая, все так же лежа на спине, на краю постели, и закрыв лицо руками. Он склонился над ней, пристыженный, спрашивая себя, что же теперь будет, и выжидая, когда она откроет лицо, чтобы увидеть, что с ней. Тревога его возрастала, и, немного помедлив, он прошептал:

— Кора, а Кора?

Она не ответила, не шевельнулась. Что это? Что с ней? Что она задумала?

Ярость его испарилась, погасла столь же внезапно, как и вспыхнула, и он чувствовал себя негодяем, почти преступником. Он избил женщину, свою жену,— он — спокойный и смирный, хорошо воспитанный и рассудительный человек. Его терзало раскаяние, и он готов был на коленях вымаливать прощение, целовать эту исхлестанную пунцовую щеку. Он потихоньку, одним пальцем прикоснулся к ее руке, закрывавшей от него ее лицо. Она словно не почувствовала. Он приласкал ее, погладил, как гладят побитую собаку. Она не обратила на это внимания. Он повторил:

— Кора, послушай, Кора, я виноват, послушай.

Она лежала, как мертвая. Тогда он попытался отнять ее руку от лица. Рука легко поддалась, и он увидел устремленный на него пристальный взгляд, волнующий и тревожный.

Он снова заговорил:

— Послушай, Кора, я вспылил. Твой отец довел меня до исступления. Нельзя так оскорблять человека.

Она не отвечала, словно и не слышала его. Он не знал, что сказать, как поступить. Он поцеловал ее возле самого уха и, приподнявшись, заметил в уголке ее глаза слезинку — крупную слезинку, которая выкатилась и стремительно побежала по щеке; веки ее затрепетали, и она быстро-быстро заморгала.

Охваченный горем и жалостью, Лезабль прилег к жене и крепко обнял ее. Он губами оттолкнул ее руку и, осыпая поцелуями все лицо, умолял:

— Кора, бедняжка моя, прости, ну прости же меня!..

Она продолжала плакать — неслышно, без всхлипываний, как плачут в глубокой горести.

Он прижал ее к себе и, лаская, нашептывал ей на ухо самые нежные слова, какие только мог придумать. Она оставалась бесчувственной, но плакать все же перестала.

Они долго лежали так, распростертые друг подле друга, не размыкая объятий.

Надвигался вечер, наполняя мраком небольшую комнату. И когда стало совсем темно, он расхрабрился и вымолил прощение способом, воскресившим их надежды.

Они поднялись, и Лезабль опять обрел свой обычный тон и вид, такой, словно ничего не случилось. Она же, напротив, казалась растроганной, голос ее звучал ласковей, чем обычно; она глядела на мужа преданно, почти нежно, словно этот неожиданный урок вызвал какую-то нервную разрядку и смягчил ее сердце. Лезабль спокойно обратился к ней:

— Отец, наверно, соскучился там один. Пойди-ка позови его. Ведь уже время обедать.

Она вышла.

И верно, было уже семь часов, и служанка объявила, что суп на столе. Невозмутимый и улыбающийся, вместе с дочерью, появился Кашлен. Сели за стол, и завязалась сердечная беседа, какая давно уже не ладилась у них, словно произошло какое-то событие, осчастливившее их всех.

V

Надежда то вспыхивала в их душах, то угасала, а они все еще были далеки от заветной цели. Месяц за месяцем их постигало разочарование, вопреки упорству Лезабля и постоянной готовности его жены. Снедаемые тревогой, они то и дело попрекали друг друга своей неудачей. Отчаявшийся супруг, исхудавший и обессиленный, особенно страдал от грубости тестя; памятуя о дне, когда, оскорбленный прозвищем «каплун», Лезабль чуть не угодил ему в голову бутылкой, Кашлен, желая уязвить зятя, называл его не иначе, как «господин Петух».

Отец и дочь, связанные кровными узами и доведенные до бешенства неотступной мыслью об огромном состоянии, уплывающем из их рук, не знали, как больнее оскорбить и унизить этого урода, явившегося причиной их несчастья.

Каждый день, садясь за стол, Кора повторяла:

— Обед сегодня неважный. Конечно, если б мы были богаты... Но это уж не моя вина...

По утрам, когда Лезабль уходил на службу, она кричала ему вдогонку из спальни:

— Захвати зонтик. Не то придешь грязный, как пугало. В конце концов не моя вина, что ты все еще остаешься канцелярской крысой.

Собираясь выйти из дому, она никогда не упускала случая поворчать:

— И подумать только, что, выбери я другого мужа, я разъезжала бы теперь в собственной карете!

Ежечасно, по любому поводу она вспоминала о своем промахе, отпускала колкие замечания по адресу мужа, осыпала его оскорбительными упреками, делая его единственным виновником их неудачи, несущим ответ за потерю состояния, которым она могла бы обладать.

Как-то вечером, окончательно потеряв терпение, Лезабль оборвал ее:

— Да замолчишь ты наконец, черт тебя возьми?! Уж если на то пошло, так это твоя вина, что у нас нет детей, слышишь — твоя, потому что у меня-то есть ребенок!..

Он лгал, стыдясь своего бессилия и предпочитая что угодно вечным попрекам жены.

Она удивилась было и взглянула на него, пытаясь прочитать правду в его глазах. Затем, догадавшись, что это ложь, переспросила презрительно:

— Это у тебя-то ребенок? У тебя?!

Он повторил вызывающе:

— Да, у меня побочный ребенок. Я отдал его на воспитание в Аньере.

Она спокойно заявила:

— Завтра же мы поедем туда. Я хочу посмотреть, какой он!..

Покраснев до ушей, он пробормотал:

— Как тебе угодно.

Наутро она встала в семь часов и, когда муж выразил по этому поводу удивление, напомнила:

— Как, разве мы не едем к твоему ребенку? Ты же обещал вчера вечером! Или, может быть, сегодня его у тебя уже нет?

Он соскочил с кровати:

— Мы поедем, но не к моему ребенку, а к врачу; пусть он тебе скажет, кто из нас виноват!

Уверенная в себе, жена ответила:

— Вот и прекрасно! Этого-то я и хотела!

Кашлен взялся сообщить в министерство, что зять его заболел, и чета Лезаблей, справившись у аптекаря, жившего по соседству, в назначенное время позвонила у дверей доктора Лефийеля — автора нескольких трудов по вопросам деторождения.

Они вошли в белую залу с позолоченными панелями, казавшуюся необитаемой и голой, несмотря на множество стульев. Сели. Лезабль был взволнован и смущен. Он трепетал. Настала их очередь, и они прошли в кабинет, похожий на канцелярию, где их с холодной учтивостью принял маленький толстяк.

Он ждал, пока они объяснят цель своего прихода. Но Лезабль, покрасневший до корней волос, не отваживался начать. Тогда заговорила его жена, и спокойно, как человек, готовый на все ради достижения своей цели, она объяснила:

— Сударь, у нас нет детей, и мы решили обратить-

ся к вам. Видите ли, от этого зависит, получим ли мы большое состояние.

Обстоятельный и тягостный врачебный осмотр длился долго. Но Кора, казалось, не испытывала никакой неловкости, давая врачу тщательно обследовать себя, как женщина, которую воодушевляют и окрыляют самые благородные цели.

Осмотрев обоих супругов, что продолжалось около часа, врач не сказал ничего определенного.

— Я не нахожу никаких отклонений от нормы и никаких особых признаков. Впрочем, такие случаи встречаются, и довольно часто. Бывают разные организмы, как и разные характеры. Зачастую брак расстраивается из-за несходства характеров,— нет ничего удивительного, что он может оказаться бесплодным из-за несходства физического.

Что касается способности к деторождению, то супруга ваша, на мой взгляд, сложена чрезвычайно удачно. Относительно вас я сказал бы, что, хотя я и не нахожу никаких органических недостатков, я должен констатировать некоторое истощение, быть может, именно вследствие чрезмерного желания стать отцом. Разрешите мне выслушать вас?

Встревоженный Лезабль снял жилет, и врач долго прикладывал ухо к его груди и спине, а затем тщательно выстукал его от живота до шеи и от поясницы до самого затылка.

Он нашел незначительные шумы в сердце и даже некоторую угрозу со стороны легких.

— Вы должны беречься, сударь, очень беречься. Пока это только малокровие, истощение; однако это ничтожное недомогание может со временем превратиться в неизлечимую болезнь.

Бледный, перепуганный Лезабль попросил врача назначить ему лечение. Тот дал ему строгие предписания: железо, кровавые бифштексы, побольше крепкого бульона, моцион, покой, лето — на лоне природы. Затем следовали советы на случай, когда больной почувствует себя лучше. Врач указал средства, применяемые в подобных обстоятельствах и часто оказывавшиеся удачными.

Советы врача обошлись им в сорок франков.

Выйдя на улицу, Кора, предвидя неизбежное, произнесла с затаенной яростью:

— Ну и попала же я в переделку!

Он не ответил. Снедаемый страхом, он шагал рядом, взвешивая каждое слово, сказанное врачом. Не обманул ли его доктор? Может быть, он считает его смертельно больным? Он уже не думал ни о наследстве, ни о ребенке. Речь шла о его жизни!

Ему казалось, что у него хрипы в легких и усиленное сердцебиение. Когда они проходили через Тюильри, он почувствовал слабость и захотел присесть. Раздосадованная жена, желая унизить его, стояла рядом, с презрительной жалостью глядя на него сверху вниз. Он тяжело дышал, бессознательно усиливая одышку, вызванную волнением, и, пальцами левой руки нащупывая пульс на правой, отсчитывал удары.

Кора, потеряв терпение, спросила:

— Ну, кончится когда-нибудь это кривлянье? Пойдешь ты или нет?

Он поднялся с видом мученика и, ни слова не говоря, двинулся в путь.

Узнав о том, что им сказал врач, Кашлен дал волю своему бешенству. Он рычал:

— Ну и попались мы! Ну и попались!

На зятя он бросал свирепые взгляды, словно хотел растерзать его.

Лезабль ничего не слышал, ничего не замечал,— он думал только о своем здоровье, о своей жизни, которая была под угрозой. Пусть они вопят, сколько им угодно,— отец и дочь,— побывали бы они в его шкуре!.. А шкуру-то он как раз и хочет спасти!

На столе у него появились пузырьки с лекарствами, и, невзирая на усмешки жены и громкий хохот тестя, он тщательно отмерял из них предписанную дозу перед каждой едой. Он поминутно глядел в зеркало, то и дело прикладывал руку к сердцу, считая удары; опасаясь физической близости с женой, он распорядился перенести свою постель в темную каморку, служившую им гардеробной.

Теперь он испытывал к этой женщине лишь трусливую ненависть, смешанную с отвращением. Впрочем,

женщины, все до единой, казались ему сейчас чудовищами, опасными хищницами, преследующими одну цель — мужеубийство. Если он и вспоминал о завещании тетки Шарлотты, то лишь как о счастливо избегнутой опасности, едва не стоившей ему жизни.

Так прошло еще несколько месяцев. До истечения рокового срока оставался всего лишь один год.

Кашлен повесил в столовой громадный календарь и каждое утро вычеркивал прошедший день; бессильная злоба, мучительное сознание, что вожделенное богатство ускользает от него с каждой неделей, нестерпимая мысль, что он вынужден будет по-прежнему тянуть служебную лямку и, выйдя на пенсию, до конца дней влачить жалкое существование на каких-нибудь две тысячи франков,— все это побуждало его к грубой брани, которая из-за малейшего пустяка могла кончиться побоями.

При виде зятя Кашлен весь трясся от бешеного желания избить его, раздавить, растоптать. Он ненавидел Лезабля исступленной ненавистью. Всякий раз, как тот отворял дверь, входил в комнату, Кашлену казалось, что это вор проник к нему в дом, вор, укравший у него священное достояние — фамильное наследство. Тесть ненавидел Лезабля сильней, чем ненавидят смертельного врага, и в то же время презирал за неспособность, а главное, за малодушие, с тех пор, как зять, опасаясь за свое здоровье, перестал добиваться осуществления их общих надежд.

Лезабль и в самом деле так чуждался жены, словно их не связывали никакие узы. Он боялся к ней приблизиться, прикоснуться, избегал даже ее взгляда, не столько от стыда, сколько от страха.

Кашлен ежедневно справлялся у дочери:

— Ну, как муженек? Отважился?

Она отвечала:

— Нет, папа.

Каждый вечер за обедом происходили тягостные сцены. Кашлен без конца повторял:

— Если мужчина — не мужчина, тогда уж лучше ему подохнуть и уступить место другому.

А Кора добавляла:

— Да уж, ничего не скажешь; и бывают же на све-

те бесполезные, никудышные люди. Они затем только и топчут землю, чтобы всем быть в тягость!

Лезабль глотал свои лекарства и ничего не отвечал. Однажды тесть наконец не выдержал:

— Слушайте, вы! Если вы не измените своего поведения и теперь, когда здоровье ваше поправилось, я знаю, что делать моей дочери!..

Зять вопросительно поднял на него глаза, предчувствуя новое тяжкое оскорбление. Кашлен продолжал:

— Она возьмет себе вместо вас другого, черт возьми! И вам еще здорово повезло, что она давно этого не сделала! Когда имеешь мужем этакого чурбана вроде вас, тогда все дозволено.

Бледный, как полотно, Лезабль ответил:

— Я не мешаю ей следовать вашим мудрым наставлениям.

Кора потупила глаза. А Кашлен, смутно чувствуя, что хватил через край, слегка сконфузился.

VI

На службе тесть и зять сохраняли видимость полного согласия. Между ними установилось нечто вроде молчаливого уговора, в силу которого они скрывали от сослуживцев свои домашние раздоры. Они обращались друг к другу не иначе как «дорогой Кашлен», «дорогой Лезабль»,— и подчас даже делали вид, что дружно над чем-то посмеиваются, притворяясь, что вполне довольны, счастливы и совершенно удовлетворены своей семейной жизнью.

Лезабль и Маз, со своей стороны, держались в отношении друг друга с изысканной учтивостью противников, едва избежавших дуэли. Несостоявшийся поединок нагнал на них страху, и они старались быть преувеличенно вежливыми, подчеркнуто предупредительными друг к другу, а втайне не прочь были сойтись поближе, во избежание новых столкновений, которых они смутно опасались.

Сослуживцы одобрительно взирали на них, полагая, что такое поведение приличествует людям светским, между которыми произошло недоразумение, едва не приведшее к дуэли.

Оба уже издалека строго и чинно приветствовали друг друга исполненным достоинства широким взмахом шляпы.

Однако они еще не обменялись ни единым словом, ибо ни тот, ни другой не желал либо не осмеливался сделать первый шаг.

Как-то раз случилось, что Лезабль, срочно вызванный начальником, стараясь показать свое усердие, пустился бегом и на повороте коридора со всего размаха угодил в живот какому-то чиновнику, шедшему навстречу. Это был Маз. Оба отступили, и смущенный Лезабль с вежливой поспешностью спросил:

— Надеюсь, я не ушиб вас, сударь?

На что Маз возразил:

— Нисколько, сударь.

С той поры они сочли возможным при встрече обмениваться несколькими словами. Затем, все более соревнуясь в учтивости, они стали оказывать друг другу знаки внимания, и между ними возникла известная короткость, перешедшая затем в близость, умеряемую некоторой сдержанностью,— близость людей, когда-то не понявших друг друга, которым осторожность покуда еще мешает поддаться взаимному влечению. Наконец, постоянная предупредительность и частое хождение друг к другу из отдела в отдел положили начало дружественным отношениям.

Теперь, заглянув за новостями в кабинет регистратора, они частенько болтали меж собой. Лезабль утратил былое высокомерие преуспевающего чиновника, а Маз забывал принять осанку светского человека. Кашлен, принимая участие в их беседе, казалось, с одобрением наблюдал за этой дружбой. Иной раз, глядя вслед рослому красавцу Мазу, чуть не задевавшему головой за притолоку, он бормотал, косясь на зятя:

— Вот это молодец так молодец!

Как-то утром, когда они оказались в комнате вчетвером — потому что папаша Савон никогда не отрывался от работы,— стул, на котором восседал экспедитор, очевидно подпиленный каким-то шутником, подломился под ним, и старик с испуганным возгласом скатился на пол.

Все трое бросились к нему на помощь. Кашлен

утверждал, что это проделка коммунаров, а Маз во что бы то ни стало хотел взглянуть на ушибленное место. Они вдвоем даже пытались раздеть старика, будто бы желая перевязать рану. Но папаша Савон отчаянно отбивался, уверяя, что у него ничего не болит.

Когда веселое оживление улеглось, Кашлен неожиданно воскликнул, обращаясь к Мазу:

— Послушайте-ка, господин Маз, теперь, знаете ли, когда мы стали друзьями, вы должны прийти к нам в воскресенье отобедать. Мы все будем вам очень рады — зять, и я, и моя дочь, которая хорошо вас знает понаслышке, ведь мы частенько дома беседуем о службе. Согласны, да?

Лезабль, хотя и более сдержанно, присоединился к настояниям тестя:

— Конечно, приходите. Будем весьма рады.

Маз в замешательстве колебался, с усмешкой вспоминая слухи, ходившие об этой семье.

Кашлен продолжал настаивать:

— Итак, решено?

— Ну что ж, хорошо, согласен.

Отец, вернувшись домой, сообщил дочери:

— Знаешь, кто у нас обедает в воскресенье? Господин Маз!

Кора, крайне удивленная, переспросила:

— Господин Маз? Вот как?

И вдруг покраснела до корней волос, сама не зная почему. Она столько слышала о нем, о его светских манерах, его успехах у женщин,— в министерстве он слыл жестоким и неотразимым сердцеедом,— что ее давно уже искушало желание познакомиться с ним.

— Вот увидишь,— продолжал Кашлен, потирая руки,— какой это молодец и красавец-мужчина, рослый, как гвардеец, не то что твой муженек, да!

Она ничего не ответила, смутившись, точно кто-нибудь мог угадать, что она уже не раз видела Маза в своих мечтах.

К воскресному обеду готовились так же старательно, как некогда в ожидании Лезабля. Кашлен подробно обсуждал меню, заботясь о том, чтоб не ударить лицом в грязь; и, словно смутная надежда затеплилась

в его душе, он даже повеселел, успокоенный какой-то сокровенной мыслью, вселявшей в него уверенность.

Весь воскресный день он суетился, следя за приготовлениями, в то время как Лезабль сидел над спешной работой, принесенной им накануне из министерства. Было начало ноября, Новый год не за горами.

В семь часов, веселый и оживленный, явился Маз. Он вошел непринужденно, как к себе домой, и, сказав какую-то любезность, преподнес Коре большой букет роз. Он добавил также, совсем запросто, как говорят люди, привыкшие вращаться в обществе:

— Мне кажется, сударыня, что я уже немного с вами знаком, что я знал вас еще совсем маленькой девочкой: ведь уже столько лет я слышу о вас от вашего отца.

Увидев цветы, Кашлен воскликнул:

— Вот это галантно!

А Кора припомнила, что Лезабль в тот день, когда впервые пришел к ним, цветов не принес. Гость, видимо, чувствовал себя превосходно: он простодушно шутил, как человек, неожиданно оказавшийся в кругу старых друзей, и сыпал любезностями, от которых у Коры горели щеки.

Он нашел ее весьма и весьма соблазнительной. Она его — неотразимым. После его ухода Кашлен спросил:

— Ну что? Хорош? А какой, должно быть, повеса! Недаром от него все женщины без ума!

Кора, более сдержанная, нежели отец, все же призналась, что Маз «очень любезен и не такой ломака, как она ожидала».

Лезабль, казавшийся менее утомленным и не столь унылым, как обычно, тоже согласился, что раньше имел «превратное представление» о сослуживце.

Маз стал бывать у них, сначала изредка, затем все чаще. Он нравился решительно всем. Его зазывали, за ним ухаживали. Кора стряпала для него любимые блюда. Вскоре трое мужчин так подружились меж собой, что почти уже не расставались.

Новый друг дома доставал ложу через редакции газет и возил все семейство в театр.

После спектакля возвращались ночью, пешком, по многолюдным улицам и расставались у дверей супру-

гов Лезабль. Маз и Кора шли впереди, нога в ногу, плечо к плечу, мерно покачиваясь в едином ритме, словно два существа, созданные, чтобы бок о бок пройти через всю жизнь. Они разговаривали вполголоса, превосходно понимая друг друга, смеялись приглушенным смехом, и время от времени Кора, оборачиваясь, бросала взгляд на отца и мужа, которые шли позади.

Кашлен не сводил с них благосклонного взора и, подчас забывая, что обращается к зятю, замечал:

— Как, однако, они оба хорошо сложены. Приятно на них поглядеть, когда они рядом.

Лезабль спокойно отвечал:

— Они почти одного роста.

И, счастливый тем, что сердце его бьется не столь учащенно, что он меньше задыхается при быстрой ходьбе и вообще чувствует себя молодцом, он забывал понемногу обиду на тестя, кстати, в последнее время прекратившего свои ядовитые шуточки.

К Новому году Лезабль получил повышение и ощутил по этому поводу радость столь бурную, что, придя домой, впервые за полгода поцеловал жену. Казалось, она была этим сильно смущена и озадачена, словно он позволил себе какую-то непристойность, и взглянула на Маза, явившегося с новогодними поздравлениями. Он тоже пришел в замешательство и отвернулся к окну, как человек, не желающий ничего замечать.

Но вскоре злобная раздражительность снова овладела Кашленом, и он, как прежде, стал терзать зятя своими издевками. Временами он даже нападал на Маза, словно считая его также виновным в нависшей над его семьей катастрофе, день которой с каждой минутой неизбежно надвигался.

Одна только Кора казалась вполне спокойной, вполне счастливой, неизменно сияющей, словно она забыла о столь близком и угрожающем сроке.

Наступил март. По-видимому, всякая надежда была потеряна, ибо двадцатого июля истекало три года со дня смерти тетушки Шарлотты.

Ранняя весна одела землю цветами, и Маз предложил своим друзьям в воскресенье прогуляться по берегу Сены и нарвать под кустами фиалок.

Они отправились с утренним поездом и сошли в Мэзон Лафит. Оголенные деревья еще содрогались, словно от зимнего холода, но в сверкающей зелени свежей травы уже пестрели белые и голубые цветы; на склонах холмов фруктовые деревья с тонкими ветвями, покрытыми распустившимися почками, казалось, были увешаны гирляндами роз.

Сена, унылая и мутная от недавних дождей, тяжело катила свои воды между высокими берегами, размытыми зимним паводком; нагретые теплом первых солнечных дней луга, напоенные влагой и словно умытые, источали едва уловимый запах сырости.

Гуляющие разбрелись по парку. Кашлен, сумрачный и еще более подавленный, нежели обычно, разбивал тростью комья земли, с горечью размышляя о беде, которая вот-вот грозила стать для них непоправимой. Лезабль, такой же мрачный, как и тесть, шел с опаской, боясь промочить ноги в траве; его жена и Маз рвали цветы. Кора была бледна и казалась утомленной; вот уже несколько дней ей нездоровилось.

Она очень скоро устала и предложила вернуться — где-нибудь позавтракать. Они добрались до небольшого ресторанчика под сенью старой полуразрушенной мельницы, неподалеку от реки; в беседке, на грубом деревянном столе, покрытом двумя полотенцами, им подали завтрак, какой обычно подают парижанам, отправившимся на загородную прогулку.

Они поели хрустящих жареных пескарей, отведали говядины с картофелем, и салатница, наполненная зелеными листьями, уже переходила из рук в руки; вдруг Кора вскочила и, зажимая салфеткой рот, побежала к берегу.

Встревоженный Лезабль спросил:

— Что это с ней?

Маз покраснел и растерянно пробормотал:

— Не... не знаю... она... ей... она была совсем здорова.

Озадаченный Кашлен так и остался сидеть с поднятой вилкой, на которой повис листик салата.

Вдруг он поднялся, стараясь отыскать глазами дочь. Нагнувшись, он увидел, что она стоит, прислонившись головой к дереву, и ей дурно. У Кашлена подкосились

ноги от внезапного подозрения, и он повалился на стул, кидая растерянные взоры на обоих мужчин, которые казались одинаково смущенными. Кашлен вопрошал их тревожным взглядом, не решаясь заговорить, обезумев от мучительной надежды.

Четверть часа протекло в глубоком молчании. Потом появилась Кора, побледневшая, едва волоча ноги. Никто не задавал ей вопросов: казалось, каждый угадывал счастливое событие, о котором неловко было говорить, и, сгорая от нетерпения все разузнать, страшился услышать о нем. Только Кашлен спросил:

— Тебе лучше?

Кора ответила:

— Да, спасибо, это пустяки. Но мы вернемся пораньше, у меня разболелась голова.

На обратном пути она опиралась на руку мужа, словно намекая этим на какую-то тайну, которую она пока не осмеливалась открыть.

Расстались на вокзале Сен-Лазар. Маз, сославшись на неотложное дело, о котором он чуть не позабыл, пожал всем на прощание руку и откланялся.

Как только они остались одни, Кашлен спросил у дочери:

— Что это с тобой случилось за завтраком?

Сначала Кора ничего не ответила. Затем, после некоторого колебания, сказала:

— Так, ничего, пустяки. Просто небольшая тошнота.

Походка у нее была томная, на губах играла улыбка. Лезаблю было не по себе. Охваченный смятением, одержимый смутными и противоречивыми чувствами, снедаемый жаждой роскоши и глухой яростью, затаенным стыдом и трусливой ревностью, он походил на человека, который, проснувшись поутру, зажмуривает глаза, чтоб не видеть солнечного света, пробивающегося сквозь занавески и ослепительным лучом освещающего его постель.

По приходе домой Лезабль заявил, что его ждет неоконченная работа, и заперся у себя в комнате.

Тогда Кашлен, положив дочери руку на плечо, спросил:

— Ты что, беременна?

Она прошептала:

— Кажется, да. Уже два месяца.

Не успела она еще договорить, как отец подскочил от радости, отплясывая уличный канкан — воспоминание о далеких армейских днях. Он дрыгал ногами и притоптывал, несмотря на толстый живот, так, что стены дрожали. Столы и стулья плясали, посуда звенела в буфете, люстра вздрагивала и качалась, как корабельный фонарь.

Кашлен схватил в объятия свою нежно любимую дочь и стал целовать ее как одержимый; потом, ласково похлопав ее по животу, воскликнул:

— Ну, наконец-то! Ты сказала мужу?

Внезапно оробев, она пролепетала:

— Нет... еще... я... я хотела подождать.

Но Кашлен воскликнул:

— Понятно, понятно. Ты стесняешься. Постой! Я скажу ему сам.

И он бросился в комнату зятя. Увидев Кашлена, Лезабль, который сидел, сложа руки, вскочил. Но тесть не дал ему опомниться:

— Вы знаете, что ваша жена беременна?

Озадаченный супруг растерялся, на скулах у него выступили красные пятна:

— Что? Как? Кора? Что вы говорите?

— Говорю вам, она беременна, слышите? Вот удача-то!

И в порыве радости он тряс и пожимал руку зятю, словно благодаря и поздравляя его.

— Наконец-то, наконец! Вот хорошо-то! Подумать только — наследство наше!

И, не в силах удержаться, он заключил Лезабля в свои объятия.

— Миллион с лишним, подумать только! Миллион с лишним! — восклицал он и снова плясал от радости. Потом, круто повернувшись к зятю, сказал: — Да идите же к ней, она вас ждет. Хоть поцелуйте ее.

И, схватив Лезабля в охапку, тесть подтолкнул его и швырнул, как мячик, в столовую, где, прислушиваясь к их голосам, в тревоге ждала Кора.

Увидев мужа, она отшатнулась: внезапное волнение перехватило ей горло. Лезабль стоял перед ней блед-

ный, с искаженным лицом. У него был вид судьи, у нее — преступницы.

Наконец он произнес:

— Ты, кажется, беременна?

Дрожащим голосом она пролепетала:

— Да, похоже на то!

Но тут Кашлен, обхватив обоих за шею, столкнул их лбами и закричал:

— Да поцелуйтесь же вы, черт вас побери! Право же, стоит того!

И, наконец выпустив их, он объявил, захлебываясь от безудержной радости:

— Ну, наше дело выгорело! Знаете что, Леопольд! Мы сейчас же купим дачу. По крайней мере, вы там поправите здоровье.

При мысли о даче Лезабль затрепетал. Тесть не унимался:

— Мы пригласим туда господина Торшбефа с женой; его помощник недолго протянет, и вы сможете занять его место. А это уже карьера!

По мере того как тесть говорил, Лезабль рисовал себе пленительные картины: он видел себя встречающим патрона у входа в прелестную белую виллу на берегу реки. На нем парусиновый костюм, на голове панама.

Мечтая об этом, он ощущал, как отрадное ласковое тепло проникает в него, наполняя легкостью и здоровьем.

Он улыбнулся, не отвечая тестю.

Опьяненный мечтами, полный надежд, Кашлен продолжал:

— Кто знает? Быть может, мы приобретем влияние в нашем округе. Вы, например, будете депутатом... Во всяком случае, мы сможем вращаться в местном обществе и пользоваться радостями жизни. У вас будет своя лошадка и шарабан, чтоб каждый день ездить на станцию.

Картины роскошной, изящной и беспечной жизни возникали в воображении Лезабля. Мысль, что он тоже будет править нарядным выездом, как те богачи, судьбе которых он столь часто завидовал, окончательно пленила его. Он не удержался и воскликнул:

— Ах да, это будет прелестно!

Кора, видя, что он побежден, тоже заулыбалась, растроганная и признательная, а Кашлен, решив, что все препятствия устранены, объявил:

— Пойдем обедать в ресторан! Черт возьми, надо же нам немножко покутить!

Вернулись все трое слегка навеселе. Лезабль, у которого двоилось в глазах, а мысли так и прыгали, не смог добраться до своей темной каморки. Не то случайно, не то по забывчивости, он улегся в постель жены, еще пустую. Всю ночь ему чудилось, что кровать его качается, как лодка, кренится набок и опрокидывается. У него даже был легкий приступ морской болезни.

Проснувшись утром, он был крайне удивлен, обнаружив Кору в своих объятиях.

Она открыла глаза, улыбнулась и поцеловала мужа, охваченная внезапным порывом признательности и нежности. Потом она произнесла воркующим голоском ласкающейся женщины:

— Я очень прошу тебя, не ходи сегодня в министерство. Теперь тебе незачем так усердствовать, раз мы будем богаты. Давай поедем за город, вдвоем, совсем одни!

Нежась в теплой постели, он чувствовал себя отдохнувшим, полным той блаженной истомы, какая наступает наутро после приятно, но несколько бурно проведенного вечера. Ему мучительно хотелось поваляться подольше, побездельничать, наслаждаясь покоем и негой. Неведомая ему ранее, но могучая потребность в лени парализовала его душу, сковала тело. И смутная, ликующая радость пронизала все его существо:

— Итак, я буду богат, независим!

Но внезапно его кольнуло сомнение, и тихим шепотом, словно опасаясь, что стены могут услышать, он спросил у Коры:

— А ты убеждена, что беременна?

Она поспешила его успокоить:

— Ну да, еще бы! Я не ошиблась.

Но он, все еще тревожась, стал легонько ее ощупывать, осторожно провел рукой по ее округлившемуся животу и объявил:

— Да, правда. Но ты родишь после срока. А вдруг

на этом основании станут оспаривать наше право на наследство?

При одной мысли об этом она пришла в ярость.

Ну нет. Как бы не так! Теперь уж она не потерпит никаких придирок! После стольких огорчений, трудов и усилий! Ну уж нет!..

Кипя негодованием, она вскочила с кровати:

— Сейчас же идем к нотариусу!

Но муж держался того мнения, что предварительно надо получить свидетельство от врача. И они снова направились к доктору Лефийелю.

Он сразу же узнал их и спросил:

— Ну как, удалось?

Оба покраснели до ушей, и Кора, несколько растерявшись, пролепетала:

— Кажется, да, сударь.

Врач потирал руки:

— Так я и думал. Так и думал. Я указал вам верное средство, оно всегда помогает, если только нет налицо полной неспособности одного из супругов.

Исследовав Кору, врач объявил:

— Так и есть! Браво!

И он написал на листке бумаги: «Я, нижеподписавшийся, доктор медицины Парижского университета, удостоверяю, что у госпожи Лезабль, урожденной Кашлен, имеются налицо все признаки трехмесячной беременности».

Потом, обратясь к мужу, он спросил:

— А вы? Как легкие? Сердце?

Он выслушал Лезабля и нашел его вполне здоровым.

Радостные и счастливые, окрыленные надеждой, они рука об руку пустились в обратный путь. Но по дороге Леопольда осенила мысль:

— Может быть, лучше, прежде чем идти к нотариусу, обмотать тебе живот полотенцами: это сразу бросится в глаза. Право, так будет лучше; а то он еще может подумать, что мы попросту хотим выгадать время.

Они вернулись домой, и Лезабль сам раздел жену, чтобы приладить ей фальшивый живот. Пытаясь добиться полнейшего правдоподобия, он раз десять пере-

кладывал полотенца и снова отступал на несколько шагов, чтоб проверить достигнутый эффект.

Когда он наконец остался доволен полученными результатами, они снова отправились в путь, и Лезабль шагал рядом с женой, словно гордясь ее вздутым животом — свидетельством его мужской силы.

Нотариус встретил супругов благосклонно. Выслушав их объяснения, он пробежал глазами удостоверение врача, и так как Лезабль настойчиво повторял: «Да ведь достаточно на нее посмотреть!» — нотариус окинул взглядом округлившийся живот молодой женщины и, видимо, убедился в истинности этих слов.

Супруги ждали в тревоге. Наконец блюститель закона объявил:

— Вы правы. Родился ли уже ребенок, или он еще только должен родиться, он живет и, следовательно, существует. Однако исполнение завещания откладывается до того дня, когда ваша супруга разрешится от бремени.

Они вышли из конторы и в порыве безудержной радости поцеловались на лестнице.

VII

С того счастливого дня, как они уверились, что наследство достанется им, трое родичей зажили в полном согласии. Настроение у всех было веселое, ровное, уступчивое. К Кашлену вернулась его былая жизнерадостность, а Кора окружала мужа самыми нежными заботами. Лезабль тоже стал совсем другим человеком — никогда еще он не был таким приветливым и добродушным.

Маз навещал их реже, и, казалось, ему было теперь не по себе в кругу этой семьи. Принимали его по-прежнему хорошо, но все же с некоторым холодком: ведь счастье всегда эгоистично и обходится без посторонних.

Даже Кашлен как будто стал питать какую-то скрытую враждебность к своему сослуживцу, которого он же сам несколько месяцев тому назад с такой готовностью ввел в свой дом. Он же и сообщил их общему другу о беременности Коры. Он выпалил без обиняков:

— Знаете, моя дочь беременна!

Маз, изобразив удивление, воскликнул:

— Вот как? Вы, наверно, очень рады?

Кашлен ответил:

— Еще бы, черт возьми! — и отметил про себя, что его сослуживец, видимо, далеко не в восторге. Мужчины не очень довольны, когда, по их ли вине или нет, женщина, за которой они ухаживают, оказывается в таком положении.

Тем не менее Маз продолжал по воскресеньям обедать у них. Однако его общество становилось им все более в тягость. Хотя никаких серьезных недоразумений между ним и его друзьями не возникало, чувство странной неловкости усиливалось с каждым днем. Однажды вечером, только успел Маз выйти, Кашлен сердито заявил:

— До чего он мне надоел!

А Лезабль поддакнул:

— Это верно; он не слишком выигрывает при близком знакомстве.

Кора потупила глаза и промолчала. Она теперь всегда как будто чувствовала себя стесненной в присутствии Маза, да и он тоже казался смущенным: не поглядывал на нее с улыбкой, как прежде, не предлагал провести вечер в театре; когда-то столь сердечная дружба явно стала для него тяжкой обузой.

Но однажды, в четверг, когда муж вернулся домой к обеду, Кора поцеловала его бачки ласковей, чем обычно, и прошептала ему на ухо:

— Ты не будешь меня бранить?

— За что?

— За то, что... сегодня приходил господин Маз, а я... я не хочу, чтоб сплетничали на мой счет, и я попросила его никогда не являться в твое отсутствие. Он, кажется, был немного задет.

Удивленный Лезабль спросил:

— Ну и что же? Что он сказал?

— О, ничего особенного, но только мне все же это не понравилось, и я сказала, чтоб он вообще перестал бывать у нас. Помнишь, ведь это ты с папой привели его к нам, я тут ни при чем. Вот я и боялась, что ты будешь недоволен тем, что я отказала ему от дома.

Радость и признательность наполнили сердце Лезабля:

— Ты хорошо сделала, очень хорошо. Благодарю тебя.

Кора, которая обдумала все заранее, пожелала строго установить взаимоотношения обоих мужчин.

— В министерстве не подавай вида, что ты что-нибудь знаешь: разговаривай с ним, как прежде, но только к нам он больше приходить не будет.

И Лезабль, нежно обняв жену и крепко прижимая к себе ее вздутый живот, долго целовал ее в глаза и щеки, повторяя:

— Ты ангел!

VIII

Все шло по-старому до самого конца беременности.

В последних числах сентября Кора родила девочку. Назвали ее Дезире; но желая устроить крестины торжественней, родители решили отложить их до следующего лета, когда будет куплена усадьба.

Они приобрели виллу в Аньере, на высоком берегу Сены.

За зиму произошли крупные события. Получив наследство, Кашлен немедленно подал прошение об отставке, которое тут же было удовлетворено, и покинул министерство. Теперь он посвящал свои досуги выпиливанию различных вещичек из крышек от сигарных коробок. При помощи лобзика он изготовлял футляры для часов, шкатулочки, жардиньерки, самые причудливые безделушки. Кашлен пристрастился к этой работе с тех пор, как увидел уличного торговца, выпиливавшего такие штучки на улице Оперы. И он требовал, чтобы все каждодневно восхищались затейливостью узоров, которые подсказывала ему его неискушенная фантазия.

Сам он, восторгаясь своими произведениями, неустанно твердил:

— Удивительно, чего только не сумеет сделать человек!

Когда помощник начальника, г-н Рабо, наконец умер, Лезабль занял его должность, хотя и не получил

соответствующего чина, поскольку со времени его последнего производства не прошел еще положенный срок.

Кора тотчас стала другой женщиной — гораздо сдержаннее, изящнее; она сразу же поняла, угадала, чутьем уловила, к каким превращениям обязывает человека богатство.

По случаю Нового года она нанесла визит супруге начальника — толстой даме, оставшейся провинциалкой после тридцатипятилетнего пребывания в Париже,— и так мило и обворожительно просила ее быть крестной матерью ребенка, что г-жа Торшбеф дала согласие. Крестным отцом должен был быть дедушка Кашлен.

Обряд состоялся в июне, в один из ослепительных воскресных дней. Присутствовали все сослуживцы, кроме красавца Маза, который больше не показывался.

В девять часов Лезабль уже поджидал на станции парижский поезд; грум в ливрее с большими позолоченными пуговицами держал под уздцы холеного пони, запряженного в новенький шарабан.

Вдали послышался свисток, потом показался паровоз, за которым цепочкой тянулись вагоны. Поток пассажиров хлынул на перрон.

Из вагона первого класса вышел г-н Торшбеф и с ним супруга в ослепительном наряде; из вагона второго — Питоле и Буассель. Папашу Савона пригласить не осмелились, но было решено, что встретят его как бы невзначай и, с согласия патрона, приведут обедать.

Лезабль устремился навстречу начальству. Г-н Торшбеф казался совсем крохотным в сюртуке, украшенном огромной орденской розеткой, похожей на распустившуюся красную розу. Необыкновенных размеров череп, на котором сидела широкополая шляпа, давил на тщедушное тело, отчего обладатель его казался каким-то феноменом. Жена г-на Торшбефа, лишь чуточку приподнявшись на цыпочки, свободно могла бы смотреть на мир поверх его головы.

Сияющий Леопольд раскланивался и благодарил. Усадив начальство с супругой в шарабан, он подбежал к двум своим сослуживцам, скромно шествовавшим позади, и, пожимая им руки, принес извинения за то, что

не может пригласить их в свой недостаточно вместительный экипаж.

— Идите вдоль набережной, вы как раз окажетесь у ворот моей дачи. «Вилла Дезире», четвертая за поворотом. Торопитесь!

Сев в шарабан, он подхватил вожжи и тронулся в путь, а грум проворно вскарабкался на маленькое сиденье позади.

Обряд совершился по всем правилам. К завтраку вернулись на виллу. Каждый из приглашенных обнаружил у себя под салфеткой подарок, ценность которого соответствовала общественному положению гостя. Крестную мать ждал массивный золотой браслет, ее мужа — рубиновая булавка для галстука. Буассель нашел у себя бумажник из русской кожи, Питоле — превосходную пенковую трубку.

Это Дезире, по словам ее родителей, преподнесла подарки своим новым друзьям.

Г-жа Торшбеф, красная от смущения и радости, нацепила на свою толстую руку сверкающий обруч; черный галстук г-на Торшбефа оказался слишком узким, и булавка не умещалась на нем; поэтому владелец его приколол драгоценную безделушку к лацкану сюртука, пониже розетки Почетного легиона, словно второй, менее значительный орден.

В окно виднелась широкая лента реки, уходящая к Сюрену меж высоких, поросших деревьями берегов. Солнце дождем изливалось на воду, превращая ее в огненный поток. Вначале трапеза протекала чинно: присутствие г-на и г-жи Торшбеф придавало ей солидность. Потом все развеселились. Кашлен отпускал тяжеловесные шуточки, полагая, что, раз он богат, он может себе это позволить; и все хохотали.

Конечно, если б это разрешили себе Питоле или Буассель, всеобщему возмущению не было бы границ.

Уже ели сладкое, когда принесли ребенка; гости наперебой бросились его целовать. Утопая в снежных кружевах, девочка глядела на этих людей своими мутно-голубыми бессмысленными глазками, слегка поворачивая круглую головку, в которой, казалось, пробуждались первые проблески сознания.

Под шум голосов Питоле прошептал на ухо своему соседу Буасселю:

— Я бы скорее назвал ее Мазеттой.

Острота назавтра же облетела все министерство.

Меж тем пробило два часа. Распили ликеры, и Кашлен предложил осмотреть владения, а потом — прогуляться по берегу Сены.

Гости переходили гуськом из одного помещения в другое, начав с погреба и кончив чердаком; затем осмотрели сад — каждое деревце, каждый кустик — и, разбившись на две группы, отправились на прогулку.

Кашлен, которого общество дам несколько стесняло, потащил Буасселя и Питоле в прибрежный кабачок, а г-жи Торшбеф и Лезабль в сопровождении супругов переправились на другой берег, ибо неприлично ведь порядочным женщинам смешиваться с разнузданной воскресной толпой.

Они медленно шли по дороге, по которой тянут бечевой баржи, а мужья следовали за ними, степенно беседуя о служебных делах.

По реке сновали ялики; их гнали широкими взмахами весел здоровые молодцы с обнаженными руками, на которых под смуглой кожей перекатывались мускулы. Их подруги, растянувшись на черных или белых шкурах, нежась на солнце, правили рулем, раскрыв над головой шелковые зонтики, красные, желтые и голубые, похожие на огромные, плывущие по воде цветы. Возгласы, окрики, брань перелетали с одной лодки на другую; и далекий гул человеческих голосов, непрерывный и смутный, доносился оттуда, где кишела праздничная толпа.

Вдоль берега неподвижной вереницей замерли рыболовы с удочками в руках: с тяжелых рыбачьих баркасов прыгали головой вперед почти голые пловцы, снова карабкались в лодку и снова ныряли.

Г-жа Торшбеф с удивлением глядела на это зрелище. Кора сказала:

— И так каждое воскресенье. Как это портит наш прелестный уголок!

Мимо них медленно плыла лодка. На веслах сидели две девицы, а на дне развалились двое молодцов. Одна из девиц закричала, обернувшись к берегу:

— Эй вы, честные женщины! Продается мужчина недорого, возьмете?

Кора с презрением отвернулась и, взяв под руку свою гостью, сказала:

— Здесь просто невозможно оставаться. Идемте отсюда. Какие бесстыдные твари!

И они повернули обратно.

Г-н Торшбеф говорил Лезаблю:

— Ждите к первому января. Директор твердо обещал мне.

Лезабль ответил:

— Не знаю, как и благодарить вас, дорогой патрон!

У ворот виллы они увидали Кашлена, Питоле и Буасселя; хохоча до слез, они тащили папашу Савона, которого, по их словам, нашли на берегу, в обществе девицы легкого поведения.

Напуганный старик повторял:

— Это неправда, неправда! Нехорошо говорить так, господин Кашлен, нехорошо!

А Кашлен, захлебываясь от смеха, кричал:

— Ах ты, старый шалун! Разве ты не называл ее «мой маленький гусеночек»? А, попался, проказник!

У старика вид был до того растерянный, что даже дамы засмеялись.

Кашлен продолжал:

— С разрешения господина Торшбефа мы в наказание оставим его под арестом, и он пообедает с нами.

Начальник дал благосклонное согласие, и все снова стали потешаться над красоткой, якобы покинутой стариком, а тот в отчаянии от коварной шутки, которую с ним сыграли, тщетно продолжал отрицать свою вину.

До самого вечера похождения старика Савона служили предметом неисчерпаемого остроумия и даже непристойных намеков.

Кора и г-жа Торшбеф, сидя на террасе под навесом, любовались отблесками заката. Солнце рассеивало среди листвы пурпурную пыль. Ни одно дуновение не колыхало ветвей; ясный, беспредельный покой нисходил с пламенеющего безмятежного неба.

Проплывали последние запоздалые лодки, медленно возвращаясь к пристани.

Кора спросила:

— Говорят, бедняга Савон был женат на какой-то дряни?

Г-жа Торшбеф, знавшая все, что касалось министерства, ответила:

— Да, он женился на молоденькой сироте. Она изменила мужу с каким-то негодяем, а потом сбежала с ним.

Подумав, толстуха добавила:

— Я сказала — «с негодяем». Но не знаю, так ли это. Кажется, они очень любили друг друга. Что ни говори — в папаше Савоне привлекательного мало.

Г-жа Лезабль возразила с важностью:

— Это для нее не оправдание. Бедняга Савон достоин сожаления. У нашего соседа — господина Барбу — такое же несчастье: жена влюбилась в какого-то художника, который проводил здесь каждое лето, и сбежала с ним за границу. Не понимаю, как женщина может пасть так низко! Я считаю, что нужно придумать особую кару для этих негодниц, которые покрывают позором семью.

В конце аллеи показалась кормилица с ребенком на руках. Дезире приближалась, утопая в кружевах, вся розовая в золотисто-пунцовой вечерней дымке. Она смотрела в огненное небо теми же бесцветно-мутноватыми удивленными глазами, какими обводила лица окружающих.

Мужчины, беседовавшие поодаль, разом подошли, и Кашлен, подхватив внучку, поднял ее высоко на вытянутых руках, словно желая вознести к небесам. Девочка вырисовывалась на блистающем фоне заката в длинном белом платье, ниспадающем до земли.

Счастливый дедушка воскликнул:

— Что может быть лучше этого на свете! Не правда ли, папаша Савон?

Но старик ничего не ответил — потому ли, что ему нечего было сказать, или потому, что он мог бы сказать слишком много.

Двери на террасу распахнулись, и слуга объявил:

— Сударыня, кушать подано!

ДЕНИ

Леону Шапрону

I

Г-н Марамбо распечатал письмо, поданное ему слугой Дени, и улыбнулся.

Дени вот уже двадцать лет служил у него; это был человек маленького роста, коренастый и веселый, считавшийся во всей округе образцовым слугой.

— Довольны, сударь? Получили хорошее известие? — спросил Дени.

Г-н Марамбо не был богат. Бывший деревенский аптекарь, холостяк, он жил на небольшой доход, с трудом нажитый от продажи крестьянам лекарств. Он ответил:

— Да, дружок. Папаша Малуа испугался процесса, которым я пригрозил ему. Завтра я получу свои деньги. Пять тысяч франков пригодятся в хозяйстве старого холостяка.

И г-н Марамбо потер руки. Это был человек вялый по натуре, скорее грустный, чем веселый, неспособный ни на какое длительное усилие, беспечный в делах.

Он, конечно, мог бы добиться большего достатка, сделавшись преемником какого-нибудь из умерших собратьев, живших в более значительных центрах, и перенял круг его покупателей. Но мысль о докучных хлопотах по переселению и всех тех заботах, которыми ему пришлось бы забивать голову, постоянно удерживала его; поразмыслив денька два, он ограничивался тем, что говорил:

— Баста! Отложим до следующего раза. Выжидая, я ничего не теряю. Быть может, найдется что-нибудь и получше.

Дени, наоборот, побуждал своего хозяина что-нибудь предпринять. Обладая деятельным характером, он постоянно твердил:

— О, будь у меня с чего начать, я бы сумел нажить состояние! Только тысячу франков, и мое дело было бы в шляпе.

Г-н Марамбо улыбался, ничего не отвечая; он выходил в свой маленький садик и принимался расхаживать, заложив руки за спину, о чем-то мечтая.

Весь этот день Дени распевал деревенские песенки, как человек, который чему-то радуется. Он проявил даже необычайную деятельность и вымыл все окна в доме; он с жаром протирал стекла, горланя свои куплеты.

Г-н Марамбо, удивленный его усердием, несколько раз повторил ему, улыбаясь:

— Если ты будешь так работать, дружок, тебе не останется дела на завтра.

На следующий день, часов в десять утра, почтальон передал Дени четыре письма для его хозяина, в том числе одно очень тяжелое. Г-н Марамбо сейчас же заперся в своей комнате и пробыл там далеко за полдень. Затем он поручил слуге отнести на почту четыре пакета. Один из них был адресован г-ну Малуа; это была, вероятно, расписка в получении денег.

Дени не задал своему господину ни одного вопроса; в этот день он казался настолько же унылым и мрачным, насколько был весел накануне.

Пришла ночь. Г-н Марамбо лег в обычный час и заснул.

Его разбудил странный шум. Он присел на постели и прислушался. Дверь вдруг отворилась, и на пороге появился Дени, держа в одной руке свечу, а в другой кухонный нож; его глаза были расширены и неподвижны, лицо искажено, как у человека, охваченного ужасным волнением, и он был так бледен, что казался выходцем с того света.

Изумленный Марамбо подумал, что Дени лунатик, и хотел было уже встать и подбежать к нему, как вдруг

слуга задул свечу и ринулся к кровати. Хозяин протянул вперед руки и получил удар, опрокинувший его на спину; решив, что слуга сошел с ума, г-н Марамбо старался схватить его за руки, чтобы отвести удары, которые тот ему наносил один за другим.

Первый удар ножом задел ему плечо, второй пришелся в лоб, третий в грудь. Он отчаянно отбивался, размахивая в темноте руками, отбиваясь изо всех сил ногами и крича:

— Дени! Дени! Ты с ума сошел, послушай, Дени!

Но тот, задыхаясь, продолжал с остервенением наносить удары, и, отбрасываемый то толчком ноги, то ударом кулака, снова в бешенстве возвращался назад. Г-н Марамбо получил еще две раны в ногу и одну в живот. Но вдруг одна мысль мелькнула, как молния, у него в голове, и он закричал:

— Перестань же, Дени, перестань, я не получил денег!

Слуга тотчас же остановился; хозяин слышал в темноте его свистящее дыхание.

Г-н Марамбо продолжал:

— Я ничего не получил. Господин Малуа отказывается платить, будем судиться, потому-то ты и относил письмо на почту. Прочти-ка лучше бумаги на моем письменном столе.

Сделав последнее усилие, он взял с ночного столика спички и зажег свечу.

Он был весь в крови. Горячие струи забрызгали стену. Простыни, занавеси — все было красное. Дени, также окровавленный с головы до ног, стоял посреди комнаты.

Увидев все это, г-н Марамбо подумал, что умирает, и потерял сознание.

На рассвете он пришел в себя. Понадобилось некоторое время, пока к нему вернулась способность чувствовать, соображать и припоминать. Но вдруг он вспомнил о покушении, о полученных ранах, и им овладел такой страх, что он закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Через несколько минут ужас немного ослабел, и он стал размышлять. Если он еще не умер, значит, может поправиться. Он чувствовал себя слабым, очень

слабым, но не испытывал острой боли, хотя в различных местах тела у него и было очень неприятное ощущение, словно от каких-то щипков. К тому же он совсем окоченел, промок и, казалось, был стянут, точно обмотанный повязками. Он подумал о пролитой крови, и дрожь ужаса пробежала по его телу при страшной мысли, что вся эта красная жидкость, которою была залита кровать, вытекла из его собственных жил. Мысль, что он снова может увидеть это ужасное зрелище, взволновала его, и он с силой зажмурил глаза, как будто они собирались открыться вопреки его желанию.

Что стало с Дени? По всей вероятности, он скрылся.

Но что было делать теперь ему, Марамбо? Встать? Позвать на помощь? Но ведь если он сделает малейшее движение, его раны, наверно, опять откроются и он умрет, изойдя кровью.

Вдруг он услышал, что дверь в спальню отворяется. Его сердце замерло. Это, разумеется, был Дени, явившийся его прикончить. Он задержал дыхание, чтобы убийца подумал, что все и так уже кончено, что дело сделано.

Он почувствовал, как приподняли простыню, как ему ощупали живот. Острая боль у бедра заставила его вздрогнуть. Теперь его очень осторожно обмывали свежей водой, значит, преступление открыто и за ним ухаживают, его спасают. Безумная радость овладела им, но, продолжая сохранять осторожность, он не захотел показать, что к нему вернулось сознание, и с величайшей опаской приоткрыл один глаз.

Он увидел возле себя Дени. Дени собственною персоной! Милосердный боже!.. Он стремительно закрыл веки.

Дени! Что же он делает, в таком случае? Что ему нужно? Какие еще ужасные умыслы питает он?

Что он делает? Ага, он обмывает его, чтобы скрыть следы! Не намеревается ли он теперь зарыть его в саду на десять футов под землей, чтобы никто не мог найти труп? Или, быть может, он спрячет его в подвале, под бутылками вина?

И г-н Марамбо начал так сильно дрожать, что все его тело трепетало.

Он думал: «Я погиб, я погиб!» — и с отчаянием сжимал веки, чтобы не видеть последнего удара ножом. Но удара не последовало. Теперь Дени приподнял его и стал забинтовывать. Затем он принялся тщательно перевязывать рану на ноге, как он научился это делать у своего хозяина, когда тот был аптекарем.

Для специалиста, каким был г-н Марамбо, сомнений больше не оставалось: слуга, сделав попытку убить его, теперь старался его спасти.

Тогда г-н Марамбо умирающим голосом дал ему следующий практический совет:

— Для обмываний и перевязок употребляй воду с коальтаровым мылом.

Дени ответил:

— Я так и делаю, сударь.

Г-н Марамбо открыл оба глаза.

Ни малейших следов крови не было больше ни на постели, ни в комнате, ни на убийце. Раненый лежал на совершенно чистых простынях.

Оба человека взглянули друг на друга.

Наконец г-н Марамбо с кротостью промолвил:

— Ты совершил большое преступление.

Дени ответил:

— Я стараюсь искупить его, сударь. Если вы не донесете на меня, я буду вам верно служить, как и раньше.

Минута была неподходящая, чтобы противоречить слуге. Закрывая глаза, г-н Марамбо твердо произнес:

— Клянусь, что не донесу на тебя.

II

Дени выходил своего господина. Он проводил дни и ночи без сна, не отлучаясь из комнаты больного, готовил ему лекарства, примочки, прохладительное питье, щупал пульс, с беспокойством считая удары, ухаживал с ловкостью сиделки и сыновней преданностью.

Каждую минуту он спрашивал:

— Ну что, сударь, как вы себя чувствуете?

Г-н Марамбо отвечал слабым голосом:

— Немного лучше, дружок, спасибо.

Просыпаясь ночью, раненый нередко видел, что его слуга плачет, сидя в кресле, и молча вытирает глаза.

Никогда еще бывший аптекарь не был окружен такой заботливостью, никогда его так не баловали и не ласкали.

Сначала он говорил себе: «Как только я выздоровею, я отделаюсь от этого негодяя».

Начиная теперь выздоравливать, он со дня на день откладывал разлуку со своим убийцей. Он думал о том, что никто не будет относиться к нему с таким вниманием и чуткостью, что страхом разоблачения он держит этого парня в руках, и предупредил его, что передал на хранение нотариусу завещание, которое отдаст Дени в руки правосудия, если бы опять произошло что-нибудь подобное.

Эта предосторожность, казалось, обеспечивала его в будущем от всякого нового покушения; кроме того, у него возникал вопрос, не будет ли даже благоразумней оставить при себе этого человека, чтобы внимательно наблюдать за ним.

Подобно тому, как прежде он колебался приобрести другую, более доходную аптеку, так и теперь он не мог прийти к определенному решению.

— Времени еще хватит,— говорил он себе.

Дени продолжал быть тем же образцовым слугой. Выздоровев, г-н Марамбо оставил его у себя.

Но вот, однажды утром, когда г-н Марамбо кончил завтракать, он вдруг услышал сильный шум в кухне. Он побежал туда: Дени, схваченный двумя жандармами, отбивался от них. Бригадир сосредоточенно делал заметки в записной книжке.

Едва увидев своего хозяина, слуга стал рыдать, восклицая:

— Вы донесли на меня, сударь, это нехорошо с вашей стороны, вы же мне обещали. Вы нарушили свое честное слово, господин Марамбо; это нехорошо, это нехорошо!..

Г-н Марамбо, пораженный и в отчаянии, что его заподозрили, поднял вверх руку:

— Клянусь тебе именем бога, дружок, что я не доносил на тебя. Я совершенно не знаю, откуда госпо-

да жандармы могли узнать, что ты пытался меня убить.

Бригадир так и подскочил:

— Вы говорите, что он хотел убить вас, господин Марамбо?

Аптекарь, растерявшись, ответил:

— Ну, да... Но я не доносил на него... Я ничего не говорил... Клянусь, я ничего не говорил... Он служил мне очень хорошо с тех пор...

Бригадир сурово отчеканил:

— Я записал ваше показание. Правосудие рассмотрит этот новый факт, который был ему неизвестен, господин Марамбо. Мне поручено арестовать вашего слугу за кражу двух уток, похищенных им у господина Дюамеля, чему имеются свидетели. Прошу извинения, господин Марамбо. Я доложу о вашем показании.

И, обратившись к своим подчиненным, он скомандовал:

— Ну, в дорогу!

Жандармы потащили Дени.

III

Адвокат настаивал на наличии сумасшествия, подтверждая для усиления аргументации одно преступление другим. Он ясно доказал, что кража двух уток произошла в силу того же самого психического расстройства, при котором г-ну Марамбо были нанесены восемь ударов ножом. Он подверг тонкому анализу все фазы этого временного умопомешательства, которое, без сомнения, пройдет после нескольких месяцев лечения в хорошей лечебнице для душевнобольных. Он говорил в восторженных выражениях о постоянной преданности этого честного слуги, о неправленных заботах, которыми тот окружал своего господина, раненного им в минуту помешательства.

Тронутый до глубины сердца этим воспоминанием, г-н Марамбо почувствовал, как увлажнились его глаза.

Адвокат заметил это; широким жестом он раскинул руки, и длинные черные рукава его разлетелись, как крылья летучей мыши.

— Смотрите, смотрите, смотрите, господа судьи,— воскликнул он дрожащим голосом,— видите эти слезы? Что мне еще сказать теперь в защиту моего клиента? Какая речь, какое доказательство, какой довод стоят этих слез его господина? Они говорят громче меня, громче закона. Они кричат: «Прощение обезумевшему на один час!» Они взывают о милости, они прощают, они благословляют!

Он замолчал и сел.

Тогда председатель суда обратился к Марамбо, показания которого были превосходны для его слуги, и спросил его:

— Но все же, сударь, допуская даже, что вы считали этого человека сумасшедшим,— все же остается непонятным, как могли вы его оставить у себя? Ведь от этого он не становился менее опасным.

Марамбо ответил, вытирая себе глаза:

— Что же делать, господин председатель, ведь так трудно найти слугу по нынешним временам. Лучше него я и не нашел бы.

Дени был оправдан и помещен в убежище для душевнобольных за счет своего хозяина.

ОСЕЛ

Луи Ле Пуатвену

Ни малейшего движения не чувствовалось в густом, заснувшем над рекой тумане. Словно тусклое облако хлопка легло на воду. Даже высокий берег нельзя было различить в причудливых клубах тумана, зубчатых, как горная цепь. Но с приближением рассвета начинал вырисовываться холм. У его подножия, в зарождающихся проблесках зари, мало-помалу большими белыми пятнами выступили оштукатуренные домики. В курятниках пели петухи.

Там, по ту сторону реки, окутанной дымкой, как раз против Фретты, легкие звуки нарушали на мгновение великую тишину безветренного неба. Слышался то еле внятный плеск, словно осторожно пробиралась лодка, то сухой удар, как будто стукнуло весло о борт, то падение мягкого предмета в воду. Затем снова тишина.

Иногда же, неизвестно откуда, быть может, очень издалека, а может, и совсем близко, в этих мутных сумерках слышались тихие слова, звучавшие на земле или на реке, и так же робко скользили и исчезали, как те дикие птицы, которые провели ночь в тростниках и с первыми проблесками зари пускаются в путь, чтобы снова лететь куда-то, которых можно увидеть только на одно мгновение, когда они во весь дух пересекают туман, испуская нежный и боязливый крик, будя своих сестер в прибрежных скалах.

Вдруг у берега, против деревни, на воде появилась едва заметная тень; затем она стала расти, сгущаться

и, наконец, выйдя из туманной завесы, наброшенной на реку, в травянистый берег уткнулась плоскодонка, в которой находились два человека.

Тот из них, что сидел на веслах, поднялся, взял со дна лодки ведро, наполненное рыбой, и вскинул на плечо сеть, с которой еще струилась вода. Его компаньон, не трогаясь с места, сказал:

— Принеси-ка ружье, может, спугнем какого кролика в береговых откосах, а, Мальош?

Тот ответил:

— Идет. Подожди, я сейчас вернусь.

И он удалился, чтобы припрятать улов в безопасное место.

Человек, оставшийся в лодке, медленно набил трубку и закурил.

Его звали Лабуиз, по прозвищу Шико [1], и он объединился со своим кумом Мальошоном, сокращенно Мальошем, для занятия подозрительным и случайным воровским промыслом.

Они были плохими матросами и нанимались в плавание только в голодные месяцы. Остальное время они грабили. День и ночь блуждая по реке, выслеживая всякую добычу, мертвую или живую, они были водными браконьерами, ночными охотниками, чем-то вроде пиратов сточных труб; они то подстерегали косуль в Сен-Жерменском лесу, то разыскивали утопленников, плывущих под водой, и обчищали их карманы, то подбирали уносимые течением тряпки, куски дерева и пустые бутылки, горлышки которых торчали над водой и покачивались, как пьяные. Лабуиз и Мальошон были довольны своей жизнью.

Иногда около полудня они бродили пешком и шли не спеша, куда глаза глядят. Они обедали где-нибудь в трактире на берегу реки и снова вместе отправлялись дальше. День или два они отсутствовали, а потом как-нибудь утром их снова видели плывущими в их дряхлой лодчонке.

В это время где-нибудь в Жуенвиле или в Ножане гребцы в отчаянии разыскивали исчезнувшую ночью

---

[1] Chicot *(франц.)* — пень, пенек.

шлюпку, отвязанную кем-то, уплывшую и, без сомнения, украденную, а в двадцати или тридцати лье оттуда, на Уазе, какой-нибудь буржуа-собственник потирал руки, любуясь лодкой, купленной им накануне по случаю за пятьдесят франков у двух людей, которые мимоходом, сами неожиданно предложили продать ее.

Мальошон вернулся с ружьем, завернутым в тряпку. Это был человек лет сорока или пятидесяти, высокий, худой, с бегающим взглядом, как у людей, постоянно опасающихся за свою судьбу, и у животных, которых уже не раз травили. Расстегнутая рубашка открывала грудь, заросшую серой шерстью, но на лице у него, по-видимому, никогда не было другой растительности, кроме щетки коротко подстриженных усов и клочка жестких волос под нижней губой. Он лысел начиная с висков.

Когда он снимал грязную лепешку, служившую ему картузом, кожа на его голове казалась покрытой легким пухом, какой-то тенью волос, как у ощипанного цыпленка, которого нужно еще опалить.

Наоборот, Шико был красный и весь в угрях, толстый, коротенький и волосатый, его лицо под фуражкой сапера напоминало собою сырой бифштекс. Левый глаз у него был всегда прищурен, словно он во что-то или в кого-то целился, и когда над его тиком шутили, говоря: «Открой глаз, Лабуиз»,— он отвечал спокойным тоном: «Не бойся, сестрица, при случае я его открою». Между прочим, у него была привычка всех называть «сестрицей», вплоть до своего товарища по воровству.

Теперь была его очередь взяться за весла, и лодка снова нырнула в неподвижный речной туман, который становился уже молочно-белым в розовом сиянии просветлевшего неба.

Лабуиз спросил:

— Какую ты взял дробь, Мальошон?

Мальошон ответил:

— Самую мелкую, девятку, ту, что для кроликов.

Они приближались к другому берегу так тихо, так осторожно, что ни малейший шум не выдавал их. Этот берег принадлежит к Сен-Жерменскому лесу, где запрещена охота на кроликов. Он покрыт норками, скры-

тыми под корнями деревьев, и зверьки резвятся там на заре, скачут взад и вперед, вбегая и выбегая из нор.

Мальошон, стоя на коленях впереди, высматривал добычу, спрятав ружье на дне лодки. Вдруг он схватил его, прицелился, и выстрел раскатисто прозвучал в деревенской тишине.

В два удара весла Лабуиз был у берега, и его компаньон, прыгнув на землю, поднял маленького, еще трепетавшего серого кролика.

Затем лодка снова погрузилась в туман, повернув к другому берегу, где они были в безопасности от сторожей.

Теперь казалось, что эти два человека просто спокойно катаются по реке. Ружье исчезло под доской, служившей ему прикрытием, а кролик — за оттопыренной блузой Шико.

Через четверть часа Лабуиз спросил:

— Ну, сестрица, еще одного?

Мальошон ответил:

— Ладно, поехали.

И лодка снова поплыла, быстро спускаясь по течению. Густой туман, висевший над рекой, начал подниматься. Как сквозь кисею, можно было уже рассмотреть деревья на берегу; разорванный туман уносило по течению маленькими облачками.

Приблизившись к острову, оконечность которого лежит против Эрблэ, гребцы замедлили ход лодки и снова начали высматривать добычу. Вскоре был убит и второй кролик.

Они продолжали плыть вниз по течению, пока не оказались на полпути до Конфлана; здесь они остановились, пришвартовав лодку к дереву, и заснули, улегшись на дно.

Время от времени Лабуиз приподнимался, озирая окрестность своим открытым глазом. Остатки утреннего тумана испарились, и лучезарное летнее солнце всходило в голубом небе.

На другом берегу полукругом тянулся косогор, покрытый виноградниками. Одинокий домик подымался на его вершине среди группы деревьев. Все было погружено в молчание.

Но на дороге вдоль реки, где тянули бечеву, что-то

медленно приближалось, еле-еле двигаясь. Это была женщина, тащившая за собой осла. Животное, с одеревеневшими суставами, неповоротливое и упрямое, время от времени выставляло вперед одну ногу, уступая усилиям своей спутницы, когда оно не могло уже ей противиться; вытянув шею, опустив уши, осел подвигался настолько медленно, что трудно было и представить себе, когда же наконец он скроется из вида.

Женщина тянула осла, согнувшись вдвое и время от времени оборачиваясь, чтобы подхлестнуть его веткой.

Лабуиз, увидев ее, произнес:

— Эй, Мальош!

— Чего еще?

— Хочешь позабавиться?

— Конечно.

— Ну, так встряхнись, сестрица, уж мы с тобой посмеемся.

И Шико взялся за весла.

Когда они переехали реку и очутились против женщины с ослом, он крикнул:

— Эй, сестрица!

Женщина перестала тащить свою клячу и оглянулась. Лабуиз продолжал:

— Ты что, на ярмарку паровозов идешь, что ли?

Женщина ничего не ответила. Шико продолжал:

— Эй, скажи-ка, не получил ли твой осел приза на бегах? Куда ты ведешь его, что так спешишь?

Женщина наконец ответила:

— Я иду к Макару, в Шампью, чтобы его там прикончили. Он уж никуда не годится.

Лабуиз ответил:

— Верю. Сколько же Макар тебе за него даст?

Женщина вытерла рукой лоб и нерешительно ответила:

— А почем я знаю? Может, три франка, может, и четыре.

Шико воскликнул:

— Даю тебе за него сто су, и путешествию твоему конец, а это чего-нибудь да стоит.

Женщина, подумав немного, произнесла:

— Ладно.

И грабители причалили.

Лабуиз взял животное за повод. Мальош в удивлении спросил:

— Что ты будешь делать с этой шкурой?

Но тут Шико открыл и другой глаз, чтоб лучше выразить свое удовольствие. Все его красное лицо гримасничало от радости; он прокудахтал:

— Не бойся, сестрица, уж я придумал штуку.

Он отдал женщине сто су, и она присела на краю канавы, чтобы посмотреть, что будет дальше.

Тогда Лабуиз, в отличном настроении, достал ружье и протянул его Мальошону.

— Каждому по выстрелу, старушка моя, мы поохотимся на крупную дичь, сестрица, да только издали, черт возьми, а то ты с первого же раза убьешь его. Надо немножко продлить удовольствие.

И он поставил своего компаньона в сорока шагах от жертвы. Осел, чувствуя себя на свободе, попробовал щипать высокую прибрежную траву, но был до такой степени изнурен, что шатался на ногах и, казалось, вот-вот свалится.

Мальошон медленно прицелился и сказал:

— Внимание, Шико. Угостим его солью по ушам.

И он выстрелил.

Мелкая дробь изрешетила длинные уши осла, который стал сильно трясти ими, двигая то одним ухом, то другим, то одновременно обоими, желая избавиться от этого колющего ощущения.

Приятели хохотали до упаду, корчась и топая ногами. Но женщина в негодовании бросилась к ним; она не хотела, чтобы мучили ее осла, и предлагала, охая, вернуть им сто су.

Лабуиз пригрозил вздуть ее и сделал вид, что засучивает рукава. Он заплатил,— разве не так? Значит, помалкивай. А то он пустит ей заряд под юбки, чтобы доказать, что этого и не почувствуешь.

И она ушла, угрожая жандармами. Они долго еще слышали, как она выкрикивала ругательства, и брань ее становилась тем отборней, чем дальше она уходила.

Мальошон протянул ружье компаньону.

— Твой черед, Шико.

Лабуиз прицелился и выстрелил. Осел получил за-

ряд в ляжки, но дробь была мелка, стреляли на большом расстоянии, и он, вероятно, подумал, что его кусают слепни, потому что с силой принялся обмахиваться хвостом, ударяя им себя по спине и по ногам.

Лабуиз уселся, чтобы посмеяться вволю, между тем как Мальошон снова зарядил ружье и при этом так хохотал, что казалось, будто он чихает в дуло.

Он приблизился к ослу на несколько шагов и, целясь в то же самое место, что и его компаньон, снова выстрелил. На этот раз животное сделало большой скачок, начало брыкаться и махать головой. Наконец проступило немного крови. Осел был ранен. Он почувствовал острую боль и пустился бежать по берегу медленным хромающим и прерывистым галопом.

Оба человека бросились за ним в погоню: Мальошон — крупным шагом, Лабуиз — торопливыми шажками, той рысцой, которая вызывает одышку у низкорослых людей.

Но осел, обессилев, остановился и бессмысленным взглядом смотрел на приближающихся убийц. Затем он вдруг вытянул голову и принялся реветь.

Лабуиз, запыхавшись, поднял ружье. На этот раз он подошел совсем близко, не желая пускаться еще раз в погоню.

Когда осел прекратил свою скорбную жалобу, походившую на призыв о помощи, на последний предсмертный крик, человек, придумав что-то, крикнул:

— Эй, Мальош, сестрица, подойди-ка сюда, я дам ему выпить лекарства.

И когда Мальош силой открыл зажатый рот животного, Шико всунул в глотку осла дуло ружья, как будто собираясь влить ему лекарство. Затем он сказал:

— Эй, сестрица, смотри, я вливаю ему слабительное.

И он спустил курок. Осел попятился шага на три, упал на круп, сделал попытку подняться и наконец, закрыв глаза, повалился на бок. Все его старое, ободранное тело трепетало, а ноги дергались, как будто он хотел бежать.

Поток крови хлынул у него между зубов. Вскоре он перестал шевелиться. Он издох.

Оба человека не смеялись больше, все кончилось

слишком быстро, и они чувствовали себя обокраденными.

Мальошон спросил:

— Ну, а что же нам теперь с ним делать?

Лабуиз ответил:

— Не бойся, сестрица, стащим-ка его в лодку; мы еще посмеемся сегодня ночью.

И они отправились к лодке. Труп животного был положен на дно, покрыт свежей травой, и, растянувшись на нем, бродяги снова заснули.

Около полудня Лабуиз вытащил из потайного ящика источенной червями грязной лодки литр вина, хлеб, масло, лук, и они принялись за еду.

Покончив с обедом, они опять улеглись на мертвом осле и заснули. В сумерки Лабуиз пробудился и, расталкивая приятеля, который храпел, как орган, скомандовал:

— Ну, сестрица. поехали.

Грести стал Мальошон. Они не спеша подымались вверх по Сене, так как в их распоряжении было довольно времени. Они плыли вдоль берегов, покрытых цветущими водяными лилиями, напоенных ароматом боярышника, белые кисти которого свешивались к воде; тяжелая лодка илистого цвета скользила по большим плоским листьям кувшинок, сгибала их бледные круглые цветы, вырезанные в форме бубенцов, которые снова затем выпрямлялись.

Возле Эперонской стены, отделяющей Сен-Жерменский лес от парка Мэзон-Лафит, Лабуиз велел своему компаньону остановиться и изложил ему свой план, который вызвал у Мальошона продолжительный и беззвучный смех.

Они выбросили в воду траву, покрывавшую труп, взяли животное за ноги, вытащили из лодки и спрятали в чаще.

Снова сев в лодку, они достигли Мэзон-Лафита.

Стояла уже непроглядная тьма, когда они вошли к дяде Жюлю, трактирщику и виноторговцу. Едва увидев их, он подошел к ним, пожал руки, присел к их столу, и они начали болтать о том, о сем.

Часов в одиннадцать, когда ушел последний посетитель, дядя Жюль сказал Лабуизу, подмигивая:

— Ну, есть что-нибудь?

Лабуиз качнул головой и произнес:

— Может, есть, а может, и нет, все возможно.

Трактирщик приставал:

— Серые, верно, только одни серые?

Тогда Шико, засунув руки за пазуху шерстяной блузы, показал оттуда уши одного из кроликов и заявил:

— Это стоит три франка за пару.

Началось долгое препирательство из-за цены. Сошлись на двух франках шестидесяти пяти сантимах. Оба кролика были проданы.

Когда мародеры встали, дядя Жюль, наблюдавший за ними, сказал:

— У вас еще что-то есть, да вы говорить не хотите.

Лабуиз ответил:

— Может, и есть, только не для тебя; очень уж ты выжига большой.

Загоревшийся трактирщик настаивал:

— Ага, что-то крупное, ну, скажи что, можно и столковаться.

Лабуиз, как будто в нерешительности, сделал вид, что он советуется взглядом с Мальошоном; затем медленно ответил:

— Вот какое дело. Мы сидели в засаде возле Эперона, и вдруг что-то пробежало мимо нас в ближайших кустах, слева, где стена кончается. Мальошон выстрелил, и оно упало. Мы удрали, потому что там сторожа. Не могу тебе сказать, что это такое, потому что не знаю. Крупное-то оно крупное. Но что? Если бы я сказал тебе, я бы обманул тебя, а ты знаешь, сестрица, между нами все начистоту.

Торговец, волнуясь, спросил:

— Не косуля ли это?

Лабуиз ответил:

— Может быть, она, может, что другое. Косуля?.. Да .. Но не покрупнее ли это немного? Будто вроде как лань. О, я не говорю, что это лань, ведь я не знаю, но очень может быть!

Трактирщик настаивал:

— А может быть, олень?

Лабуиз вытянул руку.

— Это нет! Что до оленя, так это не олень, не буду

тебя обманывать, не олень. Его бы я признал по рогам. Нет, что до оленя, так это не олень.

— Почему вы не взяли его? — спросил трактирщик.

— Почему, сестрица? А потому, что мы теперь продаем на месте. Я охотник. Понимаешь, пошатаешься, кое-что отыщешь, чем-нибудь поживишься. А для меня никакого риска. Вот!

Кабатчик недоверчиво произнес:

— А если его там уже больше нет?

Но Лабуиз снова поднял руку:

— Что оно там, это наверняка; ручаюсь тебе за это, клянусь, что там. В первых кустах налево. Но вот что это такое, не знаю. Знаю, что это не олень, это нет, тут я уверен. Ну, а насчет всего прочего, это уж твое дело пойти и посмотреть. Двадцать франков на месте, подходит тебе это?

Трактирщик все еще колебался.

— Ты не мог бы принести сюда?

Мальошон вмешался в разговор:

— Тогда без риска. Если это косуля — пятьдесят франков; если лань — семьдесят; вот наши цены.

Харчевник решился:

— Идет за двадцать франков. Решено.

И они ударили по рукам.

Затем он вынул из конторки четыре больших монеты по сто су, и друзья опустили их в карманы.

Опорожнив свой стакан, Лабуиз встал и вышел; исчезая в темноте, он обернулся и подтвердил:

— Это не олень, будь уверен. Но что?.. А уж оно там, это верно. Я тебе деньги обратно отдам, если ничего не найдешь.

И он исчез в ночной темноте.

Мальошон, выйдя вслед за ним, дубасил его по спине кулаком, чтобы выразить свое ликование.

ИДИЛЛИЯ

Морису Лелуару.

Поезд только что покинул Геную и направился к Марселю, пробираясь вдоль скалистого берега, скользя железной змеей между морем и горами, проползая по желтому песку побережья, окаймленному серебряной нитью мелких волн, и проникая в черные пасти туннелей, словно зверь в нору.

В последнем вагоне поезда друг против друга сидели толстая женщина и молодой человек; они не разговаривали и лишь изредка бросали взгляды друг на друга. Ей было лет двадцать пять; сидя у дверцы, она смотрела на открывавшиеся перед ней виды. Это была крепкая черноглазая пьемонтская крестьянка с огромной грудью и мясистыми щеками. Она задвинула несколько узелков под деревянную скамейку, оставив у себя на коленях корзину.

Ему было около двадцати лет, он был худой, смуглый, с тем темным загаром, какой бывает у людей, обрабатывающих землю на солнцепеке. Возле него в узелке лежало все его имущество: пара башмаков, рубашка, штаны и куртка. Он тоже спрятал под скамейку кое-что: лопатку и мотыгу, связанные вместе веревкой. Он ехал во Францию искать работы.

Солнце, подымаясь, изливало на берег потоки огня. Был конец мая, и в воздухе носился восхитительный аромат, проникая в вагоны сквозь опущенные окна. Цветущие апельсинные и лимонные деревья изливали

в спокойное небо свое сладкое благоухание, такое нежное, сильное, такое возбуждающее, и примешивали его к дыханию роз, которые росли повсюду, точно трава,— вдоль дороги в богатых садах, у дверей лачуг, а также в полях.

Здесь, на этом побережье, розы у себя дома! Они наполняют страну сильным и нежным ароматом, они превращают воздух в лакомство, в нечто гораздо более вкусное, чем вино, и опьяняющее подобно ему.

Поезд шел медленно, словно желая подольше задержаться в этом саду, в этой неге. Он поминутно останавливался на маленьких станциях, перед кучкой белых домиков; затем, давая протяжный свисток, не спеша отправлялся дальше. Никто не садился в поезд. Казалось, все были охвачены дремотой и ни у кого не хватало решимости двинуться с места в это жаркое весеннее утро.

Толстая женщина время от времени закрывала глаза, затем быстро открывала их, когда ее корзинка, скользя с колен, готова была упасть на пол. Быстрым движением она подхватывала ее, несколько минут смотрела в окно, затем снова начинала дремать. Капли пота выступали у нее на лбу, и она дышала с трудом, точно ей мучительно теснило грудь.

Молодой человек, склонив голову, спал крепким сном деревенского жителя.

Когда поезд тронулся с одной маленькой станции, крестьянка вдруг проснулась и, открыв свою корзину, вынула оттуда кусок хлеба, крутые яйца, бутылочку с вином, сливы, превосходные красные сливы, и принялась за еду.

Мужчина тоже проснулся и смотрел на нее; он смотрел на каждый кусок, переходивший из корзинки в ее рот. Он сидел, скрестив руки, неподвижно устремив глаза; щеки у него были впалые, а губы плотно сжаты.

Она ела, как едят толстые жадные женщины, поминутно пропуская глоток вина, чтобы легче прошли яйца, и останавливаясь, чтобы слегка перевести дух.

Она уничтожила все — хлеб, яйца, сливы, вино. И как только она прикончила свой завтрак, юноша

опять закрыл глаза. Чувствуя, что платье стало немного теснить, она распустила корсаж, и молодой человек снова взглянул на нее.

Она ничуть не смутилась этим и продолжала расстегивать платье; под сильным напором ее грудей ткань раздвинулась, обнаруживая между двумя краями, сквозь все увеличивающееся отверстие, немного белья и тела.

Крестьянка, почувствовав себя лучше, проговорила по-итальянски:

— Так жарко, что дышать невозможно.

Молодой человек ответил на том же языке и с тем же самым произношением:

— Для поездки погода хорошая.

Она спросила:

— Вы из Пьемонта?

— Я из Асти.

— А я из Казале.

Они оказались соседями. Завязался разговор.

Они пространно толковали об обыденных вещах, занимающих простолюдинов и вполне удовлетворяющих их ум, медлительный и лишенный кругозора. Они говорили о родных местах. У них были общие знакомые; они перечисляли имена, становясь друзьями по мере того, как открывали какое-нибудь новое лицо, известное им обоим. С их губ слетали быстрые, торопливые слова с звучными окончаниями и итальянской певучестью. Потом они осведомились друг о друге.

Она была замужем; у нее уже трое детей, оставшихся под присмотром сестры, так как сама она нашла себе место кормилицы, очень хорошее место у одной французской дамы из Марселя.

Он искал работы. Ему сказали, что он может найти ее тоже в Марселе, потому что там теперь много строили.

Затем они замолчали.

Изливаясь, как дождь на крыши вагонов, зной становился невыносимым. Облако пыли неслось за поездом и проникало внутрь; аромат апельсинных деревьев и роз становился все сильнее и как будто сгущался и тяжелел.

Оба пассажира снова заснули.

Они открыли глаза почти в одно и то же время. Солнце опускалось к морю, озаряя потоками света его голубую поверхность. Воздух посвежел и казался более легким.

Кормилица задыхалась; корсаж ее был расстегнут, щеки увяли, глаза потускнели; подавленным голосом она проговорила:

— Я не давала груди со вчерашнего дня; мне так дурно, словно я сейчас упаду без памяти.

Он не отвечал, не зная, что сказать. Она продолжала:

— Когда так много молока, как у меня, надо давать грудь три раза в день, иначе чувствуешь себя плохо. Словно какая-то тяжесть давит на сердце, такая тяжесть, что трудно дышать и все члены ломит. Столько молока — это несчастье.

Он произнес:

— Да, это — несчастье. Это должно вас беспокоить.

Подавленная и ослабевшая, она в самом деле казалась совершенно больной. Она пробормотала:

— Стоит нажать немного, и молоко брызнет, как из фонтана. Это прямо любопытно видеть. Никто бы не поверил. В Казале все соседи приходили глазеть на меня.

Он сказал:

— Ну! В самом деле?

— Да, в самом деле. Я бы вам показала, но это нисколько мне не поможет. Таким манером много не сцедишь.

И она умолкла.

Поезд задержался на какой-то станции. Возле решетки стояла женщина с плачущим ребенком на руках. Женщина была худа и одета в лохмотья.

Кормилица смотрела на нее. Голосом, полным сострадания, она произнесла:

— Вот нужду ее я могла бы облегчить. А малютка облегчил бы меня. Знаете, небогата ведь я, если бросила дом, всех родных и моего дорогого крошку, чтобы поступить на место; но я охотно отдала бы сейчас пять франков, чтобы заполучить этого ребенка на десять минут и дать ему грудь. Это успокоило бы и его и меня. Мне кажется, я бы воскресла.

Она опять замолчала. Затем несколько раз провела пылающей рукой по лбу, с которого струился пот, и простонала:

— Не могу больше терпеть. Кажется, сейчас умру.

И бессознательным движением она совершенно распахнула платье.

Правая грудь, большая, вздутая, с коричневым соском, выступила наружу. Бедная женщина стонала:

— Ах, боже мой! Ах, боже мой! Что мне делать?

Поезд снова тронулся и продолжал свой путь среди цветов, испускавших теперь, как всегда в теплые вечера, одуряющий аромат. Иногда в окно было видно рыбачью лодку, словно уснувшую на поверхности синего моря под неподвижным белым парусом; ее отражение в воде казалось другой лодкой, опрокинутой вверх дном.

Молодой человек смущенно пролепетал:

— Но... сударыня... я мог бы вас... вас облегчить.

Она ответила изнемогающим голосом:

— Да, пожалуйста. Вы мне окажете большую услугу. Я не могу больше выдержать, не могу.

Он встал перед ней на колени, а она наклонилась над ним и привычным движением кормилицы поднесла к его рту темный сосок груди. При движении, которое она сделала, взяв обеими руками грудь, чтобы протянуть ее этому человеку, капля молока показалась на соске. Он живо выпил ее, поймав губами тяжелую грудь, словно какой-то плод. И стал сосать жадно и равномерно.

Он обхватил обеими руками талию женщины, сжимая ее, чтобы приблизить к себе, и пил медленными глотками, по-ребячьи двигая шеей.

Наконец она сказала:

— Для этой достаточно, берите теперь другую.

И он послушно взял другую.

Она положила обе руки ему на спину и теперь дышала свободно, с облегчением, наслаждаясь ароматом цветов и веянием ветерка, проникавшим в вагон благодаря движению поезда.

Она сказала:

— Здесь очень хорошо пахнет.

Он не ответил, продолжая пить из этого живого источника, закрыв глаза, словно для того, чтобы лучше распробовать вкус.

Но она тихонько отстранила его.

— Теперь довольно. Я чувствую себя лучше. Это вернуло меня к жизни.

Он поднялся, отирая рукою рот.

Засовывая снова в платье две живые фляги, вздувавшие ей корсаж, она сказала:

— Вы мне оказали громадную услугу. Я очень вам благодарна, сударь.

Он ответил с признательностью в голосе:

— Это я должен вас благодарить, сударыня: вот уже два дня, как я ничего не ел.

ВЕРЕВОЧКА

Гарри Алису

В Годервиле был базарный день, и туда, заполняя все дороги, двигались крестьяне с женами. Мужчины мерно шагали, подаваясь всем корпусом вперед при каждом движении длинных кривых ног, изуродованных тяжелыми работами. Изнурительный крестьянский труд отразился на всем их облике: от налегания на плуг согнулся позвоночник, а левое плечо поднялось выше правого; от косьбы искривились колени. На мужчинах были синие блузы, накрахмаленные до блеска, как будто покрытые лаком; по обшлагам и по вороту шел незатейливый узор, вышитый белыми нитками. На их костлявом туловище блуза эта топорщилась и походила на готовый улететь воздушный шар, из которого торчали голова, руки и ноги.

Крестьяне вели на веревке кто корову, кто теленка. А жены их шли позади скотины и, подгоняя ее, хлестали по бокам свежесрезанными ветками, с которых еще не опала листва. На руках у женщин висели широкие корзины, и оттуда то и дело высовывались головы цыплят либо уток. Шли они более мелкими и быстрыми шагами, чем их мужья; их тощие плечи были окутаны коротенькой узкой шалью, заколотой булавкой на плоской груди; голову прикрывала белая косынка, туго стягивавшая волосы, а поверх был надет чепец.

Иногда проезжал шарабан, лошаденка бежала неровной рысцой, и от этого как-то чудно раскачивало

двух мужчин, сидевших рядом, и женщину позади них, которая держалась за край шарабана, чтобы ослабить резкие толчки на ухабах.

На площади Годервиля была невозможная давка, толчея, скопище людей и животных. Рога быков, мохнатые шляпы богатых крестьян, чепцы крестьянок словно парили над толпой. Крикливые, пронзительные, визгливые голоса сливались в непрерывный дикий гам, а временами его покрывал зычный возглас, вырвавшийся из мощной груди подвыпившего крестьянина, или протяжное мычание коровы, привязанной где-нибудь у забора. От толпы шел смешанный запах хлева, молока и навоза, сена и пота, едкий, неприятный запах скотины и человека, присущий жителям деревни.

Дядюшка Ошкорн из Бреоте только что пришел в Годервиль и направился на площадь, как вдруг заметил на земле небольшой кусок веревки. Дядюшка Ошкорн — скопидом, как истый нормандец, подбирал все, что может пригодиться в хозяйстве; он страдал ревматизмом и потому наклонился с трудом. Подняв валявшийся на земле обрывок веревки, он уже намеревался было заботливо свернуть его, как вдруг увидел, что на пороге своего дома стоит шорник Маланден и смотрит на него. Они когда-то давно поссорились из-за недоуздка, да так и не помирились, так как были оба злопамятны. Дядюшка Ошкорн был смущен, что его недруг видел, как он рылся в грязи, поднимая бечевку. Он поспешно спрятал находку за пазуху, потом переложил ее в карман штанов и стал шарить по земле, делая вид, будто еще что-то ищет, но не находит. Затем побрел в сторону базара, вытянув вперед шею, сутулясь от боли. Он сразу затерялся в колыхавшейся крикливой толпе, возбужденной нескончаемым торгом. Крестьяне щупали коров, отходили, возвращались в нерешительности, боясь, как бы их не надули, не могли отважиться на покупку, подозрительно поглядывали на продавца, изо всех сил стараясь разгадать, в чем хитрость человека и изъян животного.

Женщины поставили у ног большие свои корзины, вытащили оттуда свой товар; теперь птицы лежали неподвижно со связанными лапками, поглядывая

испуганными глазами, а гребешки алели на земле.

Крестьянки сухо и бесстрастно выслушивали предлагаемую цену, долго не шли на уступки и, вдруг решившись сбавить, кричали вдогонку медленно удалявшемуся покупателю:

— Будь по-вашему, кум Антим! Берите!

Постепенно площадь пустела, и в полдень, когда в церкви зазвонили к молитве богородице, все приехавшие издалека отправились в трактир обедать.

Большая зала у Журдена была переполнена посетителями, а обширный двор — всякого рода повозками: здесь стояли тележки, кабриолеты, шарабаны, тильбюри, невиданные двуколки; пожелтевшие от глины, погнутые, заплатанные, они то поднимали оглобли к небу, точно руки, то стояли, уткнувшись дышлом в землю, кузовом вверх.

Как раз напротив посетителей, разместившихся вокруг стола, ярким пламенем горел громадный очаг и обдавал жаром спины гостей, сидевших направо. Над очагом вращались три вертела, на которых были густо нанизаны цыплята, голуби, бараньи окорока; от заманчивого запаха жареного мяса и мясного сока, стекавшего по зарумянившейся корочке, у присутствующих текли слюнки и на душе становилось веселее.

Вся сельская знать обедала здесь, у ловкого пройдохи кума Журдена, трактирщика и барышника, у которого водились денежки. Блюда подавались и опустошались, как и жбаны с золотистым сидром. Гости беседовали о делах, о покупках и продажах. Говорили о видах на урожай: для кормов погода хороша, а для хлебов надо бы поменьше дождей.

Вдруг во дворе перед домом затрещал барабан. Кроме нескольких равнодушных, все сразу вскочили и бросились к дверям и окнам с еще набитым ртом и с салфетками в руках.

Отбарабанив, сельский глашатай стал отрывисто выкрикивать, делая нелепые паузы:

— Доводится до сведения жителей Годервиля и вообще... всех присутствующих на базаре... что сегодня утром на Безевильской дороге между... девятью и деся-

тью часами... потерян черный кожаный бумажник, в котором... было пятьсот франков и документы. Находку просят немедленно... доставить... в мэрию или же вернуть Фортюне Ульбреку из Манневиля. Будет дано... двадцать франков вознаграждения.

Глашатай ушел. Еще раз, уже издали, донеслась барабанная дробь и его отрывистые выкрики.

Все засуетились, начали судачить о случившемся и гадать, повезет ли дядюшке Ульбреку, найдется ли его бумажник.

Обед закончился.

Когда гости допивали кофе, на пороге залы появился жандармский бригадир.

Он спросил:

— Гражданин Ошкорн из Бреоте здесь, в зале?

Дядюшка Ошкорн, сидевший на другом конце стола, ответил:

— Я тут.

Бригадир продолжал:

— Гражданин Ошкорн, прошу вас следовать за мной в мэрию. Господин мэр желает с вами побеседовать.

Удивленный и встревоженный крестьянин одним глотком опорожнил свой стаканчик, поднялся и, еще больше сгорбившись, чем утром,— ему всегда были особенно трудны первые шаги после передышки,— собрался в путь, повторяя:

— Я тут! Я тут!

И пошел за бригадиром.

Мэр ждал его, сидя в кресле. Это был местный нотариус, человек тучный, важный, любитель витиеватых фраз.

— Господин Ошкорн,— сказал он,— сегодня утром люди видели, как вы подняли на Безевильской дороге бумажник, утерянный Ульбреком из Манневиля.

Озадаченный крестьянин смотрел на мэра, испугавшись выдвинутого против него обвинения, не понимая, откуда оно взялось.

— Это я, я поднял бумажник?

— Да, именно вы.

— Честное слово, знать ничего не знаю!

— Люди видели.

— Кто же это меня видел?

— Шорник Маланден.

Тогда старик вспомнил, понял и покраснел от гнева.

— Ах, он видел, нахал этакий! Да ведь видел-то он, как я поднял веревочку, вот она, посмотрите, господин мэр!

И, порывшись в кармане, он вытащил оттуда обрывок веревки.

Мэр недоверчиво покачал головой.

— Никогда не поверю, гражданин Ошкорн, чтобы господин Маланден, человек положительный, принял эту веревочку за бумажник!

Взбешенный крестьянин сплюнул в сторону, поднял руку, как бы присягая в своей честности, и повторил:

— Ей-богу, вот вам крест, истинная правда! Чем хотите поклянусь, господин мэр!

Мэр продолжал:

— Подняв вышеназванный предмет, вы еще долго рылись в грязи, искали, не закатились ли куда-нибудь монеты...

У старика захватило дух от страха и негодования.

— Такое сказать! Такое сказать, оболгать, оклеветать честного человека! Такое сказать!

Но сколько он ни оправдывался, ему не верили.

Устроили очную ставку с Маланденом; шорник повторил и подтвердил свое обвинение. Они переругивались битый час. Ошкорна обыскали по его просьбе и ничего не нашли.

Мэр был сильно озадачен и, наконец, отпустил Ошкорна, предупредив, что уведомит прокуратуру о случившемся и будет ждать распоряжений.

Новость быстро облетела городок. Когда старик выходил из мэрии, его окружили и стали расспрашивать — одни из сочувствия, другие, желая позубоскалить, но все одинаково добродушно и безобидно. Старик принялся рассказывать свою историю о веревочке. Ему никто не верил. Его подымали на смех.

По дороге к нему подходили знакомые, расспрашивали его, и он без конца повторял свой рассказ, клялся, что его оклеветали, выворачивал наизнанку карманы, показывая, что они пусты.

В ответ он слышал:

— Рассказывай, старый плут!

Он сердился, волновался, горячился, приходил в отчаяние, не знал, как ему избавиться от подозрения, и всем повторял историю о веревочке.

Наступил вечер. Надо было отправляться домой. Он пошел с тремя соседями, показал им место, где поднял обрывок бечевки, и всю дорогу говорил только о случившемся.

Придя домой, в тот же вечер он обошел всю деревню Бреоте и поспешил всех осведомить о своей беде, но никто ему не верил.

Ночью он расхворался от волнений.

На следующий день, в первом часу дня, Мариус Помель, работник с фермы дядюшки Бретона из Имовиля, принес Ульбреку из Манневиля его бумажник со всем содержимым.

Помель утверждал, что нашел этот бумажник на дороге; не умея читать, он принес его домой и отдал своему хозяину.

Весть об этом распространилась по всей округе, дошла и до дядюшки Ошкорна. Тот обрадовался и тотчас же отправился повторять всем свою историю с добавлением развязки. Теперь он торжествовал.

— Понимаете вы, не самая напасть меня тяготила, а вранье. Хуже нет, как тебя оболгут понапрасну!

Весь день он только и говорил о своем приключении, рассказывал о нем всем прохожим на дороге, в кабачках — посетителям, в воскресенье на паперти — прихожанам. Останавливал незнакомых, рассказывал и им. Правда, он несколько успокоился, но все же что-то смутно тревожило его. Слушая его, все как будто подсмеивались. Казалось, никого он не убедил в своей правоте. И чудилось ему, что за спиной о нем злословят.

На следующей неделе, во вторник, он отправился в Годервиль на базар, нарочно, чтобы рассказать о случившемся.

Маланден, который стоял у ворот своего дома, увидя его, расхохотался. Почему бы?

Дядюшка Ошкорн пристал к одному фермеру из Крикето, но тот, не дослушав, хлопнул его по животу, крикнув прямо в лицо:

— Ладно, ладно, старый плут! — И повернулся к нему спиной.

Дядюшка Ошкорн был крайне поражен и совсем разволновался. Почему тот обозвал его «старым плутом»?

В трактире у Журдена за обедом он принялся объяснять, как было дело. Тогда барышник из Монтевиля крикнул ему:

— Будет тебе, старый ловкач, знаем мы твою веревочку!

Ошкорн пробормотал:

— Ведь бумажник-то нашелся.

— Помалкивай, отец, один нашел, другой подкинул. И все шито-крыто.

Крестьянина будто обухом по голове ударило. Наконец-то ему все стало ясно! Его обвиняли в том, что бумажник был подкинут его помощником, его сообщником!

Он открыл рот, хотел было возразить, но все сидевшие за столом захохотали.

Не окончив обеда, он встал из-за стола и ушел под градом насмешек.

Домой он вернулся сконфуженный, возмущенный, вне себя от гнева, удрученный, особенно еще и потому, что по свойственному нормандцам лукавству и хитрости был вполне способен выкинуть такую ловкую штуку да вдобавок похвастаться ею при случае. Хитрость его была всем известна, и он смутно сознавал, что не в силах будет доказать свою невиновность. А несправедливость подозрения тяготила его.

И он снова рассказывал о происшедшем, каждый день удлиняя свой рассказ, добавляя все новые и новые доводы, все более убедительные возражения, клятвы его звучали все торжественнее,— все это он придумывал и подготовлял на досуге; его ум был всецело занят историей о веревочке. Чем сложнее и хитроумнее были его оправдания, тем меньше ему верили.

— Это все вранье,— говорили за его спиной.

Он чувствовал всеобщее недоверие, изводился, надрывался от бесплодных усилий и таял на глазах.

А шутники, забавляясь, заставляли дядюшку Ошкорна без конца рассказывать о веревочке, как поощряют солдат без устали хвастаться своими подвигами на войне. Потрясенный рассудок бедного нормандца угасал.

В конце декабря он слег.

В начале января старик умер; в предсмертном бреду он все еще доказывал свою невиновность, твердя:

— Веревочка... маленькая веревочка... да вот же она, господин мэр!

ГАРСОН, КРУЖКУ ПИВА!..

Хосе-Мария де Эредиа

Почему я зашел в этот вечер в пивную? Сам не знаю. Было холодно. От мелкого дождя, сеявшего водяную пыль, газовые рожки, казалось, были окутаны прозрачной дымкой, а тротуары блестели, отражая витрины, бросавшие свет на жидкую грязь и забрызганные ноги прохожих.

Я бродил без всякой цели. Мне вздумалось немного погулять после обеда; я прошел мимо здания Лионского кредита, по улице Вивьен, еще по каким-то улицам. Вдруг я заметил большую пивную, где было не очень людно, и вошел без определенного намерения. Мне вовсе не хотелось пить.

Оглядевшись, я отыскал угол посвободнее и присел за столик рядом с пожилым человеком, курившим дешевую глиняную, черную, как уголь, трубку. Шесть или семь стеклянных блюдец, стоявших стопкой перед ним, указывали количество уже выпитых им кружек. Я не стал разглядывать своего соседа. Я сразу понял, что передо мною любитель пива, один из тех завсегдатаев, которые приходят с утра, когда пивную открывают, и уходят вечером, когда ее закрывают. Он был неопрятен, с плешью на темени; сальные, седеющие пряди волос падали на воротник сюртука. Слишком широкая одежда, очевидно, была сшита еще в те времена, когда он обладал брюшком. Чувствовалось, что брюки плохо на нем держатся и он не может сделать и десяти

шагов без того, чтобы не подтянуть эту плохо прилаженную часть костюма. Был ли на нем жилет? Одна мысль о его башмаках и о том, что они прикрывают, бросала меня в дрожь. Обтрепанные манжеты заканчивались совершенно черной каемкой, так же, как и ногти.

Как только я сел, мой сосед самым невозмутимым тоном спросил меня:

— Как живешь?

Я резко повернулся к нему и стал в него вглядываться.

Он снова спросил:

— Не узнаешь меня?

— Нет.

— Де Барре.

Я остолбенел. Это был граф Жан де Барре, мой старый товарищ по коллежу.

В замешательстве я протянул ему руку, не зная, что сказать.

Наконец я пробормотал:

— А ты как живешь?

Он ответил все так же невозмутимо:

— Я? Живу, как умею.

Он умолк.

Я подыскивал какую-нибудь любезную фразу.

— Ну, а... что ты делаешь?

Он равнодушно ответил:

— Ты же видишь.

Я почувствовал, что краснею, и пояснил:

— Нет, обычно?

Выпуская густые клубы дыма, он сказал:

— Каждый день одно и то же.

Затем, постучав по мраморной доске столика серебряной монетой, валявшейся тут же, он крикнул:

— Гарсон, две кружки!

Голос вдалеке повторил: «Две кружки на четвертый!» И другой, еще дальше, отозвался: «Даю!» Потом появился официант в белом переднике; он нес две кружки, расплескивая на ходу пену, которая падала желтыми хлопьями на усыпанный песком пол.

Де Барре разом опорожнил кружку и поставил ее на стол, обсасывая пену с усов.

Затем он спросил:

— Ну, что нового?

Я, право, не знал, что рассказать ему нового, и пробормотал:

— Да ничего, дружище. Я стал коммерсантом...

Он произнес все тем же безразличным голосом:

— И это... тебе по вкусу?

— Нет, не могу сказать. Но надо же что-нибудь делать.

— А зачем?

— Да так... Надо же иметь занятие.

— А для чего это, собственно, надо? Вот я ничего не делаю, как видишь, совсем ничего. Я понимаю, что нужно работать, когда нет ни гроша. Но если у человека есть средства, это ни к чему. Зачем работать? Ты что же, делаешь это для себя или для других? Если для себя,— значит, тебе это нравится, тогда все великолепно; но если ты стараешься для других,— это просто глупо.

Положив свою трубку на мраморную доску, он снова крикнул:

— Гарсон, кружку пива! — И продолжал: — Разговор вызывает у меня жажду. Отвык. Да, вот я ничего не делаю, на все махнул рукой, старею. Перед смертью я ни о чем не буду жалеть. У меня не будет других воспоминаний, кроме этой пивной. Ни жены, ни детей, ни забот, ни огорчений — ничего. Так лучше.

Он осушил кружку, которую ему принесли, провел языком по губам и снова взялся за трубку.

Я смотрел на него с изумлением, потом спросил:

— Но ты ведь не всегда был таким?

— Нет, извини, всегда, с самого коллежа.

— Да это же не жизнь, голубчик. Это ужас. Сознайся, хоть что-нибудь ты делаешь, любишь хоть что-нибудь? Есть у тебя друзья?

— Нет. Я встаю в полдень, прихожу сюда, завтракаю, пью пиво, сижу до вечера, обедаю, пью пиво; в половине второго ночи я возвращаюсь домой, потому что пивную закрывают. Вот это самое неприятное. Из последних десяти лет не меньше шести я провел на этом диванчике в углу. А остальное время — в своей кро-

вати, больше нигде. Изредка я беседую с завсегдатаями пивной.

— Но что ты делал вначале, когда приехал в Париж?

— Изучал право... в кафе Медичи.

— Ну, а затем?

— Затем перебрался на эту сторону Сены и обосновался здесь.

— А чего ради ты перекочевал сюда?

— Нельзя же в самом деле прожить всю жизнь в Латинском квартале. Студенты слишком шумный народ. Теперь я уж больше никуда не двинусь. Гарсон, кружку пива!

Я решил, что он смеется надо мной, и продолжал допытываться:

— Ну, скажи откровенно: ты перенес какое-нибудь горе, может быть, несчастную любовь? Право же, у тебя вид человека, убитого горем. Сколько тебе лет?

— Тридцать три. А на вид не меньше сорока пяти.

Я внимательно посмотрел на него. Морщинистое, помятое лицо его казалось почти старческим. На темени сквозь редкие длинные волосы просвечивала кожа сомнительной чистоты. У него были косматые брови, длинные усы и густая борода. Внезапно, не знаю почему, мне представилось, какая грязная вода была бы в тазу, если бы промыть в нем всю эту щетину.

Я сказал:

— Да, верно, ты на вид старше своих лет. Несомненно, у тебя было какое-то горе.

Он ответил:

— Уверяю тебя, никакого. Я постарел оттого, что никогда не бываю на воздухе. Ничто не подтачивает так человека, как постоянное сидение в кафе.

Я никак не мог ему поверить.

— Тогда ты, должно быть, покутил порядком? Нельзя же так облысеть, не отдав обильную дань любви.

Он спокойно покачал головой, и при этом с его редких волос на плечи посыпалось множество белых чешуек перхоти.

— Нет, я всегда был благоразумен.

И, подняв лицо к рожку, гревшему нам головы, он добавил:

— Я облысел только от газа. Он злейший враг волос... Гарсон, кружку пива! А ты не выпьешь?

— Нет, спасибо. Но, право, ты меня поражаешь. С каких пор ты впал в такое уныние? Ведь это ненормально, противоестественно. Должна же быть какая-нибудь особая причина?

— Да, пожалуй. Толчок был дан в детстве. Я перенес сильное потрясение, когда был еще ребенком. И это навсегда омрачило мою жизнь.

— Что же это было?

— Хочешь знать? Изволь. Ты, должно быть, хорошо помнишь поместье, где я вырос. Ведь ты приезжал ко мне раз пять или шесть во время каникул. Помнишь наш большой серый дом, огромный парк вокруг него и длинные, расходящиеся крестом дубовые аллеи? Наверно, ты помнишь и моих родителей — они были такие церемонные, важные и строгие.

Я боготворил свою мать, побаивался отца и почитал их обоих; к тому же я видел, как все вокруг гнут перед ними спину. Для всей округи они были «господин граф» и «госпожа графиня»; да и соседи тоже, Танмары, Равеле и Бренвили, относились к ним всегда с глубоким уважением.

Мне было тогда тринадцать лет. Я был весел, доволен всем, жизнерадостен, как и полагается в этом возрасте.

Однажды в конце сентября, за несколько дней до возвращения в коллеж, я играл в волка и прыгал среди деревьев в чаще парка; перебегая аллею, я заметил моих родителей — они прогуливались по парку.

Я помню все так ясно, точно это было вчера. День выдался очень ветреный. При каждом порыве ветра стройные ряды деревьев гнулись, скрипели и стонали — глухо, протяжно, как стонет лес во время бури. Сорванные листья, уже пожелтевшие, взлетали, точно птицы, кружились, падали и неслись по аллеям, как проворные зверьки.

Надвигался вечер. В чаще было уже темно. Ветер бушевал в ветвях, возбуждал, будоражил меня, и я скакал, как бешеный, и отчаянно выл, подражая волку.

Увидев родителей, я начал тихонько подкрадываться к ним, прячась за деревьями, как настоящий лесной бродяга.

Но в нескольких шагах от них я остановился в испуге. Мой отец вне себя от ярости злобно кричал:

— Твоя мать — просто дура; не в твоей матери дело, а в тебе. Мне нужны эти деньги, я требую, чтобы ты подписала.

Мама ответила твердым голосом:

— Нет, я не подпишу. Это деньги Жана. Я не допущу, чтобы ты промотал их с девками и горничными. Довольно, что ты растратил на них свое собственное состояние.

Тогда отец, дрожа от бешенства, повернулся и, схватив мать одной рукой за горло, другой начал бить ее изо всех сил прямо по лицу.

Мамина шляпа свалилась, волосы в беспорядке рассыпались: она пыталась заслониться от ударов, но это ей не удавалось. А отец, как сумасшедший, все бил и бил. Она упала на землю, защищая лицо обеими руками. Тогда он повалил ее на спину и продолжал бить, стараясь отвести ее руки, чтобы удары приходились по лицу.

А я... мне казалось, мой дорогой, что наступил конец света и все незыблемые основы бытия пошатнулись. Я был потрясен, как бывает потрясен человек перед лицом сверхъестественных явлений, страшных катастроф, непоправимых бедствий. Мой детский ум мутился. И я, не помня себя, начал пронзительно кричать от страха, боли, невыразимого смятения. Отец, услышав мои крики, обернулся, увидел меня и, поднявшись с земли, шагнул ко мне. Я подумал, что он хочет убить меня, и, точно затравленный зверь, бросился бежать, не разбирая дороги, напрямик, в самую чащу леса.

Я бежал час, может быть, два — не знаю. Наступила ночь; я упал на траву, оглушенный, измученный страхом и тяжелым горем, способным навсегда сокрушить хрупкое детское сердце. Мне было холодно; я, вероятно, был голоден. Настало утро. Я не решался встать, идти, вернуться или бежать куда-нибудь дальше, я боялся встретиться с отцом, которого не хотел больше видеть.

Пожалуй, я так и умер бы под деревом от отчаяния и голода, если бы меня не заметил здесь лесник и не отвел силой домой.

Я нашел родителей такими же, как всегда. Мать только сказала: «Как ты напугал меня, гадкий мальчик, я не спала всю ночь». Я ничего не ответил и только заплакал. Отец не произнес ни слова.

Неделю спустя я уехал в коллеж.

И вот, милый друг, все было кончено для меня. Я увидел оборотную сторону жизни, ее изнанку; и с того самого дня лучшая ее сторона перестала существовать для меня. Что произошло в моей душе? Какая сила опрокинула все мои представления? Не знаю. Но с тех пор я потерял всякий вкус к жизни, ничего не хочу, никого не люблю, ни к чему не стремлюсь, и нет у меня ни желаний, ни честолюбия, ни надежд. Я все вспоминаю мою бедную маму на земле, посреди аллеи, и отца, осыпающего ее ударами... Мама умерла через несколько лет. Отец еще жив. Но с тех пор я его не видел... Гарсон, кружку пива!

Ему принесли кружку. Он выпил ее залпом. Потом взял трубку, но руки его так сильно дрожали, что он сломал ее. Тогда, с досадой махнув рукой, он воскликнул:

— Ну, что вы скажете! Вот это настоящая беда! Теперь понадобится целый месяц, чтобы обкурить новую трубку.

И через весь большой зал, теперь уже наполненный дымом и посетителями, пронесся его неизменный возглас:

— Гарсон, кружку пива!.. И новую трубку!

КРЕСТИНЫ

Гийеме

У крыльца фермы стояла в ожидании кучка повоскресному разодетых мужчин. Майское солнце заливало яркими лучами цветущие яблони, похожие на огромные бело-розовые ароматные букеты и осенявшие двор цветочным навесом. Крохотные лепестки непрестанно осыпались с ветвей, порхали и кружились, как снежинки, падая в густую траву, где одуванчики пылали огоньками, а венчики мака казались каплями крови.

Развалившись на куче навоза, дремала свинья с огромным брюхом и набухшими сосками, а кругом сновал целый выводок поросят с закрученными хвостиками.

Но вот где-то за деревьями фермы раздался звон церковного колокола. Его металлический голос бросал в сияющее небо слабый, отдаленный призыв. Ласточки, как стрелы, прорезали голубой простор, который с двух сторон замыкали высокие, неподвижно застывшие буки. Порой доносился запах хлева, примешиваясь к нежному, сладкому дыханию яблонь.

Один из стоявших у крыльца мужчин повернулся к дому и крикнул:

— Скорее, скорее, Мелина, уже заблаговестили!

На вид ему было лет тридцать. Это был рослый крестьянин, еще статный и не обезображенный долгими годами полевых работ. Старик, его отец, весь узловатый, как дубовый ствол, с корявыми руками и искривленными ногами, заявил:

— Уж эти мне женщины! Никогда не поспеют к сроку.

Два других брата засмеялись, и один из них, повернувшись к старшему, который только что позвал женщин, сказал:

— Сходи-ка за ними, Полит, а не то они будут мешкать до полудня.

И молодой крестьянин вошел в дом.

Стая уток, остановившаяся неподалеку от крестьян, закрякала, хлопая крыльями; потом медленно, вразвалку направилась к луже.

Но вот в открытых дверях показалась толстая повивальная бабка, неся на руках двухмесячного ребенка. Концы ее высокого белого чепца свешивались на спину, резко выделяясь на красной шали, пылавшей, точно пожар; завернутый в белоснежные пеленки младенец покоился на ее объемистом животе.

Затем появилась молодая мать, высокая и крепкая, лет восемнадцати, не более, свежая и улыбающаяся; она шла под руку с мужем. За ними следовали две бабушки, с лицом, сморщенным, как вялое яблоко, сгорбленные, с натруженной поясницей, надорванной долголетним усердным и тяжким трудом. Одна из них была вдова; она взяла под руку дедушку, стоявшего у крыльца, и они двинулись во главе кортежа, вслед за младенцем, которого несла повивальная бабка. За ними тронулись остальные члены семьи. Самые младшие несли бумажные кульки, полные конфет.

Вдалеке небольшой колокол звонил без устали, что есть силы призывая хрупкого малютку, которого ждали в церкви. Мальчишки взбирались на насыпи вдоль канав, взрослые подбегали к заборам; работницы с фермы останавливались поглазеть на крестины, поставив на землю ведра, до краев полные молока.

А повивальная бабка торжественно несла свою живую ношу, обходя лужи в выбоинах дороги, которая тянулась между склонами обсаженных деревьями холмов. Старики выступали церемонно, их старые, больные ноги слегка заплетались, а молодым парням хотелось поплясать, и они заглядывались на девушек, прибежавших посмотреть на шествие; молодые супруги шли важно, с серьезными лицами, сопровождая ребенка, который в свое время заменит их в жизни и продол-

жит в округе их имя — хорошо известное по всему кантону имя Дантю.

Они вышли на равнину и двинулись напрямик через поля, сокращая дорогу.

Вот показалась и церковь с островерхой колокольней. Под ее шиферной крышей в сквозном проеме что-то быстро двигалось взад и вперед, мелькая в узкой амбразуре. Это был колокол, он все звонил и звонил, приглашая новорожденного войти в первый раз в жизни в дом господа бога.

За ними увязалась собака. Ей бросали конфеты, а она весело прыгала вокруг людей.

Церковные двери были открыты. Священник, высокий рыжеволосый молодец, худощавый и крепкий, тоже Дантю, приходившийся дядей ребенку и братом его отцу, ожидал перед алтарем. И, совершив обряд, он нарек своего племянника Проспером-Сезаром, причем малютка принялся плакать, отведав символической соли.

Когда церемония окончилась, все семейство подождало у порога церкви, пока аббат снимет стихарь, затем отправилось в обратный путь. Теперь шли быстро, потому что у всех на уме был праздничный обед. Окрестные ребятишки следовали за ними, и всякий раз, как им бросали горсть конфет, поднималась отчаянная свалка, летели клочьями вырванные волосы; собака тоже бросалась в общую кучу, чтобы захватить лакомство, ее оттаскивали за хвост, за уши, за лапы, но она была упорнее детворы.

Повивальная бабка, немного уставшая, сказала аббату, который шел рядом с ней:

— Послушайте, господин кюре, не можете ли вы подержать малость вашего племянника, пока я разомнусь, а то у меня колики в желудке.

Священник взял ребенка; белое крестильное платьице резким пятном выделялось на его черной сутане; он поцеловал малютку; его смущала эта легкая ноша, ибо он как следует не умел ни держать, ни положить младенца. Все засмеялись. Одна из бабушек крикнула издали:

— А признайся-ка, аббат, тебе не жалко, что у тебя-то никогда не будет такого?

Священник ничего не ответил. Он шел большими шагами, неотрывно глядя на голубоглазого крошку, и ему так хотелось еще раз поцеловать круглые щечки. Он не удержался и, приподняв головку младенца, крепко поцеловал его долгим поцелуем.

Отец воскликнул:

— Знаешь что, кюре, если тебе вздумается завести своего, скажи только — и дело с концом.

И все принялись шутить, как обычно шутят крестьяне.

Как только уселись за стол, грубое деревенское веселье разразилось, словно буря. Два других сына тоже собирались жениться; присутствовали и их невесты, приглашенные на обед; гости то и дело отпускали игривые намеки насчет будущего потомства, которое произойдет от этих браков.

Девушки краснели и хихикали, слушая грубоватые остроты, пересыпанные крепкими словечками. Мужчины корчились от хохота и с громкими возгласами барабанили кулаками по столу. Отец и дедушка изощрялись в непристойных шутках. Мать улыбалась. Старухи принимали участие в общем веселье, зубоскалили.

Священник, привычный к мужицкому разгулу, невозмутимо сидел рядом с акушеркой, трогая пальцем крохотный ротик своего племянника, чтобы заставить его улыбнуться. Казалось, его поразил этот ребенок, словно он никогда раньше не видел детей. Он рассматривал его задумчиво и пристально, мечтательно и серьезно, и в нем просыпалась нежность, ранее ему незнакомая, странная, пылкая и немного грустная нежность, к этому маленькому хрупкому созданию, сыну его брата.

Он ничего не видел, ничего не слышал, поглощенный созерцанием младенца. Ему хотелось снова взять его к себе на колени, так как у него в груди и в сердце сохранилось то сладостное ощущение, испытанное им, когда он нес ребенка из церкви. Он чувствовал умиление перед этой человеческой личинкой, словно коснувшись какой-то несказанной тайны, о которой он раньше никогда не помышлял,— торжественной и священной тайны воплощения новой души, великой тайны зарож-

дения жизни, пробуждения любви, продолжения расы, рода человеческого, который вечно идет вперед.

Повивальная бабка, вся красная, с блестящими глазами, жадно ела, а ребенок ее стеснял,— из-за него она не могла вплотную придвинуться к столу.

Аббат сказал:

— Дайте его мне. Я не голоден.

Он снова взял дитя, и все разом исчезло у него из глаз, все стерлось: перед ним было только это розовое, пухленькое личико. Тепло маленького тельца, постепенно проникая сквозь пеленки и сукно сутаны, согревало ему колени, и он ощущал это тепло как легкую, добрую, чистую ласку, чудесную ласку, вызывающую слезы на глазах. Шум за столом все возрастал, сделался оглушительным. Ребенок, испуганный этим гамом, заплакал.

Кто-то из гостей крикнул:

— Слушай, аббат, покорми-ка его грудью!

Раскаты смеха потрясли залу. Но мать встала, взяла своего сыночка и унесла в соседнюю комнату. Через несколько минут она вернулась и сообщила, что ребенок спокойно спит в колыбели.

Пиршество продолжалось. Мужчины и женщины по временам выходили во двор, потом возвращались и вновь усаживались за стол. Говядина, овощи, сидр и вино поглощались в несметном количестве, животы раздувались, глаза горели, мысли путались. Начинало уже смеркаться, когда принялись за кофе. Священник давно исчез куда-то, но никто и не заметил его отсутствия.

Наконец молодая мать встала, чтобы посмотреть, спит ли ребенок. Уже совсем стемнело. Она вошла в комнату и продвигалась ощупью, протянув перед собой руки, чтобы не наткнуться на мебель. Вдруг она услышала какие-то странные звуки и остановилась: ей показалось, что там кто-то шевелится. Бледная, дрожащая, она вернулась в залу и рассказала, что с ней было. Мужчины переполошились и вскочили все сразу, пьяные и свирепые; муж ее с лампой в руке бросился вперед.

Стоя на коленях возле колыбели, уткнувшись лбом в подушку, на которой покоилась головка ребенка, аббат плакал навзрыд.

СОЖАЛЕНИЕ

Леону Дьерксу

Господин Саваль, которого все в Манте называют «папаша Саваль», только что встал. Грустный осенний день. Моросит дождь. Падают листья. Они падают медленно, и кажется, будто идет другой дождь, более крупный и ленивый. У г-на Саваля невесело на душе. Он шагает по комнате, от камина к окну и обратно, от окна к камину. В жизни бывают порой мрачные дни. А для него теперь все дни будут мрачные: ему шестьдесят два года. Он один как перст, старый холостяк, ни единой близкой души. Как грустно умереть вот так, в полном одиночестве, не видя у своего смертного одра преданного, любящего существа!

Саваль думает о своей жизни, такой пустой и бесцветной. Он вспоминает давно минувшие дни: свое детство, отцовский дом, родителей, потом коллеж, первые выезды в свет, изучение права в Париже. Потом болезнь и смерть отца.

После смерти отца он вернулся из Парижа и поселился с матерью. Как покойно жили они тогда вдвоем, молодой человек и старая женщина, и ничего-то на свете им больше не нужно было. Но вот умерла и мать. Как все-таки печальна жизнь!

Он остался один. А теперь и он вскоре умрет. Он уйдет из жизни, и все для него кончится. Не будет больше на свете г-на Поля Саваля. Как это ужасно! Другие люди будут жить, любить, улыбаться. Да, они

будут веселиться, а его уже не станет. И как это люди могут радоваться, развлекаться, смеяться, когда над всеми нависла угроза неотвратимой смерти! Если бы она, эта смерть, была только чем-то вероятным, еще можно бы на что-то надеяться, но нет, она — сама неизбежность, она так же неотвратима, как ночь после дня.

Если бы, наконец, его жизнь была чем-то заполнена. Если бы он хоть чего-нибудь достиг. Если бы ему пришлось пережить на своем веку интересные яркие события, радости, удачи, всякого рода удовольствия. Но нет, он ничего не изведал. Он только и делал всю жизнь, что спал, вставал, ел в определенные часы и снова ложился спать. И так он дожил до шестидесяти двух лет. Он даже не женился, как другие. А почему? В самом деле, почему же он не женился? Он вполне мог бы жениться, ведь у него были кое-какие средства. Может быть, просто подходящего случая не представилось? Возможно. Но ведь при желании «случай» всегда найдется. Нет, просто он был слишком пассивен. Пассивность была основным пороком, несчастьем всей его жизни, самым большим его недостатком. Сколько людей из-за пассивности упускают свое счастье! Есть натуры, которым все на свете трудно: подняться с постели, двигаться, решиться на что-нибудь, говорить, разобраться в каком-нибудь вопросе.

Он даже не знает, что значит быть любимым. Ни разу на груди его не покоилась женщина в любовном упоении. Он не изведал ни сладостной тоски ожидания, ни дивного трепета при пожатии любимой руки, ни восторга торжествующей страсти.

Какое неземное блаженство преисполняет сердце, когда губы встречаются в первом поцелуе, когда тесное объятие превращает двух страстно влюбленных в единое, безмерно счастливое существо!

Г-н Саваль, в халате, уселся возле камина, протянув ноги к огню.

Да, жизнь его не удалась, решительно не удалась. А ведь и он любил в свое время. Любил тайно, мучительно и, как все, что он делал, пассивно. Да, он любил г-жу Сандр, жену своего старого приятеля Сандра. Ах, если бы он встретил ее до замужества! Уж ей-то он

непременно сделал бы предложение. Но они узнали друг друга слишком поздно: она была уже замужем. И все же как он ее любил, влюбившись без памяти с первого взгляда!

Саваль вспоминал, какое он испытывал волнение всякий раз при встрече с ней и какую печаль при разлуке, вспоминал, сколько бессонных ночей провел в мечтах о ней.

По утрам при пробуждении он бывал влюблен чуточку меньше, чем накануне вечером. Почему бы?

А как она была тогда хороша, как мила, белокурая, кудрявая, хохотунья! Ну разве Сандр ей пара? Теперь ей уже пятьдесят восемь лет. Кажется, она счастлива. Ах, если бы она его тогда полюбила, если бы полюбила! Но почему бы ей было не полюбить его, Саваля, раз он ее любил так безумно?

Если бы она хоть догадывалась! Неужели она так-таки ничего не заметила, ничего не поняла? А что, если бы он тогда признался ей в любви? Как бы она отнеслась к этому, что бы ответила ему?

И Саваль задавал себе все новые и новые вопросы. Он старался воскресить в памяти былое в мельчайших подробностях.

Он припоминал долгие вечера, проведенные им у Сандра за игрой в экарте, когда жена его приятеля была еще молода и так прелестна. Он вспоминал все, что она ему тогда говорила, интонации ее голоса, ее молчаливые улыбки, которые были так красноречивы.

Вспомнились ему и прогулки, которые они совершали втроем по берегам Сены, завтраки на траве в воскресные дни, когда был свободен Сандр, служивший в супрефектуре. И вдруг особенно ярко у него вспыхнуло воспоминание об одной прогулке с нею вдвоем после полудня в рощице возле реки.

Они выехали рано утром, захватив с собой свертки с провизией. Был веселый весенний, пьянящий день. Кругом все благоухало, все дышало счастьем. Птицы щебетали как-то особенно радостно и носились в стремительном полете. Позавтракали на лужайке под ивами у самой реки, которая, казалось, дремала в знойной ласке лучей.

Теплый воздух был напоен ароматами трав и цве-

тов. Все трое жадно, с наслаждением дышали. О, какой это был чудесный день!

После завтрака Сандр уснул, вытянувшись на спине.

— Никогда в жизни я не спал так сладко,— сказал он, пробудившись.

Г-жа Сандр взяла Саваля под руку, и они вдвоем пошли по берегу.

Она опиралась на его руку. Она весело смеялась и говорила:

— Я совсем пьяна, мой друг, ну совсем пьяна!

Он глядел на нее, и его охватывал невольный трепет, он чувствовал, что бледнеет, и боялся, как бы взгляд его не показался ей слишком дерзким, как бы дрожь руки не выдала его тайны.

Она сплела венок из полевых трав и водяных лилий и, надев его на свою кудрявую головку, спросила:

— Нравлюсь я вам вот так?

Он молчал; он не находил слов в ответ, но готов был упасть перед ней на колени. Тогда она рассмеялась каким-то раздраженным смехом и с досадой бросила ему:

— Вот глупый! Ну хоть бы что-нибудь сказал!

А он чуть не плакал, не в силах вымолвить ни слова.

Он вспомнил, как доверчиво она опиралась на его руку. Когда они наклонились, проходя под нависшими ветвями, он почувствовал, как ее нежное ушко прикоснулось к его щеке, и поспешно отстранился, опасаясь, как бы она не подумала, что он сделал это умышленно.

А какой странный взгляд метнула она на него, когда он сказал:

— Не пора ли нам вернуться?

Да, она поглядела на него как-то особенно. Тогда он не придал этому значения, а теперь вот вспомнил.

— Как хотите, друг мой. Вернемся, если вы устали,— отвечала она.

— Да нет,— возразил он,— не то чтобы я устал, но, может быть, Сандр уже проснулся.

Она пожала плечами:

— Конечно, если вы уж так боитесь, как бы не проснулся мой муж,— тогда другое дело. Вернемся!

На обратном пути она была молчалива и уже не опиралась на его руку. Почему бы?

Еще ни разу не задавал себе Саваль такого вопроса. И вот теперь ему вдруг почудилось, что он угадал нечто такое, что до сих пор ему и в голову не приходило.

Неужели же...

Саваль почувствовал, что краснеет, и вскочил в смятении, как будто он помолодел лет на тридцать; и вдруг он услышал, как голос г-жи Сандр произнес: «Я люблю вас». Да полно, возможно ли это? Закравшаяся в душу догадка терзала его. Неужели он и в самом деле проглядел тогда, не понял?

А что, если это так и было, что, если он прошел мимо своего счастья?

И он сказал себе: «Я должен знать! Я не могу оставаться в сомнении. Я должен все узнать».

Он быстро, торопливо оделся, размышляя: «Мне уже шестьдесят два года, ей пятьдесят восемь. Я вполне могу у нее спросить».

И он отправился к ней.

Дом Сандра находился на той же улице, почти против его дома. Он взошел на крыльцо. На стук молотка дверь открыла молоденькая служанка. Она удивилась, увидев его в такой необычный час:

— Так рано, господин Саваль? Уж не случилось ли чего?

— Нет, голубушка,— отвечал Саваль. — Но пойди скажи барыне, что мне очень нужно видеть ее сейчас же.

— А барыня занята, она на кухне варит грушевое варенье на зиму. И, знаете, она не одета.

— Да, да, хорошо, но скажи, что мне нужно поговорить с ней по очень важному делу.

Служанка ушла. Саваль в волнении крупными шагами ходил по гостиной. «Ничего,— успокаивал он себя,— я спрошу ее об этом очень просто, как попросил бы рецепт какого-нибудь блюда. Ведь мне уже шестьдесят два года!»

Но вот отворилась дверь, и она вошла. Теперь это была очень грузная женщина с полными щеками и

звонким смехом. Она шла, широко расставив по локоть голые, липкие от сиропа руки.

— Что с вами, друг мой, уж не больны ли вы? — участливо спросила она.

— Нет, дорогая, я просто хотел спросить вас кое о чем, очень для меня важном. Только обещайте, что ответите мне вполне откровенно.

— Но ведь я же всегда откровенна,— улыбнулась она. — Говорите!

— Ну, так вот. Я полюбил вас с первого взгляда. Догадывались вы об этом?

Она засмеялась, и в голосе ее прозвучали прежние, давно забытые интонации.

— Вот глупый! Да я поняла это с первого же дня.

Саваль задрожал.

— Вы знали?.. Но тогда... — пролепетал он.

Голос его оборвался.

— Тогда... Ну, что тогда? — спросила она.

— Тогда... — продолжал Саваль,— тогда... Ну, как бы вы к этому отнеслись? Что бы вы мне ответили?

Она рассмеялась еще громче. Капли сиропа стекали у нее с пальцев и падали на паркет.

— Я?.. Но ведь вы меня так ни о чем и не спросили. Не самой же мне было признаваться вам!

Он шагнул ближе.

— Скажите... скажите... вы... ведь вы не забыли еще тот день, когда Сандр уснул на траве после завтрака, а мы... мы гуляли вдвоем и дошли до того поворота, помните?..

Он ждал ответа. Она перестала смеяться и посмотрела ему прямо в глаза.

— Ну, разумеется, я помню этот день.

Весь дрожа, он продолжал:

— Так вот... а что, если бы... что, если бы в тот день... если бы я был тогда смелей... Как бы вы поступили?

Она снова улыбнулась беззаботной улыбкой счастливой женщины и звонким голосом, с нотками легкой иронии ответила напрямик:

— Я уступила бы, мой друг.

Потом, покинув его одного, убежала к своему варенью.

Саваль вышел на улицу подавленный, будто на него обрушилось тяжкое горе. Большими шагами, не глядя по сторонам, шел он под дождем куда глаза глядят, не замечая даже, что спускается к реке. Дойдя до Сены, он повернул направо и зашагал вдоль берега. Он шел долго, словно подгоняемый какой-то тайной силой. Он промок до нитки, с его шляпы, размокшей и похожей на мятую тряпку, словно с крыши, стекала вода. А он шел все дальше и дальше и вот очутился на том самом месте, где они завтракали втроем в давно минувший день, воспоминание о котором терзало его душу.

Тут он опустился на траву, под сводом обнаженных ветвей, и заплакал.

МОЙ ДЯДЯ ЖЮЛЬ

Ашилю Бенувилю

Старик нищий с седой бородой попросил у нас милостыню. Мой спутник Жозеф Давранш дал ему пять франков. Это меня удивило. Жозеф сказал:

— Несчастный старик напомнил мне один случай, который я тебе сейчас расскажу. Я никогда его не забуду. Слушай.

Я родом из Гавра. Семья была небогатая, кое-как сводили концы с концами. Отец служил, возвращался из конторы поздно вечером и получал за свой труд гроши. У меня были две сестры.

Необходимость урезывать себя во всем угнетала мою мать, и нередко отцу приходилось выслушивать от нее колкости, скрытые язвительные упреки. Бедняга неизменно отвечал на них жестом, причинявшим мне глубокое страдание. Он проводил ладонью по лбу, словно отирая пот, и не произносил ни слова. Его бессильная печаль передавалась мне. В хозяйстве экономили на чем только могли; никогда не принимали приглашений на обед, чтобы не пришлось в свою очередь звать гостей. Покупали провизию подешевле — то, что залежалось в лавке. Сестры сами шили себе платья и подолгу обсуждали вопрос о покупке тесьмы, стоившей пятнадцать сантимов метр. Изо дня в день мы ели мясной суп и вареную говядину под всевозможными соусами. Говорят, это полезно и питательно. Я предпочел бы что-нибудь другое.

Мне жестоко доставалось за каждую потерянную пуговицу, за разорванные штаны.

Но каждое воскресенье мы всей семьей отправлялись, во всем параде, гулять на мол. Отец, в сюртуке и перчатках, с цилиндром на голове, вел под руку мать, разукрашенную, словно корабль в праздничный день. Сестры обычно были готовы раньше всех и ждали, пока кончатся сборы. Но в последнюю минуту на сюртуке главы семьи всегда обнаруживалось какое-нибудь пятно, не замеченное раньше, и приходилось спешно затирать его тряпочкой, намоченной в бензине.

Надев очки, так как она была близорука, и сняв перчатки, чтобы их не запачкать, мать выводила пятно, а отец стоял, не снимая цилиндра, в одной жилетке и дожидался конца этой процедуры.

Затем торжественно трогались в путь. Впереди под руку шли сестры. Они были на выданье, и родители пользовались случаем показать их людям. Я шел по левую руку матери, отец — по правую. Мне вспоминается величественный вид бедных моих родителей во время этих воскресных прогулок, их застывшие лица, чинная поступь. Они шли размеренным шагом, не сгибая колен, и держались очень прямо, словно от их осанки зависел успех какого-то чрезвычайно важного предприятия.

И каждое воскресенье при виде огромных кораблей, возвращавшихся из дальних, неведомых стран, отец неизменно говорил:

— А вдруг на этом пароходе приехал Жюль! Вот был бы сюрприз!

Дядя Жюль, брат моего отца, некогда приводивший семью в отчаяние, теперь стал единственной ее надеждой. Я с раннего детства слышал рассказы о дяде Жюле и так сроднился с мыслью о нем, что мне казалось, я узнал бы его с первого взгляда. Его прошлое до самого отъезда в Америку было известно мне во всех подробностях, хотя в семье об этом периоде его жизни все говорили вполголоса.

По-видимому, он вел беспутную жизнь, иначе говоря, промотал порядочно денег, а в небогатых семьях это считается самым тяжким преступлением. В кругу богачей о человеке, любящем покутить, говорят, что он

проказничает. Его со снисходительной улыбкой называют шалопаем. В кругу людей неимущих молодой человек, который растратил сбережения родителей,— распутник, мот, негодяй.

И это различие вполне справедливо, так как значение наших поступков всецело определяется их последствиями.

Как бы там ни было, дядя Жюль сначала промотал до последнего су свою долю родительского наследства, а затем основательно уменьшил и ту часть сбережений, на которую рассчитывал мой отец.

Его, как тогда было принято, отправили в Америку на грузовом пароходе, шедшем из Гавра в Нью-Йорк.

Очутившись в Америке, дядя Жюль занялся какими-то торговыми делами и вскоре написал родным, что обстоятельства его понемногу поправляются и что он надеется со временем возместить убыток, причиненный им моему отцу.

Это письмо произвело огромное впечатление на всю семью. Жюль, тот самый Жюль, которого раньше, что называется, ни в грош не ставили, вдруг был объявлен честнейшим, добрейшей души человеком, истым представителем семьи Давранш, безупречным, как все Давранши.

Затем капитан какого-то парохода сообщил нам, что дядя снял большой магазин и ведет крупную торговлю.

Второе письмо, полученное два года спустя, гласило:

«Дорогой Филипп, пишу для того, чтобы ты не беспокоился обо мне. Я в добром здоровье. Дела мои тоже идут хорошо. Завтра я надолго уезжаю в Южную Америку. Возможно, что в течение нескольких лет от меня не будет известий. Не тревожься, если я не буду писать. Я вернусь в Гавр, как только разбогатею. Надеюсь, на это потребуется не слишком много времени, и тогда мы славно заживем все вместе».

Это письмо стало как бы евангелием нашей семьи. Его перечитывали при всяком удобном случае, его показывали всем и каждому.

Действительно, в течение десяти лет от дяди Жюля не было никаких известий. Но надежды моего отца все крепли с годами, да и мать часто говаривала:

— Когда вернется наш дорогой Жюль, все пойдет по-иному. Вот кто сумел выбиться в люди!

И каждое воскресенье при виде исполинских черных пароходов, которые приближались к гавани, изрыгая в небо клубы дыма, отец неизменно повторял:

— А вдруг на этом пароходе едет Жюль! Вот был бы сюрприз!

И казалось, сейчас на палубе появится дядя, взмахнет платком и закричит:

— Эй, Филипп!

На его возвращении, в котором никто из нас не сомневался, строились тысячи планов. Предполагалось даже купить на дядюшкины деньги домик в окрестностях Энгувиля. Я подозреваю, что отец уже вел кое-какие переговоры по этому поводу.

Моей старшей сестре исполнилось двадцать восемь лет, младшей — двадцать шесть. Обе они все не выходили замуж, и это сильно удручало нас всех.

Наконец для младшей сестры нашелся жених: чиновник, человек небогатый, но приличный. Я твердо убежден, что именно письмо дяди Жюля, прочитанное молодому человеку однажды вечером, положило конец его колебаниям и придало ему смелости.

Его предложение приняли сразу, и было решено, что после свадьбы мы всей семьей съездим на остров Джерси.

Путешествие на остров Джерси — заветная мечта бедных людей. Это совсем недалеко. Стоит только проехать по морю на пакетботе — и ты уже за границей, ведь остров принадлежит Англии. Двухчасовая поездка морем дает французу возможность побывать в соседней стране и ознакомиться на месте с нравами — впрочем, малопривлекательными — населения этого острова, над которым, как выражаются люди, говорящие безыскусственным языком, реет британский флаг.

Мысль о путешествии в Джерси захватила нас всех, оно стало нашим единственным стремлением, мечтой, с которой мы ни на минуту не расставались.

Наконец мы отправились в путь. Как сейчас, вижу пароход, стоящий под парами у набережной Гранвиль; отца, с озабоченным видом следящего за погрузкой наших трех чемоданов; взволнованную мать под руку с

незамужней сестрой, которая после свадьбы младшей совершенно растерялась, словно цыпленок, отбившийся от выводка; и, наконец, новобрачных, все время отставших, что заставляло меня то и дело оборачиваться.

Раздался гудок. Мы поднялись на палубу, и пароход, обогнув мол, вышел в открытое море, гладкое, словно доска зеленого мрамора. Мы смотрели, как удаляется берег; мы были счастливы и горды, как все те, кому редко случается путешествовать.

Отец стоял, приосанившись, выпятив живот под сюртуком, с утра тщательно вычищенным, и распространял вокруг себя запах бензина — праздничный запах, по которому я узнавал воскресные дни.

Вдруг его внимание привлекли две нарядные дамы, которых двое мужчин угощали устрицами. Старик-матрос, одетый в отрепья, ловко вскрывал раковины ножом и подавал мужчинам, а те подносили их дамам. Дамы ели устрицы очень изящно: держа раковину над тонким носовым платком и вытянув губы, чтобы не закапать платье, они быстро, одним глотком, выпивали содержимое и бросали раковину в море.

Отца, по-видимому, пленила эта изысканная затея — есть устрицы на пароходе, в открытом море. Это показалось ему признаком хорошего тона, утонченного аристократизма. Он подошел к жене и дочерям и спросил их:

— Хотите, я угощу вас устрицами?

Мать медлила с ответом, ее пугал лишний расход; сестры же сразу согласились. Мать сказала недовольным тоном:

— Боюсь, как бы мне это не повредило. Угости детей, но в меру, а то они, пожалуй, еще захворают.

Повернувшись ко мне, она прибавила:

— А Жозефу вообще незачем есть устрицы. Мальчиков не следует баловать.

Я чувствовал себя несправедливо обойденным, но мне пришлось остаться подле матери; я следил глазами за отцом, который с необычайно важным видом направлялся в сопровождении обеих дочерей и зятя к оборванному старику-матросу.

Обе дамы уже ушли с палубы. Отец стал объяснять сестрам, как нужно держать устрицу, чтобы содер-

жимое не вытекало из нее. Желая наглядно показать им это, он схватил устрицу и попытался подражать дамам, но немедленно пролил всю жидкость на свой сюртук.

Мать сердито проворчала:

— Сидел бы уж лучше на месте!

Вдруг мне почудилось, что отец чем-то обеспокоен. Он отступил на несколько шагов, пристально взглянул на дочерей и зятя, теснившихся вокруг продавца устриц, круто повернулся и подошел к нам. Он показался мне очень бледным, а в его глазах было какое-то странное выражение. Вполголоса он сказал матери:

— Прямо удивительно, до чего старик с устрицами похож на Жюля!

— На какого Жюля? — в недоумении спросила мать.

— Да на моего брата... Если б я не знал, что он в Америке и что ему хорошо живется, я решил бы, что это он,— продолжал отец.

Мать в испуге пробормотала:

— Ты с ума сошел! Ведь ты отлично знаешь, что это не он. Зачем же говорить глупости?

Но отец настаивал:

— Пойди, Кларисса, посмотри на него; мне хочется, чтобы ты убедилась собственными глазами.

Мать встала и подошла к дочерям. Я, в свою очередь, принялся разглядывать матроса. Старый, грязный, весь в морщинах, он был целиком поглощен своей работой.

Мать вернулась. Я заметил, что она вся дрожит. Она торопливо сказала отцу:

— Мне кажется, это он..Пойди расспроси капитана. Главное — будь осторожен, а то этот бездельник, чего доброго, опять сядет нам на шею.

Отец направился к капитану. Я пошел следом за ним. Меня охватило какое-то странное волнение.

Капитан, высокий худощавый мужчина с длинными бакенбардами, прогуливался по мостику; вид у него был такой, словно он командует пароходом, совершающим рейс в Индию. Отец с изысканной учтивостью поклонился ему и стал предлагать вопросы, относящиеся к его профессии, пересыпая их комплиментами.

— Чем замечателен Джерси? Какие отрасли производства развиты на острове? Каковы численность и состав его населения? Нравы и обычаи жителей? Какая там почва? — И так далее и так далее.

Можно было подумать, что речь идет по меньшей мере о Соединенных Штатах.

Поговорили и о пароходе «Экспресс», на котором мы находились, затем перешли к его команде, и тут отец с дрожью в голосе сказал:

— Меня очень заинтересовал старик, торгующий устрицами. Не знаете ли вы каких-нибудь подробностей о нем, о его жизни?

Капитан, которого этот разговор начинал раздражать, сухо ответил:

— Это старый бродяга, француз. В прошлом году я подобрал его в Америке и теперь привез на родину; у него, кажется, есть родственники в Гавре, но он не хочет показываться им на глаза, потому что задолжал им. Его зовут Жюль... Жюль Дарманш или Дарванш, что-то в этом роде. Говорят, в Америке он одно время был богат, а теперь, сами видите, до чего дошел.

Отец был мертвенно бледен, глаза его блуждали. Сдавленным голосом он проговорил:

— Так... так... Очень хорошо... Прекрасно... Это меня ничуть не удивляет... Очень вам благодарен, капитан...

И он отошел. Моряк в недоумении поглядел ему вслед.

Отец вернулся к матери с таким расстроенным видом, что она сказала:

— Сядем... а то еще заметят что-нибудь.

Отец грузно опустился на скамью и пролепетал:

— Это он... Я ведь говорил, это он!

Немного погодя он спросил:

— Что же нам делать?

Мать решительным тоном заявила:

— Надо прежде всего увести оттуда детей. Жозеф сейчас сходит за ними, раз уж он все знает. Главное, надо постараться, чтобы зять ни о чем не догадался...

Отец был совершенно сражен. Он еле слышно прошептал:

— Какое несчастье!

Мать, вдруг разъярившись, зашипела:

— Я так и знала, что этот дармоед никогда ничего не добьется и в конце концов опять сядет нам на шею. Да, от Давраншей не дождешься ничего хорошего!

Отец молча провел ладонью по лбу, как делал всегда, когда мать осыпала его упреками. А она продолжала:

— Дай Жозефу денег, пусть он сейчас же пойдет и рассчитается за устрицы. Недостает только, чтобы этот нищий узнал нас! Воображаю, какое это произвело бы впечатление на пассажиров! Мы перейдем на другой конец палубы, а ты уж позаботься о том, чтобы мы с ним больше не встретились.

Она встала, и они оба ушли, вручив мне пятифранковую монету. Сестры в недоумении дожидались отца. Объяснив им, что у матери легкий приступ морской болезни, я обратился к старику:

— Сколько вам следует, сударь?

Мне хотелось сказать: «дядя».

— Два франка пятьдесят,— ответил старик.

Я дал ему пять франков, он протянул мне сдачу.

Я смотрел на его руку, худую, морщинистую руку матроса; я вглядывался в его лицо, измученное, старое лицо, унылое и жалкое, и повторял про себя: «Это мой дядя, папин брат, мой дядя!».

Я дал ему десять су на чай. Он с благодарностью сказал:

— Да благословит вас господь, молодой человек!

Он произнес эти слова тоном нищего, который принимает подаяние. Я подумал, что там, за океаном, ему, наверно, приходилось просить милостыню. Сестры, пораженные моей щедростью, смотрели на меня во все глаза.

Когда я отдал отцу два франка сдачи, мать с изумлением спросила:

— Неужели устрицы стоили целых три франка? Не может быть...

Я твердо сказал:

— Я дал десять су на чай...

Мать привскочила и в упор посмотрела на меня:

— Ты с ума сошел! Дать десять су этому бродяге!..

Она запнулась: отец глазами указывал ей на зятя.

Все притихли.

Впереди, на горизонте, обозначалась темно-лиловая полоса, казалось, выраставшая из моря. Это был Джерси.

Когда мы подъезжали к пристани, меня охватило желание еще раз увидеть дядю Жюля, подойти к нему, сказать ему несколько ободряющих ласковых слов.

Но теперь уже никто не спрашивал устриц, и он исчез; вероятно, бедный старик спустился в вонючий трюм, служивший ему пристанищем.

Чтобы избежать встречи с ним на обратном пути, мы вернулись домой через Сен-Мало. Мать совсем извелась от беспокойства.

Я никогда больше не видел брата моего отца.

Вот почему я иногда даю пять франков нищему.

В ПУТИ

Гюставу Гудузу

I

В Каннах вагон быстро наполнился; пассажиры разговорились, все были между собой знакомы.

Когда миновали Тараскон, кто-то сказал:

— Вот тут-то и убивают.

И все заговорили о таинственном, неуловимом убийце, который вот уже два года время от времени лишал жизни кого-нибудь из пассажиров. Всякий делал предположения, всякий высказывал свое мнение; женщины с невольной дрожью вглядывались в ночную темноту за окном и со страхом ожидали, что вот-вот в двери вагона покажется голова злодея. И все принялись рассказывать страшные истории об опасных встречах, о поездке в купе наедине с сумасшедшим, о часах, проведенных с глазу на глаз с подозрительным субъектом.

Каждый мужчина припоминал какое-нибудь приключение, героем которого был он сам; каждому случалось при самых захватывающих обстоятельствах перепугать насмерть, свалить и скрутить по рукам и ногам злоумышленника, проявляя изумительную отвагу и присутствие духа.

Врач, проводивший каждую зиму на юге Франции, захотел, в свою очередь, рассказать об одном происшествии.

— Мне никогда не приходилось,— начал он,— подвергать испытанию свое мужество в такого рода пере-

делках; но я знал одну даму, мою клиентку, теперь уж умершую, с которой произошел самый удивительный случай, необычайно таинственный и на редкость трогательный.

Она была русская, графиня Мария Баранова, знатная дама редкой красоты. Вы знаете, как хороши русские женщины, или, по крайней мере, какими кажутся они нам красивыми со своим тонким носом, нежным ртом, близко поставленными глазами неуловимого оттенка — серовато-голубыми — и со своей холодной, несколько суровой грацией. В них есть что-то недоброе и обольстительное, какая-то надменность и вместе с тем нежность, мягкость и строгость, и это действует неотразимо на француза. В конечном итоге, быть может, все дело тут в различии национальностей и типов, что и заставляет меня видеть в них многое такое, чего нет на самом деле.

Лечивший ее врач уже несколько лет назад обнаружил, что ей угрожает болезнь легких, и уговаривал ее поехать на юг Франции; но она упрямо отказывалась покинуть Петербург. Наконец, в последнюю осень, считая ее приговоренной, врач открыл правду мужу, и тот заставил жену немедленно выехать в Ментону.

Она села в поезд и ехала одна в купе, а ее прислуга занимала соседнее отделение. Сидя у окна, немного грустная, она смотрела на мелькавшие поля и деревни, чувствуя себя такой одинокой, всеми покинутой; у нее не было детей и почти никого из родных, только муж, любовь которого угасла,— ведь он отправил ее одну на край света, не пожелав ее сопровождать, как посылают в больницу захворавшую прислугу.

На каждой станции ее слуга Иван приходил справиться, не угодно ли чего-нибудь его госпоже. Это был старый слуга, слепо преданный ей, готовый выполнить любое ее приказание.

Настала ночь; поезд мчался полным ходом. Нервы у нее были взвинчены до предела, и она никак не могла уснуть. Вдруг ей пришла мысль пересчитать деньги, которые муж вручил ей в последнюю минуту, в золотой французской валюте. Она открыла небольшую сумочку, и на колени ей хлынул блестящий золотой поток.

Вдруг она почувствовала на лице холодное дуновение. В удивлении она подняла голову. Дверь купе открылась. Графиня Мария в испуге поспешно накинула шаль на рассыпанные у нее на коленях монеты и ждала, что будет дальше. Прошло несколько секунд, и появился мужчина, в вечернем костюме, запыхавшийся, с непокрытой головой, одна рука у него была ранена. Он захлопнул дверь и уселся, глядя на свою соседку сверкающими глазами, потом перевязал носовым платком кисть руки, из которой сочилась кровь.

Молодая женщина чувствовала, что вот-вот потеряет сознание от страха. Этот человек, несомненно, видел, как она пересчитывала золотые, и пришел с тем, чтобы ограбить и убить ее.

Он пристально смотрел на нее, порывисто дыша, с искаженным лицом и, казалось, был готов броситься на нее.

Внезапно он сказал:

— Сударыня, не бойтесь!

Она ничего не ответила, не в силах выговорить ни слова; сердце у нее усиленно билось, в ушах шумело.

Он снова заговорил:

— Я не злоумышленник, сударыня.

Она продолжала молчать; но вот она сделала резкое движение, и золото потекло на ковер, как вода из желоба.

Незнакомец с удивлением смотрел на этот поток золота, потом вдруг наклонился, чтобы его подобрать.

Перепуганная насмерть, она вскочила, роняя на пол все свое достояние, и бросилась к двери, чтобы выпрыгнуть на ходу. Но он угадал ее намерение, бросился к ней, схватил ее за плечи и принудил сесть; потом, удерживая ее за руки, заговорил:

— Выслушайте меня, сударыня, я не преступник, в доказательство я сейчас соберу и отдам вам все ваши деньги. Но я человек погибший, конченый человек, если вы не поможете мне переехать границу. Больше я ничего не могу вам сказать. Через час мы будем на последней русской станции; через час двадцать минут мы переедем границу империи. Если вы мне не поможете, я погиб. А между тем, сударыня, я никого не

убил, не ограбил, не совершил никакого бесчестного поступка. В этом я вам клянусь. Больше я не могу ничего вам сказать.

И, встав на колени, он подобрал все золотые, шаря под сиденьями, разыскивая откатившиеся далеко монеты. Когда маленькая кожаная сумочка вновь наполнилась, он вручил ее своей соседке, не говоря ни слова, и вновь уселся в противоположном углу купе.

Ни тот, ни другая не шевелились. Графиня замерла, онемев и потеряв силы от испуга, но мало-помалу она приходила в себя. Незнакомец застыл на месте — ни жеста, ни движения; он сидел, выпрямившись, бледный, как мертвец. Время от времени она бросала на него быстрый взгляд и тотчас же отводила глаза. Это был мужчина лет тридцати, очень красивый, по всей видимости, дворянин.

Поезд мчался в темноте, бросая в ночь душераздирающие призывы, то замедляя, то снова ускоряя ход. Но внезапно он стал тормозить, несколько раз свистнул и, наконец, остановился.

В двери появился Иван, который пришел наведаться, не будет ли распоряжений.

Графиня Мария еще раз взглянула на своего необычного спутника и сказала слуге слегка дрожащим голосом, но повелительно:

— Иван, возвращайся к графу, ты мне больше не нужен.

В недоумении слуга широко открыл глаза.

— Но... барыня...— пробормотал он.

Она продолжала:

— Ты не поедешь со мной, я передумала. Я хочу, чтобы ты оставался в России. Вот возьми деньги на обратный путь. Дай мне свою шапку и пальто.

Ошеломленный старик снял шапку и протянул свое пальто, как всегда повинуясь беспрекословно, привычный к внезапным прихотям и капризам своих господ. Он удалился со слезами на глазах.

Поезд тронулся, приближаясь к границе.

Тогда графиня Мария сказала своему соседу:

— Эти вещи для вас, сударь, теперь вы — Иван, мой слуга. Но я делаю это с одним условием: вы ни о чем не будете со мной говорить, никогда не скажете

мне ни одного слова — ни для того, чтобы поблагодарить меня, ни по какому-либо другому поводу.

Незнакомец молча наклонил голову.

Скоро поезд опять остановился, и чиновники в мундирах прошли по вагонам. Графиня протянула им бумаги и, указывая на сидящего в углу купе человека, сказала:

— Это мой слуга Иван, вот его паспорт.

Поезд двинулся дальше.

Всю ночь они оставались наедине, сохраняя молчание.

Утром, когда поезд остановился на немецкой станции, незнакомец вышел из купе. Подойдя к окну, он сказал:

— Простите меня, сударыня, что я нарушаю свое слово; но я лишил вас слуги, и мне следовало бы его заменить. Не нуждаетесь ли вы в чем-нибудь?

Она холодно ответила:

— Позовите мою горничную.

Он позвал горничную. Затем исчез.

Но, выходя из вагона в буфет, она всякий раз видела, что он издали смотрит на нее.

Они прибыли в Ментону.

II

Доктор умолк на минуту, потом продолжал:

— Однажды ко мне на прием явился высокий молодой человек и, войдя в мой кабинет, сказал:

— Доктор, я пришел узнать у вас о здоровье графини Марии Барановой. Правда, она меня не знает, но я друг ее мужа.

Я ответил:

— Она безнадежна. Ей уже не вернуться в Россию.

Внезапно он зарыдал, потом поднялся и вышел, пошатываясь, как пьяный.

Я сказал в тот же вечер графине, что ко мне приходил какой-то иностранец справляться о ее здоровье. Это как будто взволновало ее, и она рассказала историю, которую я только что вам передал. Она добавила:

— Этот человек, с которым я незнакома, всюду

следует за мной, как тень; я его встречаю всякий раз, как выхожу на улицу, он смотрит на меня так странно, но никогда со мной не заговаривает.

Подумав немного, она добавила:

— Знаете, я готова держать пари, что он и сейчас у меня под окнами.

Она поднялась с кушетки, раздвинула занавеси, и в самом деле я увидел того самого человека, который недавно заходил ко мне; он сидел на скамейке в сквере, глядя на окна отеля. Заметив нас, он встал и удалился, ни разу не обернувшись.

Итак, я наблюдал поразительное и трогательное явление: молчаливую любовь этих двух существ, которые даже не знали друг друга.

Он любил ее, как любит человека спасенное им животное, любил ее признательной и преданной любовью до самой смерти. Понимая, что я его разгадал, он каждый день приходил ко мне осведомляться: «Как ее здоровье?» И горько плакал, когда видел ее на прогулке с каждым днем все более слабой и бледной.

Она мне признавалась:

— Я говорила с этим странным человеком всего раз в жизни, но мне кажется, что я знакома с ним уже двадцать лет.

И когда они встречались, она отвечала на его поклон со сдержанной очаровательной улыбкой. Я чувствовал, что она счастлива, она, такая одинокая и знавшая, что дни ее сочтены; счастлива, что ее любят с таким уважением и постоянством, так чисто и поэтично, с такой безграничной преданностью. Но эта экзальтированная особа с удивительным упорством наотрез отказывалась принять его у себя, узнать его имя, говорить с ним.

— Нет, нет,— твердила она,— это испортит нашу необычную дружбу. Мы должны оставаться чужими друг другу.

А он тоже был своего рода Дон-Кихотом, ибо не предпринимал никаких шагов, чтобы сблизиться с ней. Он хотел свято сдержать данное в вагоне нелепое обещание никогда с ней не говорить.

Нередко, пролежав долгие часы в полном изнемо-

жении, она поднималась с кушетки и приоткрывала занавеси, чтобы посмотреть, тут ли он, ждет ли он под ее окном. И, увидав, что он, как всегда, неподвижно сидит на скамейке, она снова ложилась с улыбкой на губах.

Однажды утром, около десяти часов, она скончалась. Когда я выходил из отеля, он подошел ко мне с изменившимся лицом: он уже знал печальную новость.

— Я хотел бы посмотреть на нее хоть одну секунду, при вас,— проговорил он.

Я взял его под руку, и мы вошли в отель.

Очутившись у постели покойницы, он схватил ее руку и припал к ней долгим поцелуем, потом вдруг убежал, как безумный.

Доктор вновь умолк, потом добавил:

— Это безусловно самое странное приключение на железной дороге, какое я только знаю. Бывают же на свете такие смешные безумцы!

Одна из дам прошептала:

— Эти двое были вовсе не такие уж сумасшедшие, как вы думаете... Они были... они были...

Она не договорила: ее душили слезы. Тему разговора переменили, чтобы ее отвлечь. Так и осталось неизвестным, что именно ей хотелось сказать.

СТАРУХА СОВАЖ

Жоржу Пуше

I

Я не был в Вирелони целых пятнадцать лет. Осенью я приехал туда поохотиться у приятеля моего Серваля, который наконец-то собрался отстроить в своем поместье дом, разрушенный пруссаками.

Мне бесконечно нравились эти места. Есть на свете такие прелестные уголки — поистине чувственная отрада для глаз. Их любишь чуть ли не физической любовью. У нас, у людей, привязанных к земле, есть знакомые ручейки, леса, пруды, холмы, о которых вспоминаешь с нежностью и умилением, как о радостных событиях. Бывает даже, что увидишь один только раз в погожий день какой-нибудь перелесок, или обрыв, или фруктовый сад, осыпанный цветом, и возвращаешься к ним мыслью и хранишь их в сердце, как образы тех женщин в светлых воздушных нарядах, которых довелось встретить на улице весенним утром, и неутолимо, неустанно желать потом душой и телом, точно это само счастье прошло мимо.

В Вирелони мне была мила вся местность, усеянная рощицами, пересеченная ручейками, что вьются по земле, как кровеносные жилки. В них ловили раков, форелей и угрей. Райское блаженство! Местами в них можно было купаться, а среди высоких трав, растущих вдоль этих речонок, нередко случалось набрести на куликов.

Я шагал с легкостью козы, наблюдая за обеими моими собаками, рыскавшими впереди. Серваль в ста метрах вправо обследовал поле люцерны. Я обогнул кустарник, который служит границей Содрского леса, и увидел разрушенную хибарку.

И вдруг мне припомнилась она, какой я видел ее в последний раз, в 1869 году, опрятная, увитая виноградом, с курами у крыльца.

Что может быть печальнее, чем остов мертвого дома, гниющий, зловещий?

Припомнилось мне также, что в один из очень утомительных дней старуха-хозяйка попотчевала меня в этой хижине стаканом вина, а Серваль попутно рассказал мне историю ее обитателей.

Отец, старый браконьер, был убит жандармами. Сын, которого я видал когда-то, рослый, сухопарый малый, тоже слыл лютым истребителем дичи. Звали их Соважами [1].

Не знаю, была ли это их фамилия или прозвище.

Я окликнул Серваля. Он поспешил ко мне своим обычным журавлиным шагом.

— Что сталось с хозяевами домика? — спросил я его.

Вот какую повесть поведал он мне.

II

Когда была объявлена война, Соваж-младший, которому тогда исполнилось тридцать три года, пошел волонтером, оставив мать одну в доме. Никто особенно не жалел старуху, потому что известно было, что у нее водятся деньги. Итак, она осталась совсем одна в этом уединенном жилище, поодаль от деревни, у самой опушки леса.

Впрочем, она и не боялась, так как была одной породы с мужем и сыном, крепкая старуха, высокая и костлявая; смеялась она не часто и шуток не допускала. Вообще крестьянки редко смеются. Это уж мужское дело. У них же душа скорбная и замкнутая, под стать их унылой, беспросветной жизни. Мужчина иногда

[1] Sauvage *(франц.)* — дикий.

приобщается к шумному веселью кабака, а жена его всегда сумрачна, и вид у нее строгий. Мышцы ее лица не приучены сокращаться от смеха.

Старуха Соваж продолжала обычную жизнь в своем домишке, который вскоре замело снегом. Раз в неделю она являлась в деревню купить мяса и хлеба, а затем возвращалась домой. Так как поговаривали о волках, она выходила с ружьем за плечами, ружьем сына, ржавым, с истертым прикладом; любопытное зрелище представляла собой эта рослая, чуть согбенная старуха, когда она крупным шагом, не спеша шествовала по снегу, а ствол ружья виднелся из-за черного чепца, который покрывал ее голову и прятал от посторонних глаз седые волосы.

Но вот настал день, когда пришли пруссаки. Их разместили по деревне соответственно имуществу и доходам хозяев. Старуха считалась богачкой, и к ней поселили четверых немцев.

Это были четыре статных малых, белотелые, с белокурыми бородами, голубыми глазами, упитанные, несмотря на тяготы похода, и вполне миролюбивые для победителей. Очутившись на постое у старой женщины, они всячески старались ей услужить, по мере возможности избавить ее от издержек и хлопот. По утрам они плескались у колодца без мундиров, обнажив в резком свете зимнего дня бело-розовые тела северян, меж тем как старуха Соваж готовила похлебку. Затем они убирали и подметали кухню, кололи дрова, чистили картофель, стирали белье — словом, хлопотали по хозяйству, как четыре примерных сына вокруг матери. Но она-то, старуха, непрестанно думала о своем родном сыне, о сухопаром черноглазом молодце с ястребиным носом, с густыми усами, словно черной бахромкой над верхней губой. Каждый день спрашивала она у каждого из своих постояльцев:

— Не знаете, куда девался французский полк, двадцать третий, пехотный? Сынок мой там служит.

— Не знать, совсем не знать,— отвечали они. И, понимая ее тоску и тревогу — ведь у них дома тоже остались матери,— они всячески ухаживали за ней. Впрочем, и сама она благоволила к своим четырем

врагам, ибо патриотическая ненависть свойственна только высшим классам — крестьянам она чужда. Неимущим, тем, кому это обходится дороже всего, потому что они бедны и каждая лишняя издержка для них непосильное бремя, тем, кого убивают пачками, кто, собственно, и является пушечным мясом, потому что их большинство, тем, наконец, кто больше всех страдает от жестоких бедствий войны, потому что они слабее всех, а значит, и менее выносливы,— им совсем непонятен ни воинственный задор, ни особая щепетильность в вопросах чести, ни так называемые политические комбинации, которые в полгода доводят до полного истощения обе нации — и победительницу и побежденную.

О немцах старухи Соваж в деревне принято было говорить: «Вот уж кому повезло!»

Но как-то утром, когда старуха была дома одна, она увидела вдали на равнине человека, направляющегося в сторону ее жилья. Вскоре она узнала его — это был деревенский почтальон. Он вручил ей письмо; она достала из футляра очки, которые надевала во время шитья, и прочла:

«Мадам Соваж, настоящим письмом сообщаю вам печальную весть. Сынок ваш, Виктор, убит вчера ядром, которое, прямо сказать, разорвало его пополам. Я находился возле, потому что в роте мы всегда были рядом, и он мне о вас говорил, чтобы я сразу же известил вас, в случае если с ним стрясется беда. Я вынул у него из кармана часы, чтобы доставить вам, когда кончится война.

С дружеским приветом *Сезар Риво,* солдат второго разряда 23-го пехотного полка».

Письмо было трехнедельной давности.

Она не плакала. Она сидела неподвижно, настолько потрясенная и ошеломленная, что даже не чувствовала боли. Она думала: «Вот и Виктора убили». Потом мало-помалу слезы подступили к глазам и скорбь хлынула в сердце. Одна за другой возникали у нее мысли, ужасные, мучительные. Больше никогда не поцелует она его, своего мальчика, своего молодца. Жан-

дармы убили отца, пруссаки убили сына. Ядро разорвало его пополам. И ей представилась картина, страшная картина: голова отлетает и глаза открыты, а ус он закусил, как обычно, когда сердился. Куда же девали его тело? Хоть бы отдали ей сына, как отдали мужа с пулей посреди лба.

Но тут она услыхала голоса. Это пруссаки возвращались из деревни. Торопливо спрятав письмо в карман, она встретила их спокойно, и лицо у нее было обычное,— глаза она успела тщательно вытереть. Немцы весело смеялись в восторге от того, что принесли жирного кролика, без сомнения краденого, и знаками показывали старухе, что нынче удастся вкусно покушать.

Она сейчас же принялась готовить завтрак, но когда дело дошло до кролика, то убить его у нее не хватило духа. И сказать бы, что ей приходилось делать это впервые! Один из солдат прикончил кролика ударом кулака в затылок.

Когда зверек был мертв, старуха содрала шкурку с окровавленного тельца; но вид крови, которая сочилась ей на руки, теплой крови, которая постепенно остывала и свертывалась, приводил старуху в дрожь; ей все виделся ее мальчик, разорванный пополам и тоже окровавленный, как это животное, еще не переставшее содрогаться.

Она села за стол вместе со своими пруссаками, но не могла проглотить ни кусочка. Они сожрали кролика, не обращая на нее внимания. Она молча искоса глядела на них, и в голове ее зрел план, но лицо было так невозмутимо, что они ничего не заметили.

Неожиданно она сказала:

— Я даже имен-то ваших не знаю, а вот уж месяц, как мы живем в одном доме.

Они не без труда поняли, что она хочет, и назвали свои имена. Но этого ей было мало; она заставила их записать на бумажке все имена вместе с домашними адресами и, снова надев на свой крупный нос очки, присмотрелась к начертаниям чуждых букв; затем сложила бумажку и спрятала в карман, где лежало письмо с извещением о смерти сына.

Когда завтрак кончился, она сказала немцам:

— Пойду похлопочу для вас.

И принялась таскать сено на чердак, где они ночевали. Их удивило ее занятие; она объяснила, что так им будет теплее. Тогда они взялись помогать ей и навалили сена до самой соломенной крыши; у них таким образом получилось нечто вроде комнаты, выложенной сеном, душистой и теплой, где им будет спаться на славу.

За обедом один из них всполошился, заметив, что старуха опять ничего не ест. Она заявила, что у нее колики. Затем она разожгла огонь, чтобы согреться, а четверо немцев, как обычно, взобрались на ночь к себе по приставной лесенке.

Как только люк захлопнулся, старуха убрала лесенку, потом бесшумно открыла наружную дверь и натаскала со двора полную кухню соломы. Она ступала по снегу босыми ногами так тихо, что не было слышно ни звука. Время от времени она прислушивалась к зычному разноголосому храпу четырех спящих солдат.

Сочтя приготовления законченными, она бросила в очаг одну из вязанок и, когда солома загорелась, рассыпала ее по остальным вязанкам, потом вышла и стала наблюдать. Резкий свет вмиг озарил внутренность хибарки, и сразу же там запылал чудовищный костер, грандиозный горн, пламя которого било в узкое оконце и падало ослепительным отблеском на снег.

И тут сверху, с чердака, раздался отчаянный крик, перешедший в слитный вой человеческих голосов, душераздирающие вопли ужаса и смертной тоски. Затем, когда потолок рухнул внутрь, вихрь огня взвился к чердаку, прорвался сквозь соломенную крышу и поднялся к небу гигантским факелом; вся хижина пылала.

Теперь изнутри слышно было только, как гудит пожар, трещат стены и рушатся стропила. Крыша вдруг завалилась, и из огненного остова дома в воздух вместе с клубом дыма вырвался сноп искр.

Белая равнина, озаренная огнем, сверкала, как серебряная пелена с красноватым отливом.

Вдали зазвонил колокол.

Старуха Соваж стояла неподвижно перед своим

разрушенным жилищем и в руках держала ружье, ружье сына,— на случай, если бы кто-нибудь из немцев выбежал.

Убедившись, что все кончено, она швырнула ружье в огонь. Раздался взрыв.

Отовсюду бежали люди — крестьяне, пруссаки. Старуху застали сидящей на пне, спокойную и удовлетворенную.

Немецкий офицер, говоривший по-французски, как француз, спросил ее:

— Где ваши постояльцы?

Она протянула костлявую руку к багровой груде гаснущего пожарища и ответила твердым голосом:

— Там, внутри!

Народ толпился вокруг нее. Пруссак спросил:

— Как загорелся дом?

— Я подожгла его,— произнесла она.

Ей не поверили, решили, что она рехнулась с горя. Тогда она рассказала теснившимся вокруг слушателям все, как было, с начала до конца, от получения письма до последнего вопля людей, сгоревших вместе с ее домом. Она подробно описала все, что перечувствовала, все, что сделала.

Кончив, она извлекла из кармана две бумажки и, чтобы различить их при последних вспышках пламени, надела очки, а затем произнесла, показывая на одну из них:

— Это о смерти Виктора.

Показывая на вторую, она пояснила, кивнув в сторону тлеющих развалин:

— Это их имена, чтобы написать к ним домой.

И, спокойно протянув листок бумаги офицеру, державшему ее за плечи, добавила:

— Напишите, как это случилось, и не забудьте рассказать их родителям, что сделала это я, Виктуар Симона по прозвищу Соваж!

Офицер по-немецки отдал распоряжение. Старуху схватили, приставили к не успевшей еще остыть стене ее дома. Потом двенадцать человек торопливо выстроились напротив нее на расстоянии двадцати метров.

Она не шевельнулась, она поняла, она ждала.

Прозвучала команда, за ней тотчас грянул залп, затем одиноко прокатился запоздалый выстрел.

Старуха не упала. Она села, как будто у нее подкосились ноги.

К ней подошел прусский офицер. Она была почти разорвана пополам, а в судорожно сжатой руке она держала письмо, пропитанное кровью.

Мой приятель Серваль добавил:

— Вот в отместку немцы и разрушили тогда дом в моем поместье.

Я же думал о матерях четырех добрых малых, сгоревших в хижине, и о жестоком геройстве другой матери, расстрелянной подле этой стены.

И я поднял с земли еще черный от копоти камешек.

СЕСТРЫ РОНДОЛИ

СЕСТРЫ РОНДОЛИ

Жоржу де Порто-Риш

I

— Нет,— сказал Пьер Жувене,— я не знаю Италии; а между тем я дважды пытался туда попасть, но каждый раз застревал на границе, да так прочно, что невозможно было двинуться дальше. И все же эти две попытки оставили во мне чарующее представление о нравах этой прекрасной страны. Мне остается только познакомиться с городами, музеями и шедеврами искусства, которыми полон этот край. При первом же случае я вновь отважусь проникнуть на эту недоступную территорию.

Вам непонятно? Сейчас объясню.

В 1874 году мне захотелось посмотреть Венецию, Флоренцию, Рим и Неаполь. Это стремление овладело мною около середины июня, когда с буйными соками весны вливаются в душу пылкие желания странствий и любви.

Но я не любитель путешествовать. Перемена места, по-моему, бесполезна и утомительна. Ночи в поезде, сон, прерываемый вагонной тряской, вызывающей головную боль и ломоту во всем теле, чувство полной разбитости при пробуждении в этом движущемся ящике, ощущение немытой кожи, летучий сор, засыпающий вам глаза и волосы, угольная вонь, которую все время приходится глотать, мерзкие обеды на

сквозняке вокзальных буфетов — все это, по-моему, отвратительное начало для увеселительной поездки.

За этим железнодорожным вступлением нас ожидает унылые гостиницы, большой гостиницы, переполненной людьми и вместе с тем такой пустынной, незнакомая, наводящая тоску комната, подозрительная постель! Своей постелью я дорожу больше всего. Она святая-святых нашей жизни. Ей отдаешь нагим свое усталое тело, и она возвращает ему силы и покоит его на белоснежных простынях, в тепле пуховых одеял.

В ней обретаем мы сладчайшие часы нашей жизни, часы любви и сна. Постель священна. Мы должны благоговеть перед ней, почитать ее и любить как самое лучшее, самое отрадное, что у нас есть на земле.

В гостинице я не могу приподнять простынь постели без дрожи отвращения. Кто лежал там в предыдущую ночь? Какие нечистоплотные, отвратительные люди спали на этих матрацах? И я думаю о всех тех омерзительных существах, с которыми сталкиваешься каждый день, о гадких горбунах, о прыщавых телах, о грязных руках, не говоря уж о ногах и всем прочем. Я думаю о людях, при встрече с которыми вам ударяет в нос тошнотворный запах чеснока или человеческого тела. Я думаю об уродах, о шелудивых, о поте больных, обо всей грязи и мерзости человеческой.

Все это побывало в постели, в которой я должен спать. И меня тошнит, как только я суну в нее ногу.

А обеды в гостинице, долгие обеды за табльдотом, среди несносных и нелепых людей; а ужасные одинокие обеды за столиком ресторана, при жалкой свечке, покрытой колпачком!

А унылые вечера в незнакомом городе! Что может быть грустнее ночи, спускающейся над чужим городом! Идешь куда глаза глядят, среди движения, среди сутолоки, поражающей и пугающей, как во сне. Смотришь на лица, которых никогда не видел и никогда больше не увидишь, слышишь голоса людей, разговаривающих о безразличных для тебя вещах на языке, которого ты даже не понимаешь. Испытываешь ужасное ощущение потерянности. Сердце сжимается, ноги слабеют, на душе гнет. Идешь, словно спасаешься от чего-то, идешь, лишь бы только не возвращаться в

гостиницу, где чувствуешь себя еще более потерянным, потому что там ты как будто «дома», но ведь это «дом» любого, кто только заплатит за него,— и в конце концов падаешь на стул в каком-нибудь ярко освещенном кафе, позолота и огни которого угнетают в тысячу раз сильнее, чем уличный мрак. И сидя перед липкой кружкой пива, поданной суетливым официантом, чувствуешь себя столь отвратительно одиноким, что какое-то безумие охватывает тебя, желание бежать куда-нибудь, бежать куда угодно, чтобы только не быть здесь, не сидеть за этим мраморным столиком, под этой ослепительной люстрой. И тогда вдруг понимаешь, что ты всегда и везде одинок в этом мире и что привычные встречи в знакомых местах внушают лишь иллюзию человеческого братства. В такие часы заброшенности, мрачного одиночества в чужих городах мысль работает особенно независимо, ясно и глубоко. И тут одним взглядом охватываешь всю жизнь и видишь ее уже не сквозь розовые очки вечных надежд, а вне обмана нажитых привычек, без ожидания постоянно грезящегося счастья.

Только уехав далеко, сознаешь, до чего все близко, ограниченно и ничтожно; только в поисках неизведанного замечаешь, до чего все обыкновенно и мимолетно; только странствуя по земле, видишь, до чего тесен и однообразен мир.

О, эти угрюмые вечера, когда шагаешь наудачу по незнакомым улицам,— я испытал их! Этих вечеров я боюсь больше всего на свете.

Вот почему, ни за что не желая ехать в Италию один, я уговорил моего приятеля Поля Павильи отправиться вместе со мной.

Вы знаете Поля. Для него весь мир, вся жизнь — в женщине. Таких мужчин найдется немало. Жизнь кажется ему поэтической и яркой только благодаря присутствию женщин. На земле стоит жить лишь потому, что они живут на ней; солнце сияет и греет потому, что освещает их. Воздух приятно вдыхать потому, что он овевает их кожу и играет короткими завитками у них на висках. Луна восхитительна потому, что заставляет их мечтать и придает любви томную прелесть. Словом, вдохновляют и интересуют Поля только

женщины; к ним обращены все его помыслы, все его стремления и надежды.

Один поэт заклеймил людей подобного рода:

Всех больше не терплю я томного поэта:
Посмотрит на звезду — и имя шепчет он,
А рядом с ним всегда Нинон или Лизетта,—
Иначе пуст ему казался б небосклон.

Такие чудаки стараются день целый,
Чтоб пробудить любовь к природе у людей:
То на зеленый холм прицепят чепчик белый,
То юбку — к деревцам, растущим средь полей.

Тот не поймет твоих, природа, песен чудных,
Твоих, бессмертная, звенящих голосов,
Кто не бродил один среди полей безлюдных,
Кто грезит женщиной под шепоты лесов [1].

Когда я заговорил с Полем об Италии, он сначала решительно отказался уезжать из Парижа, но я стал расписывать ему разные дорожные приключения, сказал, что итальянки слывут очаровательными, пообещал доставить ему в Неаполе разные утонченные удовольствия благодаря имевшейся у меня рекомендации к некоему синьору Микелю Аморозо, знакомство с которым весьма полезно для иностранцев,— и он поддался искушению.

II

Мы сели в скорый поезд в четверг вечером 26 июня. В это время года никто не ездит на юг, и мы оказались в вагоне одни. Оба были в дурном настроении, досадуя на то, что покидаем Париж, недовольные, что навязали себе это путешествие, с сожалением вспоминая тенистый Марли, прекрасную Сену, отлогие берега, славные дни прогулок на лодке, славные вечера, когда так хорошо дремлется на берегу, пока спускается ночь.

Поль забился в уголок и, когда поезд тронулся, заявил:

— До чего же глупо пускаться в такое путешествие.

Так как он уже не мог изменить своего решения, я сказал в ответ:

— Не надо было ехать.

[1] Перевод А. Худадовой.

Он промолчал. Но вид у него был такой сердитый, что я чуть не расхохотался. Он, безусловно, похож на белку. Каждый из нас сохраняет под своим человеческим обликом черты какого-нибудь животного, нечто вроде признаков своей первоначальной породы. Сколько найдется людей с бульдожьей пастью, с козлиной, кроличьей, лисьей, лошадиной, бычьей головой! Поль — это белка, превратившаяся в человека. У него те же живые глазки, рыжая шерстка, острый носик, небольшое тельце, тоненькое, гибкое, проворное, да и во всем облике его есть какое-то сходство с этим зверьком. Как бы это сказать? Сходство в жестах, движениях и повадке, словно какое-то смутное воспоминание о прежнем существовании.

Наконец мы оба заснули, как спят в вагоне,— сном, который беспрестанно прерывается из-за шума, из-за судорог в руках или шее, из-за внезапных остановок поезда.

Мы проснулись, когда поезд шел уже вдоль берега Роны. И вскоре в окно ворвалось стрекотание кузнечиков, то непрерывное стрекотание, которое кажется голосом самой нагретой земли, песней Прованса; оно пахнуло нам в лицо, в грудь, в душу радостным ощущением юга, запахом раскаленной почвы, каменистой и солнечной родины приземистого оливкового дерева с его серо-зеленой листвой.

Когда поезд остановился у станции, железнодорожный служащий промчался вдоль состава, звонко выкрикивая: «Валанс!» — по-настоящему, подлинным местным говором, и это «Валанс», как перед тем скрежещущее стрекотание кузнечиков, снова заставило нас всем существом ощутить вкус Прованса.

До Марселя ничего нового.

В Марселе мы вышли позавтракать в буфете.

Когда мы вернулись в вагон, там сидела женщина.

Поль бросил мне восхищенный взгляд; машинальным движением он подкрутил свои короткие усики, поправил прическу, проведя пятерней, словно гребнем, по волосам, сильно растрепавшимся за ночь. Потом уселся против незнакомки.

Всякий раз, когда — в дороге или в обществе — передо мной появляется новое лицо, меня неотступно

преследует желание разгадать, какая душа, какой ум, какой характер скрываются за этими чертами.

То была молодая женщина, совсем молоденькая и прехорошенькая,— без сомнения, дочь юга. У нее были чудесные глаза, великолепные черные волосы, волнистые, слегка вьющиеся, до того густые, жесткие и длинные, что казались тяжелыми, и стоило только взглянуть на них, чтобы сразу ощутить на голове их бремя. Одетая нарядно и по-южному несколько безвкусно, она казалась немного вульгарной. Правильные черты ее лица были лишены той грации, того легкого изящества, утонченности, которые присущи от рождения детям аристократии и являются как бы наследственным признаком более благородной крови.

Ее браслеты были слишком широки, чтобы их можно было принять за золотые, прозрачные камни в серьгах слишком велики для бриллиантов, да и во всем ее облике было что-то простонародное. Чувствовалось, что она, должно быть, привыкла говорить чересчур громко и по любому поводу кричать, буйно жестикулируя.

Поезд тронулся.

Она сидела неподвижно, устремив хмурый взгляд перед собой, с обиженным и раздосадованным видом. На нас она даже не взглянула.

Поль завел со мной беседу, высказывая вещи, рассчитанные на эффект, и стараясь привлечь ее внимание, блеснуть искусной фразой, ослепить красноречием, подобно торговцу, который выставляет отборный товар, чтобы разжечь покупателя.

Но она, казалось, ничего не слышала.

— Тулон! Остановка десять минут! Буфет! — прокричал кондуктор.

Поль сделал мне знак выйти и, как только мы очутились на платформе, спросил:

— Скажи, пожалуйста, кто она, по-твоему?

Я рассмеялся:

— Вот уж не знаю. Да мне это совершенно безразлично.

Он был очень возбужден.

— Она чертовски хорошенькая и свеженькая, плутовка! А какие глаза! Но вид у нее недовольный.

У нее, должно быть, неприятности: она ни на что не обращает внимания.

Я проворчал:

— Зря стараешься.

Но он рассердился:

— Я вовсе не стараюсь, дорогой мой; я нахожу эту женщину очень хорошенькой, вот и все. А что, если заговорить с ней? Только о чем? Ну, посоветуй что-нибудь. Как ты думаешь, кто она такая?

— Право, не знаю. Вероятно, какая-нибудь актрисочка, которая возвращается в свою труппу после любовного похождения.

Он принял оскорбленный вид, точно я сказал ему что-то обидное, и возразил:

— Из чего ты это заключаешь? Я, наоборот, нахожу, что у нее вид вполне порядочной женщины.

Я ответил:

— Мой милый, посмотри на ее браслеты, серьги, на весь ее туалет. Я не удивлюсь, если она окажется танцовщицей или, может быть, даже цирковой наездницей, но скорее всего, пожалуй, танцовщицей. Во всей ее внешности есть что-то от театра.

Эта мысль решительно не нравилась ему.

— Она слишком молода, дорогой мой, ей не больше двадцати лет.

— Но, мой милый, мало ли что можно проделывать и до двадцати лет! Танцы, декламация, не говоря уже о других вещах, которыми она, может быть, единственно и занимается.

— Экспресс на Ниццу — Вентимилью, занимайте места! — закричал кондуктор.

Пришлось войти в вагон. Наша соседка ела апельсин. Ее манеры в самом деле не отличались изысканностью. Она разостлала на коленях носовой платок, а то, как она снимала золотистую корку, открывала рот, хватая губами дольки апельсина, и выплевывала зернышки в окно, изобличало простонародные привычки и жесты.

Она как будто еще больше насупилась и уничтожала апельсин с яростью, положительно забавной.

Поль пожирал ее взглядом, придумывая способ привлечь ее внимание, разбудить ее любопытство. И он

снова пустился болтать со мною, изрекая множество изысканных мыслей, непринужденно упоминая о знаменитостях. Но она не обращала никакого внимания на его усилия.

Проехали Фрежюс, Сен-Рафаэль. Поезд мчался теперь среди пышных садов, по райской стране роз, через рощи цветущих апельсиновых и лимонных деревьев, покрытых одновременно и гроздьями белых цветов и золотистыми плодами, среди благоухающего царства цветов, вдоль восхитительного побережья, которое тянется от Марселя до Генуи.

В этот край, где в тесных долинах и по склонам холмов свободно и дико растут прекраснейшие цветы, надо приезжать именно в июне. Куда ни взглянешь — повсюду розы: целые поля, равнины, изгороди, чащи роз. Они ползут по стенам, распускаются на крышах, взбираются на деревья, сверкают среди листвы — белые, красные, желтые, мелкие или огромные, тоненькие, в простеньких однотонных платьицах, или мясистые, в тяжелом и пышном наряде.

Их непрерывное могучее благоухание сгущает воздух, придает ему вкус, насыщает его томлением. А еще более резкий запах цветущих апельсиновых деревьев словно подслащивает вдыхаемый воздух, превращая его в лакомство для обоняния.

Омываемое неподвижным Средиземным морем, расстилается побережье с темными скалами. Тяжкое летнее солнце огненной пеленой ниспадает на горы, на длинные песчаные откосы, на тяжелую, застывшую синеву моря. А поезд все мчится, вбегает в туннели, минуя мысы, скользит по волнистым холмам, пробегает над водой по отвесным, как стена, карнизам, и легкий, нежный солоноватый аромат, аромат сохнущих водорослей примешивается порой к сильному, волнующему запаху цветов.

Но Поль ничего не видел, ни на что не смотрел, ничего не чувствовал. Путешественница завладела всем его вниманием.

В Каннах, желая снова поговорить со мной, он опять сделал мне знак сойти.

Как только мы вышли из вагона, он взял меня под руку.

— Знаешь, она восхитительна. Посмотри на ее глаза. А волосы! Дорогой мой, да я никогда не видывал подобных волос!

Я сказал ему:

— Будет тебе, уймись — или, если уж ты решился, иди в наступление. Вид у нее не очень-то неприступный, хотя она и кажется порядочною злюкой.

Он продолжал:

— А не мог бы ты заговорить с ней? Я как-то теряюсь. Вначале я всегда дурацки робок. Я никогда не умел пристать к женщине на улице. Я иду за ней, кружусь возле нее, подхожу, но никогда не могу найти нужных слов. Один только раз я попытался начать беседу. Так как я совершенно ясно видел, что от меня ждут начала разговора и сказать что-нибудь было необходимо, я пробормотал: «Как поживаете, сударыня?» Она рассмеялась мне прямо в лицо, и я бежал.

Я обещал Полю употребить все свое искусство, чтоб завязать беседу, и когда мы уселись, учтиво осведомился у соседки:

— Сударыня, вам не мешает табачный дым?

Она ответила:

— Non capisco [1].

Она была итальянка! Дикий приступ смеха овладел мной. Поль ни слова не знал по-итальянски, и я должен был служить ему переводчиком. Я приступил к исполнению своей роли и повторил, уже по-итальянски:

— Я спросил вас, сударыня, не мешает ли вам табачный дым?

Она сердито бросила:

— Che mi fa?

Она даже головы не повернула в мою сторону, не взглянула на меня, и я недоумевал, следует ли понять это «Какое мне дело?» как разрешение или как запрет, как свидетельство безразличия или просто как «Оставьте меня в покое».

Я продолжал:

— Сударыня, если дым мешает вам хоть немного...

---

[1] Не понимаю *(итал.)*.

Она ответила тогда «mica» [1] тоном, который означал: «Не приставайте ко мне!» Все же это было позволение, и я сказал Полю:

— Можешь курить.

Стараясь понять, он озадаченно глядел на меня, как глядишь, когда рядом с тобой разговаривают на непонятном языке, и спросил:

— Что ты ей сказал?

— Я спросил у нее, можно ли нам курить.

— Она по-французски не говорит?

— Ни слова.

— Что же она ответила?

— Что она разрешает нам делать все, что угодно.

И я закурил сигару.

Поль продолжал:

— Это все, что она сказала?

— Мой милый, если бы ты сосчитал ее слова, ты заметил бы, что она произнесла их ровно шесть, из которых двумя она дала понять, что не знает французского языка. Значит, остается четыре. Ну, а в четырех словах особенно много ведь не выскажешь.

Поль, казалось, был совсем уничтожен, обманут в своих ожиданиях, сбит с толку.

Но вдруг итальянка спросила меня все тем же недовольным тоном, который, по-видимому, был для нее обычен:

— Вы не знаете, в котором часу мы приедем в Геную?

— В одиннадцать часов вечера, сударыня,— ответил я.

Помолчав немного, я продолжал:

— Мы с приятелем тоже едем в Геную и будем чрезвычайно счастливы, если сможем быть вам чем-нибудь полезны в пути.

Так как она не отвечала, я настаивал:

— Вы едете одна, и если нуждаетесь в наших услугах...

Она опять отчеканила новое «mica», и так резко, что я сразу замолчал.

Поль спросил:

---

[1] Ничуть, нет *(итал.)*.

— Что она тебе сказала?

— Она сказала, что находит тебя очаровательным.

Но он не был расположен шутить и сухо попросил не насмехаться над ним. Тогда я перевел ему вопрос нашей соседки и мое любезное предложение, встретившее такой суровый отпор.

Он волновался, точно белка в клетке. Он сказал:

— Если бы нам удалось узнать, в какой гостинице она остановится, мы поехали бы туда же. Постарайся как-нибудь половчее выспросить ее, придумай еще какой-нибудь предлог для разговора.

Но это было не так-то просто, и я совсем не знал, что бы такое изобрести, хотя мне и самому хотелось познакомиться с этой неподатливой особой.

Проехали Ниццу, Монако, Ментону, и поезд остановился на границе для осмотра багажа.

Хотя я не выношу плохо воспитанных людей, которые завтракают и обедают в вагоне, я все же накупил целый запас провизии, чтобы испытать последнее средство: сыграть на аппетите нашей спутницы. Я чувствовал, что эта девица в обычных условиях должна быть сговорчивее. Она была раздражена какой-то неприятностью, но, вероятно, достаточно было любого пустяка, угаданного желания, одного какого-либо слова, кстати сделанного предложения, чтобы развеселить ее, привлечь на нашу сторону и покорить.

Поезд отошел. Нас по-прежнему было только трое в вагоне. Я разложил на скамейке свои припасы, разрезал цыпленка, красиво разместил на бумаге ломтики ветчины, потом нарочно пододвинул поближе к спутнице наш десерт: клубнику, сливы, вишни, пирожное и конфеты.

Увидев, что мы принялись за еду, она, в свою очередь, вытащила из мешочка шоколад и две подковки и стала грызть красивыми острыми зубами хрустящий хлеб и шоколадную плитку.

Поль сказал мне вполголоса:

— Угости же ее!

— Я это и собираюсь сделать, мой милый, но начать не так-то просто.

Между тем соседка время от времени искоса поглядывала на наши припасы, и я понял, что, покончив

со своими двумя подковками, она еще не утолит голода. Я дал ей время завершить ее скромный обед, а затем сказал:

— Не окажете ли нам честь, сударыня, попробовать эти ягоды?

Она опять ответила «mica», но уже не таким сердитым тоном, как раньше. Я настаивал:

— В таком случае позвольте мне предложить вам немного вина. Я вижу, вы ничего не пили. Это вино вашей родины, вино Италии, и так как сейчас мы уже на вашей земле, нам было бы весьма приятно, если бы прелестный итальянский ротик принял подношение от соседей-французов.

Она тихонько покачала головой, упрямо отказываясь и в то же время готовая согласиться, и снова произнесла свое «mica», но почти вежливое «mica». Я взял бутылочку, оплетенную соломой на итальянский манер, наполнил стаканы и поднес ей.

— Выпейте,— сказал я,— пусть это будет приветствием по случаю приезда на вашу родину.

Она с недовольным видом взяла стакан и осушила его залпом, точно ее мучила жажда, после чего вернула его мне, даже не поблагодарив.

Тогда я предложил ей вишен:

— Кушайте, пожалуйста, сударыня. Вы же видите, что доставите нам большое удовольствие.

Она оглядела из своего угла фрукты, разложенные около нее, и проговорила так быстро, что я с трудом мог разобрать:

— A me non piacciono ne le ciliegie ne le susine; amo soltanto le fragole.

— Что она говорит? — тотчас же осведомился Поль.

— Она говорит, что не любит ни вишен, ни слив, а только клубнику.

Я положил ей на колени газету с клубникой. Она сейчас же с чрезвычайной быстротой принялась есть ягоды, захватывая их кончиками пальцев и подбрасывая себе в рот, который при этом весьма мило и кокетливо открывался.

Когда она покончила с красной кучкой, которая на наших глазах в течение каких-нибудь нескольких ми-

нут уменьшалась, таяла и совсем исчезла под ее проворными пальцами, я спросил:

— Что я еще могу вам предложить?

Она ответила:

— Я охотно съела бы кусочек цыпленка.

И она уписала, наверное, половину птицы, отгрызая огромные куски с ухватками плотоядного животного. Потом она решилась взять вишен, которых не любила, потом слив, потом пирожного, потом сказала: «Довольно»,— и снова забилась в свой угол.

Это начинало меня забавлять; я хотел заставить ее съесть еще что-нибудь и удвоил комплименты и предложения, чтобы склонить ее к этому. Но она внезапно пришла в прежнюю ярость и выпалила мне прямо в лицо такое свирепое «mica», что я уже не осмеливался больше нарушать ее пищеварение.

Я обратился к приятелю:

— Бедняга Поль, мы, кажется, напрасно старались.

Медленно спускалась ночь, жаркая южная ночь, расстилая теплые тени по накаленной и усталой земле. Вдали, то тут, то там, со стороны моря, на мысах, на вершинах прибрежных скал зажигались огоньки, а на потемневшем горизонте начали появляться звезды, и я порой смешивал их с огнями маяков.

Аромат апельсиновых деревьев становился сильнее, и мы с упоением, глубоко, всей грудью впивали его; какою-то негой, неземной отрадой, казалось, веяло в благовонном воздухе. И вдруг под деревьями, вдоль полотна, в темноте, теперь уже совсем сгустившейся, я увидел что-то вроде звездного дождя. Точно капельки света прыгали, порхали, резвились и перебегали в листве, точно крошечные звездочки упали с неба, чтоб поиграть на земле. То были светлячки, пылающие мушки, плясавшие в благоуханном воздухе причудливый огненный танец.

Один светлячок случайно залетел в наш вагон и стал порхать, мерцая своим перемежающимся светом, который то загорался, то угасал. Я задернул лампочку синей занавеской и следил за фантастической мушкой, носившейся взад и вперед по прихоти своего пламенеющего полета. Внезапно она уселась на черные волосы нашей соседки, уснувшей после обеда. И Поль

замер в экстазе, не сводя взора с блестящей точки, которая сверкала на лбу спящей женщины, точно живая драгоценность.

Итальянка проснулась без четверти одиннадцать; светлячок все еще сидел у нее в волосах. Видя, что она зашевелилась, я сказал ей:

— Мы подъезжаем к Генуе, сударыня.

Не отвечая мне, она пробормотала, словно ее преследовала навязчивая мысль:

— Что же мне теперь делать?

Потом вдруг спросила меня:

— Хотите, я поеду с вами?

Я был настолько поражен, что даже не понял.

— То есть как с нами? Что вы хотите сказать?

Она повторила, начиная еще больше раздражаться:

— Хотите, я поеду сейчас с вами?

— Ну, конечно; но куда же вы намерены ехать? Куда я должен отвезти вас?

Она пожала плечами с глубоким равнодушием.

— Куда вам будет угодно! Мне все равно.

И дважды повторила:

— Che mi fa?

— Но ведь мы едем в гостиницу.

Она презрительно проронила:

— Ну, что же, поедемте в гостиницу.

Я повернулся к Полю и сказал:

— Она спрашивает, желаем ли мы, чтобы она поехала с нами.

Мой друг был ошеломлен, и это помогло мне прийти в себя. Он пролепетал:

— С нами? Куда же? Зачем? Каким образом?

— Ничего не знаю! Она сделала мне это странное предложение самым раздраженным тоном. Я ответил ей, что мы едем в гостиницу; она заявила: «Ну, что же, поедемте в гостиницу!» У нее, наверное, совсем нет денег. Но как бы то ни было, она весьма своеобразно завязывает знакомства.

Поль, взволнованный, возбужденный, воскликнул:

— Ну, конечно, я согласен, скажи ей, что мы отвезем ее, куда ей угодно!

Затем, после некоторого колебания, он с беспокойством добавил:

— Все-таки надо узнать с кем она хочет ехать? С тобой или со мной?

Я повернулся к итальянке, которая впала в свое обычное равнодушие и, казалось, даже не слушала нас:

— Мы будем крайне счастливы, сударыня, взять вас с собой. Но только мой приятель хотел бы знать, на чью руку, мою или его, вы предпочли бы опереться?

Она посмотрела на меня, широко раскрыв большие черные глаза, и с легким изумлением проговорила:

— Che mi fa?

Я пояснил:

— Если я не ошибаюсь, у вас в Италии того дружка, кто принимает на себя заботу о всех желаниях женщины, выполняет всякую ее прихоть и удовлетворяет всякий ее каприз, называют patito. Кого из нас хотели бы вы избрать своим patito?

Она, не колеблясь, ответила:

— Вас!

Я обернулся к Полю:

— Тебе не везет, мой милый, она выбирает меня.

Он с досадой проговорил:

— Тем лучше для тебя.

И после некоторого раздумья прибавил:

— Так ты в самом деле решил взять с собой эту девку? Она испортит нам все путешествие. Что мы станем делать с женщиной, которая бог знает на кого похожа? Да нас не пустят ни в одну порядочную гостиницу!

Но мне, как нарочно, итальянка начинала нравиться гораздо больше, чем вначале, и теперь я желал, да, желал непременно увезти ее с собой. Эта мысль приводила меня в восхищение, и я уже испытывал ту легкую дрожь ожидания, которая пробегает у нас по жилам в предвкушении ночи любви.

Я ответил:

— Мой милый, ведь мы согласились. Отступать уже поздно. Ты первый посоветовал мне дать ей утвердительный ответ.

Он проворчал:

— Это глупо! Впрочем, делай, как хочешь.

Поезд дал свисток, замедлил ход; мы приехали.

Я вышел из вагона и помог выйти моей новой подруге. Она легко спрыгнула на платформу, и я предложил ей руку, на которую она оперлась как будто с отвращением. Отыскав и получив багаж, мы отправились в город. Поль шагал молчаливо и нервно.

Я спросил его:

— Где же мы остановимся? Пожалуй, в «Город Париж» не очень-то удобно явиться с женщиной, в особенности с этой итальянкой.

Поль перебил меня:

— Именно, с итальянкой, которая больше смахивает на девку, чем на герцогиню. Ну, да меня это не касается. Поступай, как знаешь!

Я стал в тупик. Я заранее написал в «Город Париж», чтобы за нами оставили помещение... но теперь... я уж и не знал, как мне быть.

Двое носильщиков несли за нами чемоданы. Я продолжал:

— Тебе следовало бы пойти вперед. Ты скажешь, что мы сейчас придем. И, кроме того, ты дашь понять хозяину, что я с одной... приятельницей и что мы хотим получить совершенно отдельное помещение на троих, чтоб не встречаться с другими путешественниками. Он поймет, и, смотря по тому, что он нам ответит, мы и будем решать.

Но Поль проворчал:

— Благодарю, такие поручения и эта роль мне совершенно не подходят. Я приехал сюда не для того, чтобы заботиться о твоих апартаментах и удовольствиях.

Но я настойчиво убеждал:

— Да ну же, мой милый, не сердись. Гораздо лучше устроиться в хорошей гостинице, чем в плохой, и разве так уж трудно попросить у хозяина три отдельные комнаты со столовой?

Я подчеркнул «три», и это его убедило.

Он проследовал вперед, и я видел, как он вошел в большой подъезд красивой гостиницы, пока я на другой стороне улицы тащил под руку свою молчаливую итальянку, а двое носильщиков следовали за мною по пятам.

Наконец Поль вернулся, и лицо у него было такое же угрюмое, как и у моей спутницы.

— Нам дают помещение,— сказал он,— но комнат только две. Устраивайся, как знаешь.

И я пошел за ним, стыдясь, что вхожу в гостиницу в обществе подозрительной спутницы.

Действительно, нам дали две комнаты, отделенные друг от друга небольшой гостиной. Я попросил, чтобы нам принесли холодный ужин, и нерешительно повернулся к итальянке:

— Нам удалось достать только две комнаты, сударыня, выбирайте, какую вам угодно.

Она ответила своим обычным: «Che mi fa?» Тогда я поднял с пола ее маленький черный деревянный ящик, настоящий сундучок горничной, и отнес его в комнату направо, которую я выбрал для нее... для нас. На четырехугольном клочке бумаги, наклеенном на ящике, было написано по-французски: «Мадмуазель Франческа Рондоли, Генуя».

Я спросил:

— Вас зовут Франческа?

Она не ответила и только утвердительно кивнула головой.

Я продолжал:

— Сейчас мы будем ужинать. Может быть, вы желаете пока привести в порядок туалет?

Она ответила своим «mica» — словом, которое повторялось в ее устах так же часто, как и «Che mi fa?» Я настаивал:

— После поездки по железной дороге так ведь приятно немного почиститься.

Потом я подумал, что у нее, быть может, не было с собой необходимых женщине туалетных принадлежностей, так как мне казалось, что она в затруднительном положении или только что выпуталась из неприятного приключения,— и я принес ей свой несессер.

Я вынул оттуда все находившиеся в нем туалетные принадлежности: щеточку для ногтей, новую зубную щетку — я всегда вожу с собой целый набор зубных щеток,— ножницы, пилочки, губки. Я откупорил флакон с душистой лавандовой водой и флакончик с new mown hay, предоставляя ей выбрать, что пожелает.

Открыл коробочку с пудрой, где лежала легкая пуховка. Повесил на кувшин с водой одно из моих тонких полотенец и положил рядом с тазом непочатый кусок мыла.

Она следила за моими движениями большими сердитыми глазами: мои заботы, казалось, нисколько не удивляли ее и не доставляли ей никакого удовольствия.

Я сказал ей:

— Вот все, что вам может понадобиться. Когда ужин будет готов, я скажу вам.

И я вернулся в гостиную. Поль завладел другою комнатой и заперся в ней, так что мне пришлось дожидаться в одиночестве.

Лакей то уходил, то приходил, принося тарелки, стаканы. Он медленно накрыл на стол, потом поставил холодного цыпленка и объявил, что все готово.

Я тихонько постучал в дверь мадмуазель Рондоли. Она крикнула: «Войдите». Я вошел. Меня обдал удушливый запах парфюмерии, резкий, густой запах парикмахерской.

Итальянка сидела на своем сундучке в позе разочарованной мечтательницы или уволенной прислуги. Я с первого же взгляда понял, что означало для нее привести в порядок свой туалет. Неразвернутое полотенце висело на кувшине, по-прежнему полном воды. Нетронутое сухое мыло лежало около пустого таза; но зато можно было подумать, что молодая женщина выпила по меньшей мере половину флаконов с духами. Правда, одеколон она пощадила, не хватало всего лишь трети бутылки; но она вознаградила себя неимоверным количеством лавандовой воды и new mown hay. Она так напудрила лицо и шею, что в воздухе, казалось, еще носился легкий белый туман, облако пудры. Ее ресницы, брови, виски были словно обсыпаны снегом; пудра лежала на щеках словно штукатурка и толстым слоем заполняла все впадины на лице — крылья носа, ямочку на подбородке, уголки глаз.

Когда она встала, по комнате разнесся такой резкий запах, что я почувствовал приступ мигрени.

Сели ужинать. Поль был в отвратительном настрое-

нии. Я не мог вытянуть из него ничего, кроме воркотни, недовольных замечаний или ядовитых любезностей.

Мадмуазель Франческа поглощала еду, словно бездонная пропасть. Поужинав, она задремала на диване. Но я с беспокойством чувствовал, что приближается решительный час нашего размещения по комнатам. Решив ускорить события, я присел к итальянке и галантно поцеловал ей руку.

Она приоткрыла усталые глаза и бросила на меня из-под приподнятых век сонный и, как всегда, недовольный взгляд.

Я сказал ей:

— Так как у нас всего две комнаты, не разрешите ли мне поместиться в вашей?

Она ответила:

— Делайте, как вам угодно. Мне все равно. Che mi fa?

Это равнодушие укололо меня:

— Значит, вам не будет неприятно, если я пойду с вами?

— Мне все равно. Как хотите.

— Не желаете ли лечь сейчас?

— Да, я очень хочу спать.

Она встала, зевнула, протянула Полю руку, которую тот сердито пожал, и я посветил ей по дороге в нашу комнату.

Но беспокойство продолжало преследовать меня.

— Вот все, что вам может понадобиться,— повторил я снова.

И я самолично позаботился налить воды из кувшина в таз и положить полотенце около мыла.

Потом вернулся к Полю. Не успел я войти, как он объявил:

— Порядочную же дрянь ты притащил сюда!

Я засмеялся:

— Милый друг, не говори, что зелен виноград.

Он прибавил со скрытым ехидством:

— Смотри, дорогой мой, как бы не захворать от этого винограда!

Я вздрогнул, и меня охватила та мучительная тревога, которая преследует нас после подозрительных

любовных приключений, тревога, отравляющая нам самые очаровательные встречи, неожиданные ласки, случайно сорванные поцелуи. Однако я напустил на себя удальство:

— Ну, что ты, эта девушка не потаскуха.

Но теперь я был в руках этого мошенника! Он подметил на моем лице тень тревоги:

— Но ведь ты же о ней ничего не знаешь! Я поражаюсь тебе! Ты подбираешь в вагоне итальянку, путешествующую в одиночестве; с неподражаемым цинизмом она предлагает тебе провести с нею ночь в первой попавшейся гостинице. Ты берешь ее с собой. И еще утверждаешь, что это не девка! И уверяешь себя, будто не подвергаешься сегодня вечером такой же опасности, как если бы ты провел ночь в постели... женщины, больной оспой!

И он рассмеялся злым, раздраженным смехом. Я присел, терзаемый беспокойством. Что мне теперь делать? Ведь он прав. Во мне началась страшная борьба между желанием и страхом.

Он продолжал:

— Делай, как знаешь, я тебя предупредил; только после не плакаться!

Но я уловил в его взгляде такую злую иронию, такую радость мести, он так дерзко издевался надо мною, что я не стал больше колебаться. Я протянул ему руку.

— Спокойной ночи,— сказал я.— И ей-богу, милый мой, победа стоит опасности!

Где нет опасностей — там торжество без славы!

И я твердыми шагами вошел в комнату Франчески.

В изумлении, восхищенный, остановился я на пороге. Она уже спала на постели, совершенно нагая. Сон настиг ее, пока она раздевалась, и она лежала в прелестной величественной позе тициановской женщины.

Казалось, побежденная усталостью, она прилегла на кровать, когда снимала чулки,— они лежали тут же на простыне; затем вспомнила о чем-то, должно быть о чем-нибудь приятном, потому что медлила вставать, а затем, незаметно закрыв глаза, тихо уснула. Вышитая по вороту ночная рубашка, купленная в магазине

готовых вещей — роскошь начинающей,— валялась на стуле.

Она была очаровательна — молодая, крепкая и свежая.

Что может быть прелестнее спящей женщины! Это тело, все контуры которого так нежны, все изгибы так пленительны, все мягкие округлости так смущают сердце, как будто создано для того, чтобы неподвижно покоиться в постели. Эта волнистая линия, которая, углубляясь у талии, приподнимается на бедре, а потом легко и изящно спускается по изгибу ноги, чтобы так кокетливо завершиться у кончиков пальцев, может обрисоваться во всей своей изысканной прелести лишь на простынях постели.

Одно мгновение, и я уже готов был позабыть благоразумные советы приятеля, но, повернувшись внезапно к туалетному столику, увидел, что все вещи находились на нем в том же положении, как я их и оставил; и я сел, томясь беспокойством, мучаясь своей нерешительностью.

По-видимому, я просидел так долго, очень долго, может быть, целый час, не отваживаясь ни на что — ни на атаку, ни на бегство. Впрочем, отступление было невозможно, и приходилось либо просидеть всю ночь на стуле, либо тоже улечься в постель на свой риск и страх.

Но там ли, тут ли — я все равно не мог и думать о сне: мысли мои были слишком возбуждены, а глаза слишком заняты.

Я вертелся во все стороны, дрожа, как в лихорадке, не находя себе места, взволнованный до крайности. В конце концов я пошел на уступку: «Лечь в постель — еще ни к чему меня не обяжет. Во всяком случае, я с большим удобством отдохну на кровати, чем на стуле».

И я стал медленно раздеваться, а потом, перебравшись через спящую, растянулся вдоль стены, повернувшись спиной к искушению.

Так пролежал я долго, очень долго, не в силах уснуть.

Но вдруг соседка моя пробудилась. Она открыла удивленные и, как всегда, недовольные глаза, потом,

заметив, что лежит голая, поднялась и стала преспокойно надевать ночную рубашку, точно меня там и не было.

Тогда... черт возьми... я воспользовался обстоятельствами, что ее, по-видимому, нисколько не смутило; она снова мирно уснула, склонив голову на правую руку.

А я долго еще размышлял о неблагоразумии и слабости человеческой. Затем наконец погрузился в сон.

Она поднялась рано, как женщина, привыкшая с утра работать. Вставая, она невольно разбудила меня, и я стал следить за нею из-под полуприкрытых век.

Она не спеша ходила по комнате, точно удивляясь, что ей нечего делать Потом решилась подойти к туалетному столику и в одно мгновение вылила на себя все духи, которые еще оставались в моих флаконах. Она воспользовалась, правда, и водой, но в весьма ограниченном количестве.

Одевшись, она уселась на свой сундук и, обняв руками колено, задумалась.

Я сделал вид, будто только что увидел ее, и сказал:

— С добрым утром, Франческа.

Но она, казалось, нисколько не стала любезнее со вчерашнего дня и проворчала:

— С добрым утром.

Я спросил:

— Вы хорошо спали?

Не отвечая, она утвердительно кивнула головой; я соскочил с кровати и подошел поцеловать ее.

Она нехотя подставила мне лицо, как ребенок, которого ласкают против его желания. Я нежно обнял ее (раз вино налито, надо его выпить) и медленно прикоснулся губами к ее большим сердитым глазам, которые она с досадой закрывала под моими поцелуями, к свежим щекам, к полным губам, которые она прятала от поцелуев.

Я сказал ей:

— Значит, вы не любите, когда вас целуют?

Она ответила:

— Міса.

Я сел рядом с ней на сундук и просунул свою руку под ее локоть:

— Mica! Mica! На все mica! Теперь я буду всегда называть вас мадмуазель Mica!

В первый раз я как будто заметил на ее губах тень улыбки, но она исчезла так быстро, что, может быть, я и ошибся.

— Но если вы всегда будете отвечать «mica», я совсем не буду знать, чем развлечь вас, чем доставить вам удовольствие. Вот, сегодня, например, что мы будем делать?

Она поколебалась, словно какое-то подобие желания мелькнуло в ее сознании, и равнодушно проговорила:

— Мне все равно, что хотите.

— Хорошо, мадмуазель Mica, тогда мы возьмем коляску и поедем кататься.

Она пробурчала:

— Как хотите.

Поль ждал нас в столовой со скучающей физиономией третьего лица в любовном приключении. Я состроил восторженную мину и пожал ему руку с энергией, полной торжествующих признаний.

Он спросил:

— Что ты намерен делать?

Я ответил:

— Сначала немного побродим по городу, а потом возьмем коляску и поедем куда-нибудь в окрестности.

Завтрак прошел в молчании, затем мы отправились по городу осматривать музеи. Я таскал Франческу под руку из одного дворца в другой. Мы побывали во дворце Спинола, во дворце Дориа, во дворце Марчелло Дураццо, в Красном дворце, в Белом дворце. Она ничем не интересовалась и лишь изредка окидывала шедевры искусства ленивым, безразличным взглядом. Поль сердито шел за нами и ворчал. Потом мы прокатились в коляске за город, причем все трое молчали.

Затем вернулись пообедать.

То же самое повторилось и назавтра и послезавтра.

На третий день Поль сказал:

— Знаешь, я намереваюсь расстаться с тобой; я

не желаю сидеть здесь три недели и смотреть, как ты волочишься за этой девкой!

Я смутился и растерялся, так как, к моему величайшему изумлению, странным образом привязался к Франческе. Человек слаб и неразумен, он увлекается пустяками и, когда его чувственность возбуждена или покорена, становится малодушным. Мне стала дорога эта девушка, которую я совсем не знал, эта девушка, молчаливая и вечно недовольная. Мне нравилось ее нахмуренное лицо, надутые губы, скучающий взгляд, нравились ее усталые движения, ее презрительная податливость на ласки, самое равнодушие ее ласк. Невидимые узы, те таинственные узы животной любви, та скрытая привязанность, которую порождает ненасытное желание, удерживали меня возле нее. Я все откровенно рассказал Полю. Он обозвал меня болваном, потом предложил:

— Ну что ж, возьми ее с собой.

Но она решительно отказалась уехать из Генуи и не желала объяснить причину. Я пустил в ход просьбы, обещания; ничего не помогло.

И я остался.

Поль объявил, что уезжает один. Он уложил даже свой чемодан, но тоже остался.

И вот прошло две недели.

Франческа, по-прежнему молчаливая и сердитая, жила скорее около меня, чем со мной, отвечая на все просьбы, на все мои предложения вечным своим «Che mi fa?» и не менее вечным «mica».

Мой приятель не переставал беситься. На все его гневные вспышки я неизменно отвечал:

— Если тебе здесь надоело, можешь уехать. Я тебя не удерживаю.

Тогда он начинал ругаться, осыпал меня упреками и кричал:

— Куда же прикажешь мне ехать? В нашем распоряжении было всего три недели, а две уже прошли! Уж нет времени теперь ехать дальше. И потом я вовсе не собирался отправляться в Венецию, Флоренцию и Рим один! Но ты заплатишь мне за это, и гораздо дороже, чем думаешь. Незачем тащить человека из Па-

рижа в Геную, чтобы запереть его в гостинице с итальянской потаскухой!

Я спокойно отвечал ему:

— Ну, что ж, тогда возвращайся в Париж.

И он вопил:

— Я так и сделаю, и не позже чем завтра!

Но и на следующий день, все так же злясь и ругаясь, он не уехал, как и накануне.

Нас теперь уже знали в городе, где мы бродили по улицам с утра до вечера, по узким улицам без тротуаров, придающим городу сходство с огромным каменным лабиринтом, прорезанным коридорами, которые напоминают подземные ходы. Мы блуждали по этим проходам, где дует яростный сквозной ветер, по переулкам, сжатым между такими высокими стенами, что неба почти не видно. Встречные французы порой оглядывались на нас, с удивлением узнавая соотечественников, оказавшихся в обществе этой скучающей и крикливо одетой девицы, чьи манеры в самом деле казались странными, неуместными, компрометирующими.

Она шла, опираясь на мою руку, ничем не интересуясь. Почему же она оставалась со мной, с нами, если мы, по всей видимости, доставляли ей так мало удовольствия? Кто она? Откуда? Чем занимается? Есть ли у нее какие-нибудь планы, замыслы? Или она живет наудачу, случайными встречами и приключениями? Напрасно старался я понять ее, разгадать, объяснить себе. Чем больше я узнавал ее, тем больше она меня поражала и представлялась мне какой-то загадкой. Конечно, она не была распутницей, торгующей любовью. Скорее она казалась мне дочерью бедных родителей, которую соблазнили, обманом увезли, погубили, а теперь бросили. На что же она рассчитывала? Чего ожидала? Ведь она вовсе не старалась покорить меня или извлечь из меня какую-нибудь выгоду.

Я пытался расспрашивать ее, заговаривал с ней о ее детстве, о семье. Она не отвечала. И я оставался с ней, свободный сердцем, но плотью в плену, никогда не уставая держать в объятиях эту угрюмую и великолепную самку, соединяясь с нею, как животное, обуреваемый чувственностью, или, скорее, соблазненный и побежденный каким-то чувственным очарованием, моло-

дым, здоровым, могучим очарованием, исходящим от нее, от ее ароматной кожи, от упругих линий ее тела.

Прошла еще неделя. Срок моего путешествия истекал: я должен был вернуться в Париж 11 июля. Поль теперь почти примирился с событиями, но продолжал браниться. Я же пытался изобретать удовольствия, развлечения, прогулки, чтобы позабавить любовницу и друга; я просто из кожи лез.

Однажды я предложил им экскурсию в Санта-Маргарета. Этот очаровательный, окруженный садами городок прячется у подножия скалистого берега, который выдается далеко в море, до самого поселка Порто-Фино. Мы отправились вгроем по чудесной дороге, которая извивалась вдоль горы. Вдруг Франческа сказала мне:

— Завтра я не смогу с вами гулять. Я пойду к родным.

И замолчала. Я не расспрашивал ее, так как был уверен, что она все равно ничего не ответит.

На следующий день она действительно встала очень рано. Так как я еще лежал, она села на постель у меня в ногах и робко, нерешительно проговорила:

— Если я вечером не вернусь, вы зайдете за мной?

— Ну, конечно. А куда мне зайти?

Она стала объяснять:

— Вы пойдете по улице Виктора-Эммануила, потом свернете в пассаж Фальконе и переулок Сан-Рафаэль и увидите дом торговца мебелью; в правом флигеле в глубине двора спросите госпожу Рондоли. Я буду там.

И она ушла. Мне показалось это весьма странным.

Увидев меня одного, Поль изумился и пробормотал:

— Где же Франческа?

Я рассказал ему все, что произошло.

Он воскликнул:

— Ну, мой дорогой, давай воспользуемся случаем и дадим тягу! Все равно нам уже пора. Двумя днями позже или раньше — это дела не меняет. В путь, в путь, укладывай чемоданы! В путь!

Я не соглашался:

— Но, милый друг, не могу же я бросить так эту девушку, прожив с ней почти три недели. Я должен проститься с ней, уговорить ее принять от меня что-нибудь; нет, нет, иначе я оказался бы просто подлецом.

Но он ничего не хотел слушать, торопил меня, не давал мне покоя. Однако я не уступал.

Я не выходил из дома весь день, дожидаясь возвращения Франчески. Она не вернулась.

Вечером, за обедом, Поль торжествовал:

— Это она тебя бросила, дорогой мой. Вот забавно, ужасно забавно!

Признаюсь, я был удивлен и немного обижен. Он хохотал мне в лицо, насмехался надо мной.

— Способ хоть и простой, но придуман неплохо: «Подождите меня, я вечером вернусь». Долго ты намерен ее ждать? Да и как знать, ты, быть может, будешь так наивен, что еще пойдешь разыскивать ее по указанному адресу. «Здесь живет госпожа Рондоли?» «Такой здесь нет, сударь». Держу пари, что ты собираешься идти.

Я протестовал:

— Да нет же, мой милый, уверяю тебя, что если она не вернется завтра утром, я уеду в восемь часов, скорым поездом. Я прожду ее двадцать четыре часа. Этого достаточно: моя совесть будет спокойна.

Весь вечер мне было не по себе; я немного тосковал, немного нервничал. Право же, я к ней привязался. В полночь я лег. Спал очень плохо.

В шесть часов я был уже на ногах. Я разбудил Поля, уложил чемодан, и два часа спустя мы ехали во Францию.

III

Вышло так, что на следующий год, в то же самое время, меня, подобно приступу перемежающейся лихорадки, снова охватило желание увидеть Италию. Я немедленно решил предпринять это путешествие, потому что для образованного человека посетить Венецию, Флоренцию и Рим, конечно, необходимо. Кроме того, это ведь дает много тем для разговора в обществе и возможность произносить избитые фразы об искусстве, которые всегда кажутся необычайно глубокомысленными.

На этот раз я отправился один и приехал в Геную в тот же час, что и в прошлом году, но уже без всяких

дорожных приключений. Остановился я в той же гостинице и случайно оказался в той же самой комнате!

Но едва я лег в постель, как воспоминание о Франческе, уже накануне смутно витавшее в моем сознании, стало преследовать меня с удивительной настойчивостью.

Знакома ли вам эта неотвязная мысль о женщине, преследующая вас при возвращении спустя долгое время в те места, где вы любили ее и обладали ею?

Это одно из самых сильных и самых тягостных ощущений, какие я только знаю. Чудится: вот она войдет, улыбнется, раскроет объятия. Ее образ, зыбкий и в то же время отчетливый, то возникает перед вами, то ускользает, овладевает вами, заполняет вам сердце, волнует ваши чувства своим призрачным присутствием. Ваш взор видит ее, вас преследует аромат ее духов, на губах вы ощущаете ее поцелуи, на коже — ласку ее тела. Вы сейчас один, вы это сознаете, но вас томит неизъяснимое волнение, порожденное этим призраком. И гнетущая, надрывающая душу тоска охватывает вас. Кажется, будто только что вас покинули навсегда. Все предметы приобретают мрачное значение и вселяют в сердце, в душу тягостное чувство одиночества и забвения. О, не возвращайтесь никогда в город, в дом, в комнату, в лес, в сад, на скамью, где вы держали в объятиях любимую женщину!

Всю ночь меня преследовало воспоминание о Франческе, и мало-помалу желание увидеть ее вновь овладевало мной, желание сначала смутное, потом все более сильное, острое, жгучее. Я решил провести в Генуе следующий день и попытаться ее разыскать. Если это не удастся, я уеду с вечерним поездом.

И вот с утра я принялся за поиски. Я прекрасно помнил указания, которые она дала, расставаясь со мною. Улица Виктора-Эммануила — пассаж Фальконе — переулок Сан-Рафаэль — дом торговца мебелью — в глубине двора — правый флигель.

Я нашел дорогу, хоть и не без труда, и постучался в дверь ветхого домика. Открыла толстая женщина, должно быть, изумительно красивая когда-то, но теперь лишь изумительно грязная. Хотя она была чересчур жирна, в чертах ее лица все же сохранилось необыкно-

венное величие. Пряди ее растрепанных волос ниспадали на лоб и плечи, а под широким капотом, испещренным пятнами, колыхалось жирное, дряблое тело. На шее у нее было огромное позолоченное ожерелье, а на руках великолепные генуэзские филигранные браслеты.

Она неприветливо спросила:

— Что вам нужно?

Я отвечал:

— Не здесь ли живет мадмуазель Франческа Рондоли?

— А на что она вам?

— Я имел удовольствие встретиться с нею в прошлом году, и мне хотелось бы вновь повидать ее.

Старуха изучала меня недоверчивым взглядом.

— А скажите, где вы с ней встретились?

— Да здесь же, в Генуе!

— Как вас зовут?

Я слегка замялся, но назвал себя. И лишь только я произнес свое имя, итальянка простерла руки, словно собираясь меня обнять.

— Ах, вы тот самый француз, как я рада вас видеть! Но до чего же вы огорчили бедную девочку! Она ждала вас целый месяц, сударь, да, целый месяц. В первый день она думала, что вы за ней зайдете. Она хотела знать, любите вы ее или нет! О, если бы вы знали, как она плакала, когда поняла, что вы уже не придете! Да, сударь, она все глаза выплакала! Потом она отправилась в гостиницу. Но вас уже не было. Тогда она подумала, что вы поехали дальше по Италии и еще будете в Генуе на обратном пути и тогда зайдете за ней, потому что она-то ведь не хотела ехать с вами. И она прождала вас больше месяца,— да, сударь! — и скучала, уж как скучала! Я ведь ее мать!

По правде сказать, я пришел в некоторое замешательство. Но оправился и спросил:

— А сейчас она здесь?

— Да нет, сударь, она в Париже, с одним художником, прекрасным молодым человеком, который очень любит ее, сударь, уж так любит, и дарит ей все, чего она только не захочет. Вот посмотрите, что она мне посылает, своей матери. Правда, красивые?

И с чисто южной живостью она показала свои широкие браслеты и тяжелое ожерелье. Она продолжала:

— У меня есть еще двое серег с камнями, и шелковое платье, и кольца; но по утрам я их не ношу, а вот только когда приоденусь куда-нибудь. Она сейчас очень счастлива, сударь, очень счастлива. Вот уж она будет рада, когда я ей напишу, что вы были! Да зайдите же, сударь, присядьте. Зайдите, выпейте чего-нибудь.

Я отказывался,— теперь мне хотелось уехать с первым же поездом. Но она схватила меня за руку и потащила в дом, приговаривая:

— Зайдите, сударь, должна же я ей написать, что вы побывали у нас.

И я очутился в небольшой, довольно темной комнате, где стояли стол и несколько стульев.

Итальянка снова заговорила:

— О, сейчас она очень счастлива, очень счастлива! Когда вы повстречали ее на железной дороге, у нее было большое горе. Ее дружок бросил ее в Марселе. И она возвращалась домой одна, бедняжка. Вы ей сразу же очень понравились, но, понимаете, она ведь тогда еще немножко грустила. Теперь она ни в чем не нуждается; она пишет мне обо всем, что делает. Его зовут господин Бельмен. Говорят, он у вас известный художник. Он встретил ее на улице, да, сударь, так прямо на улице, и тут же влюбился в нее. Но не хотите ли стаканчик сиропу? Очень вкусный сироп. А вы что же, совсем одни в этом году?

Я ответил:

— Да, совсем один.

После сообщений г-жи Рондоли мое первое разочарование рассеялось, и я чувствовал теперь все большее и большее желание расхохотаться. Сироп пришлось выпить.

Она продолжала:

— Вы так-таки совсем один? О, как жаль, что больше нет Франчески: она составила бы вам компанию, пока вы здесь. Разгуливать одному совсем не весело; она тоже будет очень жалеть.

Затем, когда я поднимался из-за стола, она воскликнула:

— А не хотите ли, чтобы с вами пошла Карлотта?

Она прекрасно знает все места для прогулок. Это моя вторая дочь, сударь, вторая.

По-видимому, она приняла мое изумление за согласие и, бросившись к двери, крикнула в темноту невидимой лестницы:

— Карлотта! Карлотта! Сойди сюда, доченька, скорее, скорее.

Я пытался возражать, но она настаивала на своем:

— Нет, нет, она составит вам компанию; она очень покладистая и гораздо веселее той; это хорошая девушка, прекрасная девушка, я ее очень люблю.

Я услышал шарканье шлепанцев на ступеньках лестницы, и появилась высокая черноволосая девушка, тоненькая и хорошенькая, но тоже растрепанная; под старым материнским платьем я угадывал молодое, стройное тело.

Г-жа Рондоли тотчас же ознакомила ее с моим положением:

— Это француз Франчески, знаешь, тот, прошлогодний. Он пришел за ней; он нынче, бедненький, совсем один. И я сказала ему, что ты пойдешь с ним, чтобы составить ему компанию.

Карлотта посмотрела на меня красивыми карими глазами и, улыбаясь, прошептала:

— Если он хочет, я с удовольствием.

Как я мог отказаться? Я объявил:

— Ну, конечно, очень хочу.

Г-жа Рондоли подтолкнула ее к двери:

— Иди оденься, только скорей, скорей. Надень голубое платье и шляпу с цветами, да поторапливайся!

Когда дочь вышла, она пояснила:

— У меня есть еще две, но они моложе. Каких денег стоит, сударь, вырастить четырех детей! Хорошо, что хоть старшая теперь устроилась.

Потом она стала рассказывать мне о своей жизни, о покойном муже, служившем на железной дороге, и о всех достоинствах своей второй дочери, Карлотты.

Девушка скоро вернулась; она была одета во вкусе своей старшей сестры,— в яркое и нелепое платье.

Мать оглядела ее с ног до головы, нашла, что все в порядке, и сказала нам:

— Ну, теперь ступайте, дети мои!

Потом обратилась к дочери:

— Смотри, только не возвращайся позже десяти часов; ты ведь знаешь, что дверь заперта.

Карлотта ответила:

— Не беспокойся, мама!

Она взяла меня под руку, и мы пошли с ней бродить по улицам, как в прошлом году с ее сестрой.

К завтраку я вернулся в гостиницу, потом повез мою новую подругу в Санта-Маргарета, повторяя мою последнюю прогулку с Франческой.

А вечером она не вернулась домой, помня, что дверь после десяти часов была, наверно, заперта.

И в течение двух недель, бывших в моем распоряжении, я гулял с Карлоттой по окрестностям Генуи. Она не заставила меня пожалеть о своей сестре.

Я покинул ее в день своего отъезда всю в слезах, оставив подарок для нее и четыре браслета для матери.

В ближайшие дни я собираюсь снова съездить в Италию и с некоторым беспокойством, но и с надеждой думаю о том, что у г-жи Рондоли есть еще две дочери.

ХОЗЯЙКА

Доктору Барадюк

— Я жил тогда,— начал Жорж Кервелен,— в меблированных комнатах на улице Святых отцов.

Когда родители решили отправить меня в Париж изучать право, началось долгое обсуждение всяких подробностей. Цифра моего годового содержания была определена в две тысячи пятьсот франков, но бедную матушку охватило одно опасение, которое она и поведала отцу:

— Если он вдруг станет тратить все свои деньги на пустяки и будет плохо питаться, может пострадать его здоровье. Молодые люди на все ведь способны.

Тогда решили подыскать для меня семейный пансион, скромный и удобный пансион, с тем чтобы плату вносили за меня ежемесячно сами родители.

Я еще ни разу не выезжал из Кемпера. Я жаждал всего, чего жаждут в моем возрасте, и стремился пожить полностью в свое удовольствие.

Соседи, к которым обратились за советом, порекомендовали одну нашу землячку, г-жу Кергаран, сдававшую комнаты со столом.

Отец списался с этой почтенной особой, и однажды вечером я прибыл к ней со своим чемоданом.

Г-же Кергаран было лет сорок. Эта полная, чрезвычайно полная дама говорила зычным голосом капитана, обучающего рекрутов, и решала все вопросы кратко и бесповоротно. Ее узкое-преузкое помещение с одним-единственным окном на улицу в каждом этаже каза-

лось какою-то лестницей из окон или, лучше сказать, ломтиком дома, стиснутого, наподобие сандвича, между двумя соседними домами.

Во втором этаже помещалась сама хозяйка со своей служанкой; в третьем — готовили и ели; в четвертом и пятом — жили четыре пансионера-бретонца. Мне отвели обе комнаты шестого этажа.

Темная лесенка, закрученная штопором, вела в мою мансарду. И целый день без передышки г-жа Кергаран поднималась и спускалась по этой спирали, командуя в своем жилище-ящике, как капитан на борту корабля. По десяти раз подряд она заходила в каждую комнату, надзирала за всем, громогласно отдавала распоряжения, осматривала, хорошо ли постланы постели, хорошо ли вычищено платье, нет ли упущений в уходе за жильцами. Словом, она заботилась о своих пансионерах, как мать, больше, чем мать.

Я скоро свел знакомство с моими четырьмя земляками. Двое из них изучали медицину, а двое других — право. Но все они одинаково покорно терпели деспотическое иго хозяйки. Они боялись ее, как воришка боится сторожа.

Меня же сразу обуяло стремление к независимости, ибо я бунтарь по натуре. Прежде всего я заявил, что намерен возвращаться домой, когда мне заблагорассудится,— потому что г-жа Кергаран установила для нас предельным сроком двенадцать часов ночи. Услышав такую претензию, она уставилась на меня своими светлыми глазами и затем ответила:

— Это невозможно. Я не допущу, чтобы Аннету будили всю ночь. Да и вам нечего где-то пропадать после положенного часа.

Я ответил настойчиво:

— По закону, сударыня, вы обязаны отпирать мне в любой час. Если вы откажетесь отпереть, я удостоверю данный факт при содействии полиции и отправлюсь ночевать в гостиницу за ваш счет. Это — мое право. Вы, следовательно, принуждены будете или отворять мне, или отказать от квартиры. Либо отворяйте, либо мы с вами распрощаемся. Выбирайте.

Я в глаза смеялся над нею, выставляя это требование. Оправившись от изумления, она пожелала вступить

в переговоры, но я проявил неуступчивость, и она сдалась. Мы решили, что у меня будет свой ключ, но при обязательном условии, чтобы об этом никто не знал.

Мое упорство оказало на хозяйку спасительное действие, и с той поры она выказывала мне явную благосклонность. Она стала особенно заботлива ко мне, предупредительна, любезна и даже проявляла некоторую грубоватую нежность, которая отнюдь не была для меня неприятна. Иногда, в веселую минуту, я неожиданно целовал ее, исключительно затем, чтобы она немедленно отвесила мне здоровенную пощечину. Если я успевал вовремя наклонить голову, рука ее пролетала надо мной с быстротой пули, и я хохотал, как сумасшедший, спасаясь бегством, меж тем как она кричала мне вслед:

— Ах, каналья, я вам это припомню!

Мы стали с нею настоящими друзьями.

Но вот я познакомился на улице с молоденькой продавщицей из магазина.

Вы знаете, что такое эти парижские любовные интрижки. В один прекрасный день по дороге в университет вы встречаете юную особу без шляпы, которая прогуливается под руку с подругой перед началом работы. Вы обмениваетесь с ней взглядом и вдруг ощущаете как бы легкий толчок, какой испытываешь иной раз от взгляда женщины. Одна из прелестей жизни — в этой внезапной физической симпатии, расцветающей при случайной встрече, в этом тонком, изящном соблазне, которому сразу поддаешься, соприкоснувшись с существом, созданным для того, чтобы нравиться нам и быть нами любимым. И будет ли оно горячо любимо или не очень,— не все ли равно? В его природе есть что-то, отвечающее тайной жажде любви, заложенной в природе вашего существа. С первого же раза, заметив это лицо, этот рот, волосы, улыбку, вы чувствуете, как обаяние их проникает в вас сладкой и восхитительной радостью, вы чувствуете, что вас наполняет какое-то блаженство, что в вас внезапно пробуждается к этой незнакомой женщине некая, еще смутная нежность. Так и

чудится в ней какой-то призыв, на который вы откликаетесь, что-то притягивающее, что манит вас к себе; так и чудится, что вы уже давным-давно знакомы с ней, уже видели ее когда-то и знаете, о чем она думает.

На следующий день в тот же час вы проходите по той же улице. Опять встречаете ее. Возвращаетесь сюда на другой день и еще на следующий. Наконец завязывается разговор. И любовная интрига следует своим чередом, закономерным, как болезнь.

Итак, к концу третьей недели мы с Эммой находились в том периоде, который предшествует падению. Падение совершилось бы даже и раньше, если бы я только знал, где устроить свидание. Подруга моя жила у родителей и с непреклонным упорством отказывалась переступить порог меблированных комнат. Я ломал себе голову, стараясь придумать средство, уловку, удобный случай. Наконец я встал на путь отчаянных мер и решил привести ее вечером, часов в одиннадцать, к себе на квартиру под предлогом выпить чашку чая. Г-жа Кергаран всегда ложилась в десять. Следовательно, с помощью моего ключа я мог войти бесшумно, не привлекая ничьего внимания. Спустя час — другой мы таким же образом могли бы выйти.

Эмма приняла мое предложение, хотя и заставила себя упрашивать.

День у меня прошел томительно. Я все беспокоился. Я боялся осложнений, катастрофы, какого-нибудь невероятного скандала. Наступил вечер. Я вышел из дома и, зайдя в ресторан, выпил залпом две чашки кофе и рюмок пять вина, чтобы придать себе храбрости. Потом пошел прогуляться по бульвару Сен-Мишель. Я услышал, как пробило десять часов, затем половина одиннадцатого. Тогда я направился медленным шагом к месту свидания. Она уже ждала меня. Она нежно взяла меня под руку, и вот мы двинулись потихоньку к моей квартире. По мере того как мы приближались к дверям, тревога моя все возрастала. Я думал: «Только бы госпожа Кергаран уже улеглась!»

Раза два-три я повторял Эмме:

— Главное, не шумите на лестнице.

Она рассмеялась:

— Вы, значит, очень боитесь, как бы вас не услышали?

— Нет, просто мне не хочется разбудить своего соседа, он тяжело болен.

Вот и улица Святых отцов. Я приближался к своему жилищу с тем страхом, какой испытываешь, отправляясь к дантисту. Во всех окнах темно. Должно быть, спят. Я перевожу дух. С воровскими предосторожностями открываю дверь. Впускаю свою спутницу, потом запираю за ней и на цыпочках, затаив дыхание, поднимаюсь по лестнице, зажигаю одну за другой восковые спички, чтобы девушка как-нибудь не споткнулась.

Проходя мимо спальни хозяйки, я чувствую, что сердце мое учащенно бьется. Наконец-то мы на третьем этаже, затем на четвертом, затем на пятом. Я вхожу к себе. Победа!

Однако я не осмеливался говорить громко и снял ботинки, чтобы не делать никакого шума. Чай, приготовленный на спиртовке, выпит на уголке комода. Потом я становлюсь настойчивым... все более настойчивым... и мало-помалу, как в игре, начинаю снимать одну за другой все одежды моей подруги, которая уступает, сопротивляясь, краснея, смущаясь, всячески стремясь отдалить роковой и восхитительный миг.

И вот на ней оставалась уже только коротенькая белая юбочка, как вдруг дверь распахнулась и на пороге появилась г-жа Кергаран со свечой в руке и совершенно в таком же костюме, как моя гостья.

Я отскочил от Эммы и замер в испуге, глядя на обеих женщин, которые в упор смотрели друг на друга. Что-то будет?

Хозяйка произнесла высокомерным тоном, которого я за нею еще не знал:

— Я не потерплю девок в своем доме, господин Кервелен.

Я пролепетал:

— Что вы, госпожа Кергаран. Мадмуазель — только моя знакомая. Она зашла выпить чашку чая.

Толстуха продолжала:

— Чтобы выпить чашку чая, люди не раздеваются до рубашки. Извольте сейчас же удалить эту особу.

Ошеломленная Эмма принялась плакать, закрывая лицо юбкой. Я же совсем потерял голову, не зная, что делать, что сказать. Хозяйка добавила с неотразимой властностью:

— Помогите мадмуазель одеться и сейчас же выпроводите ее.

Конечно, ничего другого мне и не оставалось делать, и, подобрав платье, лежавшее кружком на паркете, как лопнувший воздушный шар, я накинул его через голову на девушку и с бесконечными усилиями пытался его застегнуть и оправить. Она помогала мне, не переставая плакать, обезумев, торопясь, путаясь во всем, позабыв, где у нее шнурки, где петли, а г-жа Кергаран, бесстрастно стоя со свечой в руке, светила нам в суровой позе блюстителя правосудия.

Движения Эммы стали вдруг стремительными; охваченная непреодолимой потребностью бегства, она одевалась как попало, с бешенством все на себе запахивала, завязывала, закалывала, зашнуровывала и, даже не застегнув ботинок, промчалась мимо хозяйки и бросилась на лестницу. Я следовал за ней в ночных туфлях, тоже полуодетый, и твердил:

— Мадмуазель, мадмуазель...

Я чувствовал, что нужно ей что-нибудь сказать, но ничего не мог придумать. Я нагнал ее только у самого выхода и хотел было взять ее за руку, но она яростно оттолкнула меня и прошептала плачущим голосом:

— Оставьте меня... оставьте меня... не прикасайтесь ко мне...

И выбежала на улицу, захлопнув за собой дверь.

Я повернулся. На площадке второго этажа стояла г-жа Кергаран, и я стал медленно подниматься по ступенькам, ожидая всего, готовый ко всему.

Дверь в спальню хозяйки была открыта. Она пригласила меня войти, произнеся суровым тоном:

— Мне надо с вами поговорить, господин Кервелен.

Я прошел мимо нее в комнату, понурив голову. Она поставила свечу на камин и скрестила руки на могучей груди, плохо прикрытой тонкой белой кофтой.

— Ах, вот как, господин Кервелен! Вы, значит, принимаете мой дом за дом терпимости!

Гордиться мне было нечем. Я пробормотал:

— Да нет же, госпожа Кергаран. Ну зачем вы сердитесь? Ведь вы хорошо знаете, что такое молодой человек.

Она ответила:

— Я знаю, что не хочу видеть этих тварей в своем доме. Вы слышите? Я знаю, что заставлю уважать мой кров и репутацию моего дома. Вы слышите? Я знаю...

Она говорила по меньшей мере минут двадцать, нагромождая друг на друга доводы логики и справедливого негодования, подавляя меня достопочтенностью «своего дома», шпигуя язвительными упреками.

А я — мужчина действительно животное! — вместо того, чтобы слушать, смотрел на нее. Я не слышал больше ни слова, да, ни единого слова. У нее была великолепная грудь, у этой разбойницы,— упругая, белая и пышная, пожалуй, немного жирная, но до того соблазнительная, что мурашки по спине пробегали. Право же, я никогда и подумать не мог, что под шерстяным платьем моей хозяйки скрывается что-нибудь подобное. В ночном костюме она казалась помолодевшей лет на десять. И вот я почувствовал себя необычайно странно... необычайно... как бы это сказать?.. необычайно взволнованным. И перед нею я вдруг опять оказался в положении... прерванном четверть часа тому назад в моей комнате.

А там, за нею, в алькове, я видел ее кровать. Она была полуоткрыта, и глубокая впадина на примятых простынях свидетельствовала о тяжести тела, недавно лежавшего на них. И я подумал, что в этой постели должно быть очень хорошо и очень тепло, теплее, чем во всякой другой. Почему теплее? Не знаю почему,— вероятно, по причине того, что уж очень обильные телеса почивали в ней.

Что может быть более волнующего и более очаровательного, чем смятая постель? Та, что была передо мной, опьяняла меня издали, вызывала в моем теле нервную дрожь.

А г-жа Кергаран все говорила, но теперь уже спокойно, как строгий, но доброжелательный друг, который вот-вот готов простить тебя.

Я пробормотал:

— Послушайте... послушайте... госпожа Кергаран... послушайте...

И когда она умолкла, ожидая ответа, я обхватил ее обеими руками и принялся целовать, но как целовать! Как голодный, как истомившийся.

Она отбивалась, отворачивала голову, но не очень сердясь и машинально повторяя свое привычное:

— Ах, каналья... каналья... ка...

Она не успела договорить это слово; я подхватил ее и понес, прижимая к себе. Чертовски сильным бываешь, знаете, в некоторые моменты!

Я натолкнулся на край кровати и упал на нее, не выпуская своей ноши...

В этой постели действительно было очень хорошо и очень тепло.

Через час свеча погасла, и хозяйка встала, чтобы зажечь другую. Ложась на прежнее место рядом со мною, просовывая под одеяло округлую полную ногу, она произнесла голосом, в котором звучала ласка, удовлетворенность, а быть может, и признательность:

— Ах, каналья... каналья!..

БОЧОНОК

Адольфу Тавернье

Дядя Шико, эпревильский трактирщик, остановил свою двуколку перед фермой тетушки Маглуар. То был рослый сорокалетний здоровяк, краснолицый, с брюшком, и слыл он за хитреца.

Он привязал лошадь к столбу забора и вошел во двор. Его владение граничило с усадьбой старухи, и он уже давно зарился на ее землю. Раз двадцать пытался он купить участок, но тетушка Маглуар отказывалась наотрез.

— Тут родилась, тут и помру,— говорила она.

Он застал ее у двери за чисткой картофеля. В семьдесят два года, сухая, морщинистая, сгорбленная, старуха была неутомима, как молодая девушка. Шико дружески похлопал ее по спине и уселся рядом на табуретку.

— Ну как, матушка, здоровы ли вы?

— Да ничего, а вы как, кум Проспер?

— Эх, кабы не ревматизм, был бы совсем хоть куда.

— Вот и хорошо.

И она замолчала. Шико смотрел, как она работает. Ее скрюченные, узловатые, жесткие, как клешни краба, пальцы словно щипцами выхватывали из корзины бурые клубни; она ловко поворачивала их, срезая длинные полосы кожуры лезвием старого ножа, который держала в другой руке. Чистую желтую картофелину старуха бросала в ведро с водой. Три дерзких курицы

друг за дружкой подбирались к самым ее юбкам, хватали очистки и удирали со всех ног, унося добычу в клюве.

Шико, казалось, был сам не свой, его что-то тревожило, смущало, а слова не шли у него с языка. Но вот он решился:

— Скажите-ка, тетушка Маглуар...

— Чем могу услужить?

— Да я все насчет фермы... Продавать не надумали?

— Уж это нет. Не рассчитывайте. Сказано — и хватит, не поминайте об этом.

— А я знаю, как уладить дельце, чтобы и вам и мне была выгода.

— Как же так?

— А вот как. Ферму вы мне продадите, а она все же за вами останется. Невдомек? Послушайте-ка.

Старуха перестала чистить овощи, ее живые глаза из-под сморщенных век уставились на трактирщика.

Он продолжал:

— Сейчас объясню. Каждый месяц я даю вам по сто пятьдесят франков. Понимаете, каждый месяц привожу вам сюда на своей двуколке тридцать экю по сто су. И все у вас идет по-старому, как есть по-старому: живете вы у себя, никакого дела вам до меня нет, и вы ничего мне не должны. Одна у вас забота — брать у меня деньги. Ну что, подходит?

Шико смотрел весело и благодушно.

Старуха же оглядывала его с недоверием, подозревая ловушку. Она спросила:

— Ну, мне-то выгодно, а вам какой прок, вы-то что получите от фермы?

Шико отвечал:

— Ну, уж об этом не беспокойтесь. Вы останетесь здесь, у себя дома, покуда господь бог продлит вам жизнь. Только заготовьте бумажонку у нотариуса, что после вас ферма перейдет ко мне. Детей у вас нет, одни племянники, да они не в счет. Ну как, подходит? Свое добро вы сохраняете до самой смерти, а я даю вам всякий месяц тридцать экю по сто су. Прямая для вас выгода.

Старуха была в недоумении и тревоге, но соблазну поддалась. Она ответила:

— Что же, не отказываюсь, да только надо все это сообразить. Приходите-ка на той неделькe, потолкуем. Скажу вам, что надумала.

И Шико ушел довольный, точно король, завоевавший целую империю.

Старуху Маглуар охватило раздумье. Всю ночь она не сомкнула глаз, целых четыре дня ее мучили всякие сомнения. Она чуяла что-то недоброе, но мысль о тридцати экю в месяц, о чудесных звонких монетах, которые посыплются к ней в передник, свалятся прямо с неба, не давала ей покоя.

И вот она отправилась к нотариусу и рассказала о своем деле. Он посоветовал ей согласиться на предложение Шико, но требовать пятьдесят экю по сто су вместо тридцати, потому что ферма стоила по крайней мере шестьдесят тысяч франков.

— Если вы проживете еще лет пятнадцать,— сказал нотариус,— он и тогда заплатит за нее всего лишь сорок пять тысяч франков.

У старухи заколотилось сердце, когда она услышала о пятидесяти экю в месяц, но держалась она настороже, опасаясь всяких случайностей, скрытых подвохов, и просидела до самого вечера, задавая вопросы и не решаясь уйти. В конце концов она велела заготовить акт и вернулась домой с таким дурманом в голове, будто выпила кружки четыре молодого сидра.

Когда Шико приехал за ответом, она долго отнекивалась, уверяла, что и не думает продавать землю, а сама до смерти боялась, что он не согласится на пятьдесят монет по сто су. Шико настаивал, и ей пришлось выставить свои требования.

Трактирщик подскочил от досады и отказался.

Тут старуха, чтобы убедить его, пустилась в рассуждения о том, долго ли она проживет.

— Уж я наверняка не протяну больше пяти — шести лет. Ведь мне семьдесят третий год пошел, да и плоха я стала. Вот тут как-то вечером совсем было собралась помирать. Так все нутро и выворачивало. До постели еле добралась.

Но Шико не поддавался:

— Будет вам прикидываться, вы ведь крепки, как дуб, до ста десяти лет дотянете. Меня-то наверняка похороните.

Весь день они проспорили. Старуха не уступала, и трактирщику пришлось согласиться на пятьдесят экю.

На следующий день они подписали акт. И тетушка Маглуар потребовала десять экю магарыча.

Прошло три года. Фермерша чувствовала себя превосходно. Она нисколько не постарела, и Шико приходил в отчаяние. Ему казалось, что он целую вечность выплачивает ей ренту, что его обманывают, обкрадывают, разоряют. Время от времени он наезжал к старухе, как в июле ездят в поле — посмотреть, созрел ли хлеб для жатвы. Тетушка Маглуар встречала его с хитрецой во взгляде. Она будто радовалась, что сыграла с ним такую ловкую шутку, и Шико быстро взбирался на свою двуколку, бормоча сквозь зубы:

— Когда же ты подохнешь, старая кляча?!

Он не знал, как ему быть. Его подмывало задушить ее. Он ненавидел старуху дикой, угрюмой ненавистью, ненавистью обворованного крестьянина. И он стал думать, что ему предпринять.

Однажды он явился к тетушке Маглуар, потирая руки, как в тот раз, когда предлагал ей сделку.

Несколько минут он болтал о том о сем и вдруг спросил:

— Скажите-ка, тетушка, почему вы не заходите ко мне в заведение, когда наезжаете в Эпревиль? Люди судачат, говорят, будто мы с вами повздорили; не по душе мне это. Сами знаете, платить вам не придется. Угощу обедом, не поскуплюсь. Будет охота, приходите, не стесняйтесь, уж как обрадуете.

Тетушка Маглуар не заставила повторять приглашение и день спустя, отправившись на рынок в одноколке со своим работником Селестеном, без церемонии поставила лошадь в конюшню трактирщика и потребовала обещанный обед. Шико принял ее радушно, как почетную гостью, подал цыпленка, кровяную и ливер-

ную колбасу, жареную баранину и капусту с салом. Но старуха почти не ела,— она с детства привыкла к умеренности и всегда довольствовалась похлебкой и ломтем хлеба с маслом.

Напрасно потчевал ее раздосадованный Шико. Она и не пила ничего. Даже кофе не захотела.

Шико спросил:

— Уж рюмочку-то вы выпьете?

— Ну разумеется. Не откажусь.

Он крикнул на весь трактир:

— Розали, принеси-ка виноградной, да покрепче самой что ни есть крепкой.

И служанка принесла узкую бутылку, украшенную бумажным виноградным листом.

Шико наполнил две рюмки.

— А ну-ка, отведайте,— право, знатная!

Старуха стала пить не спеша, маленькими глоточками, чтобы продлить удовольствие. Она осушила рюмку, слизнула языком капли и объявила:

— Да, хороша!

Не успела тетушка Маглуар договорить, как Шико налил ей еще. Отказываться было поздно, и она смаковала вторую рюмку так же долго, как и первую.

Трактирщик уговаривал ее выпить и по третьей, но она воспротивилась. Он настаивал:

— Да ведь это же просто молоко; я выпиваю по десять — двенадцать рюмок, и хоть бы что. Прямо незаметно проходит. Ни в желудке, ни в голове не остается; можно сказать, тает во рту. Ничего нет лучше для здоровья.

Старухе очень хотелось выпить, и она уступила, но полрюмки оставила.

Тут Шико в порыве великодушия воскликнул:

— Вот что! Раз вам вино по вкусу, я и бочонка не пожалею, сами увидите, какой я вам друг!

Старуха не отказалась и ушла под хмельком.

На следующий день трактирщик въехал во двор тетушки Маглуар и вытащил из двуколки бочонок, окованный железом. Шико заставил старуху попробовать содержимое — убедиться, что виноградная та же самая; и когда они выпили по три рюмки, он ушел со словами:

— И знайте, опустеет бочонок,— привезу еще, так что не стесняйтесь, я не поскуплюсь. Чем скорее выпьете, тем мне приятнее будет.

И влез на свою двуколку.

Возвратился он четыре дня спустя. Старуха около двери нарезала хлеб к обеду.

Шико подошел, поздоровался, наклонился к самому лицу тетушки Маглуар, чтобы уловить ее дыхание. От нее пахло спиртным. Он просиял и спросил:

— Не угостите ли меня рюмочкой?

И они раза два — три чокнулись.

Вскоре разнесся слух, что тетушка Маглуар напивается в одиночку. Ее подбирали то на кухне, то на дворе, то на окрестных дорогах и приносили домой мертвецки пьяную.

Шико на ферму больше не ездил, и, когда ему говорили о старухе, он бормотал с огорченным видом:

— Ведь вот несчастье — в ее-то годы завести такую привычку! Известное дело, к старости силы уж не те. Как бы не случилось какой беды!

И действительно, с нею случилась беда. В ту же зиму перед самым рождеством пьяная старуха упала прямо в снег и умерла.

И кум Шико, унаследовавший ее ферму, заявил:

— Вот дуреха! Кабы она не запила, протянула бы еще лет десять.

ОН?

Пьеру Декурселю

Дорогой друг, так ты ничего не понимаешь? Меня это не удивляет. Тебе кажется, я сошел с ума? Возможно, я слегка и помешался, но только не от того, что ты думаешь.

Да, я женюсь. Решено.

А между тем ни взгляды мои, ни убеждения не изменились. Узаконенное сожительство я считаю глупостью. Я уверен, что из десяти мужей восемь рогаты. Да они и заслуживают наказания за то, что имели глупость закабалить себя на всю жизнь, отказались от свободной любви — единственно веселого и хорошего на свете, обкорнали крылья прихотливому желанию, которое беспрестанно влечет нас ко всем женщинам, и так далее и так далее. Более чем когда бы то ни было я чувствую себя неспособным любить одну женщину, потому что всегда буду слишком любить всех остальных. Я хотел бы иметь тысячу рук, тысячу губ и тысячу... темпераментов, чтобы обнимать сразу целые полчища этих очаровательных и ничтожных созданий.

И все же я женюсь.

Прибавлю еще, что я едва знаю свою будущую жену. Видел я ее только четыре или пять раз. Знаю одно — она мне не противна, и этого достаточно для осуществления моих планов. Это маленькая полная блондинка. Послезавтра я почувствую страстное влечение к высокой худощавой брюнетке.

Она не богата. Родители ее — люди среднего круга. У нее нет особенных достоинств или недостатков, она, что называется, девушка на выданье, самая дюжинная, каких много в рядовых буржуазных семьях. Сегодня о ней говорят: «Мадмуазель Лаколь очень мила». Завтра скажут: «Как мила мадам Рэмон». Словом, она из той породы порядочных девушек, которых каждый «счастлив назвать своей женой», вплоть до того дня, когда вдруг поймет, что готов любую другую женщину предпочесть той, которую избрал.

«Зачем же тогда жениться?» — спросишь ты.

Я еле решаюсь признаться тебе в странном, невероятном чувстве, толкающем меня на этот безрассудный поступок.

Я женюсь, чтобы не быть одному!

Не знаю, как это выразить, как это объяснить тебе. Ты будешь меня жалеть, будешь презирать меня, до того постыдно состояние моего духа.

Я не хочу больше оставаться ночью один. Я хочу чувствовать рядом с собой живое существо, прилнувшее ко мне, живое существо, которое могло бы разговаривать, могло бы сказать что-нибудь, все равно что.

Я хочу иметь возможность разбудить это существо, внезапно задать какой-нибудь вопрос, самый дурацкий вопрос, лишь бы только услышать человеческий голос, лишь бы убедиться, что я не один в квартире, и почувствовать чью-то живую душу, работающую мысль, лишь бы увидеть внезапно, зажигая свечу, человеческое лицо рядом с собой... потому что... потому что... мне стыдно признаться... потому что я боюсь оставаться один.

Ах! Ты все еще меня не понимаешь.

Я не боюсь опасности. Пусть кто-нибудь заберется ко мне ночью,— я, не дрогнув, убью его. Я не боюсь привидений, не верю в сверхъестественное. Я не боюсь покойников и убежден в полном уничтожении каждого уходящего из жизни существа.

Так значит?.. Так значит?.. Ну да! Я боюсь самого себя! Я боюсь самой боязни, боюсь моего помрачающегося разума, боюсь этого жуткого ощущения непонятного ужаса.

Смейся, если хочешь. Это кошмарно, неисцелимо. Я боюсь стен, мебели, привычных вещей, которые вдруг начинают жить какой-то одушевленной жизнью. Особенно боюсь я страшного смятения своей мысли, своего взбудораженного рассудка, ускользающего из-под моей власти, угнетенного таинственной, непостижимой тревогой.

Сначала я чувствую, как мне в душу закрадывается смутное беспокойство и пробегают по коже мурашки. Я озираюсь по сторонам. Ничего! А мне хотелось бы хоть что-нибудь увидеть! Что именно? Что-нибудь понятное. Ведь боюсь я только потому, что не понимаю своего страха.

Я говорю — и боюсь своего голоса. Хожу — и боюсь чего-то неизвестного, что притаилось за дверью, за портьерой, в шкафу, под кроватью. А между тем я знаю, что нигде ничего нет.

Я внезапно оборачиваюсь, потому что боюсь того, что у меня за спиной, хотя и там нет ничего, и я это знаю.

Я волнуюсь, чувствую, как нарастает испуг, запираюсь в спальне, зарываюсь в постель, прячусь под одеяло и, съежившись, сжавшись в комок, в отчаянии закрываю глаза и остаюсь так долго, бесконечно долго, ни на минуту не забывая, что на ночном столике осталась зажженная свеча и что надо ее все-таки потушить. И я не осмеливаюсь сделать это.

Ужасное состояние, не правда ли?

Раньше я не испытывал ничего подобного. Я спокойно возвращался домой. Я расхаживал взад и вперед по квартире, и ничто не омрачало ясности моего рассудка. Скажи мне кто-нибудь, что я вдруг заболею этим непонятным, бессмысленным и жутким страхом, я искренне рассмеялся бы; я уверенно отпирал двери в темноте, медленно укладывался спать, не задвигая засова, и никогда не вставал среди ночи проверить, хорошо ли закрыты окна и двери моей спальни.

Началось это в прошлом году и самым странным образом.

Это случилось осенью в дождливый вечер. После обеда, когда ушла служанка, я стал думать, чем бы за-

няться. Я прошелся несколько раз по комнате. Я чувствовал себя усталым, беспричинно угнетенным, неспособным работать и не в силах был даже читать. Окна были мокры от мелкого дождя; мне было грустно, все существо мое было проникнуто той безотчетной печалью, от которой хочется плакать, так что ищешь, с кем бы перекинуться словом, все равно с кем, лишь бы только отогнать тяжелые мысли.

Я чувствовал себя одиноким. Никогда еще дом не казался мне таким пустым. Меня охватило чувство безысходного, томительного одиночества. Что делать? Я сел. И тотчас ощутил какое-то нервное напряжение в ногах. Снова встал и принялся ходить. Может быть, меня при этом немного лихорадило, потому что руки, которые я заложил за спину, как часто делаю, когда медленно прогуливаюсь, жгли одна другую, и я заметил это. Затем вдруг у меня по спине пробежала холодная дрожь. Я подумал, что, должно быть, потянуло сыростью со двора, и решил протопить камин. Я разжег его; это было в первый раз с начала года. И снова сел, устремив глаза на огонь. Но уже вскоре, чувствуя, что не могу больше усидеть на месте, я поднялся и решил, что нужно пройтись, встряхнуться, повидаться с кем-нибудь из друзей.

Я вышел. Заглянул к трем приятелям и, не застав никого дома, направился к бульвару, рассчитывая встретить там кого-нибудь из знакомых.

Повсюду было одиноко, уныло. Мокрые тротуары блестели. Теплая сырость, та сырость, что внезапно пронизывает вас холодной дрожью, тяжелая сырость моросившего дождя нависла над улицей и, казалось, ослабляла, смягчала пламя газовых фонарей.

Я вяло тащился, повторяя про себя: «Не с кем мне будет сегодня перекинуться словом».

Не раз заглядывал я в кафе, попадающиеся мне по дороге от Мадлен до предместья Пуассоньер. Унылые люди, сидевшие за столиками, казалось, не в силах были доесть заказанное.

Долго бродил я так по улицам и около полуночи повернул к дому. Я был совершенно спокоен, но очень

утомлен. Привратник, который в одиннадцать часов всегда уже спал, против обыкновения открыл мне немедленно, и я подумал: «Ага, должно быть, кто-то из жильцов только что вернулся».

Уходя из дома, я всегда запираю дверь на двойной оборот ключа. На этот раз она оказалась только притворенной, и это меня поразило. Я решил, что, вероятно, вечером мне принесли почту.

Я вошел. Камин еще не потух и даже слегка освещал комнату. Я взял свечу, собираясь зажечь ее от огня очага, и вдруг, взглянув прямо перед собою, увидел, что кто-то сидит в моем кресле, спиной ко мне, и греет у камина ноги.

Я не испугался, о нет, нисколько! В голове у меня мелькнула вполне естественная догадка, что кто-то из приятелей зашел навестить меня. Привратница, которую я, уходя, предупредил, что скоро вернусь, должно быть, дала ему свой ключ. Я вмиг вспомнил все обстоятельства своего возвращения домой: тотчас же открытое парадное и мою незапертую дверь.

Приятель, я видел только его волосы, дожидаясь меня, заснул у камина, и я подошел поближе, чтобы его разбудить. Я отлично его видел: правая рука его свисала, ноги были заложены одна на другую, голова слегка откинута влево на спинку кресла,— по-видимому, он крепко спал. «Кто же это?» — задал я себе вопрос. Комната была слабо освещена. Я протянул руку, чтобы тронуть его за плечо.

Рука уперлась в деревянную спинку кресла! Там не было никого. Кресло было пусто!

Господи, какой ужас!

Я отпрянул, словно мне угрожала какая-то страшная опасность.

Затем я обернулся, чувствуя, что кто-то стоит у меня за спиной; и тотчас же непреодолимое желание взглянуть еще раз на кресло заставило меня снова повернуться к нему. Я стоял, задыхаясь от ужаса, до того растерявшись, что в голове не осталось ни одной мысли, и я еле держался на ногах.

Но я человек хладнокровный и быстро овладел собой. Я решил: «У меня была галлюцинация, только и

всего». И сейчас же стал размышлять об этом явлении. Мысль работает быстро в такие минуты.

У меня была галлюцинация — это бесспорный факт. А между тем голова все время оставалась ясной, я рассуждал последовательно и логично. Значит, произошло это не от умственного расстройства. Здесь был только обман зрения, обманувшего в свою очередь мысль. Глазам представился призрак, один из тех призраков, которые заставляют наивных людей верить в чудеса. Случайное нервное расстройство зрительного аппарата — и только, да, может быть, еще легкий прилив крови.

Я зажег свечу. Наклоняясь к огню, я заметил, что дрожу, и затем вдруг выпрямился от нервного толчка, как будто кто-то прикоснулся ко мне сзади.

Я еще не успел успокоиться, это несомненно.

Я прошелся по комнате и громко заговорил сам с собой. Пел вполголоса припевы каких-то песен.

Потом запер дверь на двойной оборот ключа и почувствовал себя немного спокойнее. По крайней мере никто не войдет.

Я снова сел и долго раздумывал о случившемся, затем лег и погасил свечу.

Несколько минут все обстояло благополучно. Я довольно спокойно лежал на спине. Но вдруг меня обуяло желание осмотреть комнату, и я повернулся на бок.

В камине еще тлели две-три раскаленные головешки, которые освещали только самые ножки кресла, и мне снова почудилось, что там сидит человек.

Проворным движением я зажег спичку. Мне только почудилось, никого там не было.

Однако я встал и отодвинул кресло за кровать.

Снова потушив свет, я попробовал заснуть. Но не успел я забыться на каких-нибудь пять минут — и уже увидел во сне, отчетливо, как наяву, все, что случилось со мной в этот вечер. Я проснулся вне себя от ужаса, зажег огонь и сел на кровати, боясь задремать снова.

Но, как я ни боролся со сном, я все же засыпал ненадолго раза два. Оба раза мне снилось все то же. Я думал уже, что сошел с ума.

Когда рассвело, я почувствовал себя выздоровевшим и спокойно проспал до полудня.

Это прошло, совершенно прошло! У меня была, вероятно, лихорадка или кошмар. Словом, я был болен. И все же я чувствовал, что вел себя глупейшим образом.

В этот день я был очень весел. Пообедал в ресторанчике, побывал в театре, затем пошел домой. Но вот, когда я стал подходить к дому, меня охватило странное беспокойство. Я боялся увидеть его снова — его! Не то чтобы я боялся его самого, боялся его присутствия — ведь я нисколько в это не верил,— но я боялся нового расстройства зрения, боялся галлюцинаций, боялся ужаса, который меня охватит.

Больше часа бродил я взад и вперед по тротуару около дома, но, решив наконец, что это уж слишком глупо, вошел. Я так задыхался, что еле мог подняться по лестнице. Минут десять простоял на площадке перед дверью, пока не почувствовал вдруг прилива смелости, спокойной решимости. Я повернул ключ и бросился вперед со свечою в руке, распахнул толчком ноги полуоткрытые двери спальни и растерянно оглядел камин. Я не увидел ничего.

Ах! Какое облегчение! Какое счастье! Какая тяжесть свалилась с плеч! Я весело расхаживал по комнате. Но все же я не был спокоен и порой оглядывался назад: меня пугали лежащие по углам тени.

Спал я плохо, ежеминутно просыпаясь от каких-то воображаемых стуков. Но я его больше не видел. Нет. С этим покончено!

И вот с этого дня я боюсь оставаться ночью один. Я чувствую его — этот призрак — здесь, возле меня, вокруг меня. Он больше не являлся мне. О нет! Да и что за дело мне до него, раз я в него не верю, раз я знаю, что он — ничто?

Но все же он тяготит меня, потому что я постоянно о нем думаю. Правая рука его свисала, голова была слегка откинута влево, как у спящего... Довольно, довольно, ну его к черту! Не хочу больше думать о нем!

И что это за наваждение? Почему оно так навязчиво? Его ноги были протянуты к самому огню.

Он преследует меня; это дико, но это так. Кто он? Я знаю хорошо, что он не существует, что он — ничто. Он существует только в самой моей болезни, в моем страхе, в моей тревоге. Довольно, довольно!..

Да, но сколько я ни рассуждаю, как ни бодрюсь, я не могу больше оставаться дома один, ибо он там. Я его больше не увижу, я знаю это, он больше не явится, с этим покончено. Но все же он существует в моем сознании. Он невидим, но это не мешает ему существовать. Он притаился за дверью, в закрытом шкафу, под кроватью, во всех темных углах, в малейшей тени. Стоит мне распахнуть дверь, открыть шкаф, заглянуть со свечою в руке под кровать, осветить углы, разогнать тени, и он исчезает, но тогда я чувствую его у себя за спиной. Я оборачиваюсь, уверенный, впрочем, что не увижу его, никогда больше не увижу. И все-таки он все еще там, у меня за спиной.

Нелепо, но ужасно. Как же быть? Я ничего не могу поделать.

Но если нас дома будет двое, я знаю, да, знаю наверное, что его здесь больше не будет! Ведь он здесь потому, что я один, только потому, что я один.

МОЙ ДЯДЯ СОСТЕН

Полю Жинисти

Мой дядя Состен был вольнодумец, каких много на белом свете,— вольнодумец по глупости. Частенькс люди бывают и религиозными по той же причине. При виде священника он приходил в необычайную ярость: показывал ему кулак, делал рожки и спешил незаметно для него дотронуться до чего-нибудь железного, — а это уже есть признак веры, веры в дурной глаз. Бессмысленные верования нужно или все принять, или все отвергнуть. Я тоже вольнодумец, иначе говоря, противник всех догматов, выдуманных из страха смерти, но я не чувствую ненависти к храмам, будь они католические, евангелические, римские, протестантские, русские, греческие, буддийские, еврейские или мусульманские. И к тому же я принимаю и объясняю все догматы по-своему. Храм — это дань неведомому. Чем дальше простирается мысль, тем больше сужаются границы неведомого, тем больше рушится верований. Я бы только заменил кадила телескопами, микроскопами и электрическими машинами. Вот и все!

Мы расходились с дядюшкой почти по всем вопросам. Он был патриот, я же — враг патриотизма, потому что это тоже своего рода религия. И к тому же это источник всех войн.

Дядюшка был франкмасон. Ну, а по мне, масоны глупее старух ханжей. Таково мое мнение, и я на нем стою. Если уж нужна какая-нибудь религия, с меня хватит и старой.

Эти дурни только подражают попам. Они всего лишь заменяют крест треугольником. У них свои церкви, которые называются ложами, и тьма различных культов: здесь и шотландский обряд, и французский, и обряд Великого Востока — уйма бредней, от которых лопнешь со смеху.

Ну, а чего они хотят? Оказывать взаимную помощь, щекоча при этом ладони? Не вижу здесь ничего дурного. Они лишь выполняют христианский завет: «Помогайте друг другу». Единственная особенность только в щекотании. Но стоит ли проделывать столько церемоний, чтобы подать сто су бедняку? Монахи, для которых милостыня и помощь ближнему являются обязанностью и ремеслом, пишут в начале своих посланий три буквы: J. M. Y. Масоны же ставят три точки после своего имени. Одно другого стоит.

Дядюшка заявлял:

— Мы же выдвигаем религию против религии. Из свободной мысли мы куем оружие, которым будет убит клерикализм. Франкмасонство — это крепость, в которую стягиваются все те, кто хочет свергнуть богов.

Я возражал:

— Но, дорогой дядюшка (а про себя думал: «Ах ты, старый хрыч!»), вот это именно я и ставлю вам в вину. Вместо того, чтобы разрушать, вы устраиваете конкуренцию, а это лишь снижает цены, только и всего. И потом, если бы вы принимали к себе одних вольнодумцев, это еще куда ни шло, но ведь вы принимаете решительно всех. Среди вас найдется немало добрых католиков и даже главарей клерикальной партии. Пий Девятый вышел из вашей среды. Если сообщество, построенное подобным образом, вы называете крепостью, возведенной против клерикализма, то не очень-то она сильна, ваша крепость!

Тогда дядюшка, прищурив глаз, добавлял:

— Настоящая-то наша деятельность, наиболее опасная наша деятельность — в области политики. Мы медленно, но верно подрываем идею монархизма.

Тут уж я не выдерживал:

— О да, вы же такие хитрецы! Скажите мне, что масонство — фабрика предвыборных кампаний, и я

соглашусь с вами; что это машина для голосования за кандидатов всех оттенков, и я не буду этого отрицать; что его единственное назначение — дурачить бедный люд, гнать его целыми отрядами к урне, как гонят в огонь солдат,— и я примкну к вашему мнению; скажите, наконец, что масонство полезно и даже необходимо для всех честолюбивых политиканов, ибо превращает каждого своего члена в агента предвыборной кампании,— я и тут воскликну: «Ясно, как день!» Но если вы будете утверждать, что масонство подрывает идею монархизма, я рассмеюсь вам прямо в лицо.

Всмотритесь-ка хорошенько в такую огромную и таинственную демократическую ассоциацию, великим магистром которой во Франции во времена Империи был принц Наполеон, в Германии — наследный принц, в России — брат царя, ассоциацию, членами которой состоят король Гумберт, принц Уэльский и прочие коронованные головы всего света!

Тогда дядюшка шептал мне на ухо:

— Твоя правда, но ведь все эти принцы, сами того не подозревая, служат нашим целям.

— А вы — их целям, не так ли?

И я добавлял в душе: «Стадо ослов!»

Надо было видеть, как дядюшка Состен угощал обедом какого-нибудь франкмасона.

Они встречались и протягивали друг другу руки с уморительно таинственным видом; каждому ясно было, что они обменивались таинственными, многозначительными рукопожатиями. Когда я хотел взбесить дядюшку, мне стоило только напомнить ему, что собаки знакомятся друг с другом совсем на масонский манер.

Затем дядюшка увлекал своего приятеля в укромный уголок, точно хотел ему сообщить важные новости, а за столом, сидя друг против друга, они уже как-то по-особенному смотрели, переглядывались и когда пили, обменивались загадочными взглядами, как будто беспрестанно повторяли: «Мы-то понимаем друг друга!»

И подумать только, что миллионы людей забавляются подобным кривляньем! Нет, уж я бы предпочел быть иезуитом.

И вот в нашем городишке жил один старый иезуит, который был до последней степени противен дяде Состену. Всякий раз как дядюшка встречал его или только еще замечал издали, он уже шипел: «У, гадина!» Затем, взяв меня за руку, шептал на ухо:

— Вот увидишь, напакостит мне когда-нибудь этот негодяй! Чует мое сердце!

Дядюшка оказался прав. Случилось это по моей вине и вот при каких обстоятельствах.

Приближалась страстная неделя. И вдруг дядюшке взбрело на ум устроить скоромный обед в страстную пятницу, ну самый настоящий скоромный обед с сосисками, с кровяной и мозговой колбасой. Я отговаривал его, сколько мог, и твердил:

— Я буду есть скоромное в этот день, как и в любой другой, но только у себя дома и наедине. Ваша выходка глупа! Ну, к чему она? Если люди не едят мясного, вам-то какая печаль?

Но дядюшка поставил на своем. Он пригласил трех своих приятелей в лучший ресторан города, и так как за обед платил он, то и я не отказался от участия в демонстрации.

В четыре часа мы уже собрались на видном месте в излюбленном публикой кафе «Пенелопа», и дядюшка Состен во всеуслышание провозгласил меню заказанного обеда.

В шесть часов сели за стол. В десять обед еще продолжался, и мы уже выпили впятером восемнадцать бутылок доброго вина да четыре бутылки шампанского. И вот тогда дядюшка предложил так называемый «объезд по епархии». Каждый ставит перед собою в ряд шесть рюмок, наполненных различными ликерами, и нужно успеть осушить их одну за другой, пока кто-нибудь из собутыльников считает до двадцати. Это было глупо, но дядюшка Состен находил это «подходящим к случаю».

В одиннадцать часов он был пьян как стелька. Его пришлось отвезти в экипаже, уложить в постель, и можно было заранее предположить, что его антиклерикальная демонстрация обернется ужаснейшим расстройством желудка.

Когда я возвращался домой, тоже захмелев, но

Худ. Рене Лелон. 1907. «СЕСТРЫ РОНДОЛИ».

Худ. Рене Лелон. 1907. «ХОЗЯЙКА».

Худ. Рене Лелон. 1907. «МОЙ ДЯДЯ СОСТЕН».

только веселым хмелем, мне пришла в голову макиавеллиевская мысль, отвечавшая моей скептической натуре.

Я поправил галстук, состроил похоронную физиономию и принялся с остервенением звонить к старому иезуиту. Он был глух, и мне пришлось-таки подождать. Но я столь нещадно колотил ногами в дверь, сотрясая весь дом, что иезуит показался наконец в ночном колпаке у окна и спросил:

— Что случилось?

Я крикнул:

— Скорей, скорей, преподобный отец, отворите дверь: тяжело больной просит вашего святого напутствия.

Бедняга поспешно натянул брюки и сошел вниз, даже не надев рясы. Я рассказал ему срывающимся голосом, что моего дядюшку-вольнодумца внезапно постигло ужасное недомогание, заставляющее предполагать чрезвычайно опасную болезнь, что он крайне боится смерти и хотел бы повидать преподобного отца, побеседовать с ним, услышать от него советы, ближе ознакомиться с христианским учением, приобщиться к церкви и, конечно, исповедаться и причаститься, чтобы в мире душевном перейти роковой предел.

И я прибавил вызывающим тоном:

— Таково его желание. Если от этого ему не станет лучше, то, во всяком случае, и хуже не будет.

Старый иезуит, смущенный, обрадованный, весь дрожа, сказал: «Подождите минутку, дитя мое, я сейчас вернусь». Но я прибавил:

— Простите, преподобный отец, я не могу вас сопровождать, мне не позволяют убеждения. Я даже отказывался идти за вами, поэтому прошу вас не говорить обо мне; скажите, что о болезни моего дяди вам было ниспослано откровение свыше.

Старикашка согласился и быстрыми шагами направился звонить к дяде Состену. Служанка, ухаживавшая за больным, тотчас же открыла ему дверь, и я увидел, как черная ряса скрылась в этой твердыне свободомыслия.

Я спрятался в воротах соседнего дома — поглядеть, как развернутся события. Будь дядюшка здоров, он

уложил бы иезуита на месте, но я ведь знал, что он не в состоянии даже пальцем пошевельнуть; и я забавлялся всласть, спрашивая себя, что же за невероятная сцена разыграется сейчас между двумя идейными противниками? Будет ли это схватка? Будет ли перепалка? Растерянность? Суматоха? И как разрешится это безвыходное положение, трагически осложненное негодованием дядюшки?

Я хохотал до упаду, повторяя вполголоса:

— Вот это штука так штука!

Однако становилось холодно, и я удивился, что иезуит как-то уж очень долго не выходит. Я решил: «Объясняются».

Прошел час, затем два, затем три. Преподобный отец не появлялся. Что случилось? Не умер ли дядюшка от потрясения при виде его? Или, чего доброго, укокошил иезуита? Или они пожрали друг друга? Последнее предположение показалось мне маловероятным. В эту минуту дядюшка едва ли был в силах проглотить хотя бы еще кусочек.

Рассвело.

В сильном беспокойстве, не решаясь зайти к дядюшке, я вспомнил, что как раз напротив него живет один из моих друзей. Я зашел к нему, рассказал о происшествии, которое удивило и рассмешило его, а затем занял наблюдательный пост у окна.

В девять часов утра меня сменил мой друг, и я немного соснул. В два часа я сменил его на посту. Мы были сильно встревожены.

В шесть часов иезуит вышел, спокойный и довольный, и мы видели, как он не спеша удалился.

Тогда я смущенно и робко позвонил у дверей дяди. Мне открыла служанка. Я не решился расспрашивать ее и молча поднялся наверх.

Дядюшка Состен, бледный, изнуренный, совершенно подавленный, недвижимо лежал на постели, глядя в одну точку тусклым взором. К пологу кровати был приколот маленький образок.

Расстройство желудка явственно чувствовалось в комнате.

— Вы слегли, дядя? Нездоровится? — спросил я.

Он ответил упавшим голосом:

— Ох, дитя мое, я совсем расхворался, чуть не умер.

— Как же это, дядя?

— Не знаю; это прямо удивительно. Но всего замечательнее то, что отец иезуит, только что ушедший,— знаешь, этот достойный человек, которого я раньше терпеть не мог,— явился навестить меня, потому что ему было откровение о моей болезни.

Я чуть не прыснул со смеху.

— О, неужели?

— Да, он пришел ко мне. Он слышал голос, который повелел ему встать и идти ко мне, потому что я умираю. Это было откровение.

Чтобы не расхохотаться, я сделал вид, будто чихаю. Мне хотелось кататься по полу.

Спустя минуту, несмотря на душивший меня смех, я уже говорил возмущенным тоном:

— И вы приняли его, дядя? Вы, вольнодумец, масон? Вы не выставили его за дверь?

Он, казалось, смутился и пробормотал:

— Но пойми же, это удивительно, это перст божий! И к тому же он заговорил о моем отце. Он знавал его.

— Вашего отца, дядя?

— Да, представь себе, он знал моего отца.

— Но это еще не повод, чтобы принимать иезуита.

— Согласен, но я был болен, очень болен. А он так самоотверженно ухаживал за мною всю ночь. Это само совершенство! Спасением своим я обязан ему. Ведь эти люди разбираются в медицине.

— Ага, он ухаживал за вами всю ночь. Но вы ведь сказали, что он только что ушел.

— Да, правда. Он выказал столько внимания ко мне, что я пригласил его позавтракать. Пока я пил чай, он поел тут же, за маленьким столиком, подле моей кровати.

— И... он оскоромился?

Дядюшку передернуло, как будто я сказал что-то страшно неприличное, и он прибавил:

— Не смейся, Гастон, бывают шутки неуместные. В данном случае этот человек отнесся ко мне сердечнее всякого родственника; я требую, чтоб уважали его убеждения.

Я был прямо-таки потрясен, но все же продолжал:

— Прекрасно, дядюшка. А что вы делали после завтрака?

— Мы сыграли партию в безик, потом он читал требник, а я просматривал книжечку, которую он принес с собой. Знаешь, совсем не плохо написана.

— Благочестивого содержания, дядюшка?

— И да и нет, вернее, нет; это история их миссии в Центральной Африке. Скорее описание путешествий и приключений. Эти люди сделали там много хорошего.

Я начал понимать, что шутка приняла дурной оборот. Я вскричал:

— Ну, так прощайте, дядюшка; я вижу, вы изменяете франкмасонству ради религии. Вы ренегат.

Он снова слегка смутился и пробормотал:

— Но ведь религия — тоже своего рода франкмасонство.

— Когда же вернется ваш иезуит? — спросил я.

Дядюшка пролепетал:

— Я... не знаю, может быть, завтра... не знаю наверное.

Я вышел совершенно ошеломленный.

Плохо же кончилась моя шутка! Дядюшка окончательно обратился. До сих пор это меня мало трогало. Клерикал он или франкмасон, мне от этого ни тепло, ни холодно, но беда в том, что недавно он составил завещание, да, милостивый государь, завещание в пользу отца иезуита и лишил меня наследства.

БОЛЕЗНЬ АНДРЕ

Эдгару Куртуа

Дом нотариуса выходил фасадом на площадь. Прелестный, красиво разбитый сад тянулся позади дома до самого проезда Пик, всегда безлюдного, от которого он отделялся стеной.

Здесь-то, в самом конце сада, жена нотариуса Моро и назначила первое свидание капитану Соммериву, который давно за ней ухаживал.

Муж уехал на неделю в Париж, и она располагала несколькими днями свободы. Капитан упрашивал ее так долго, молил так нежно, она была убеждена, что он любит ее так страстно, и чувствовала себя столь одинокой, столь непонятой, столь заброшенной среди бесконечных контрактов, которыми только и занимался нотариус, что позволила завладеть своим сердцем, не спрашивая себя, остановится ли она только на этом.

Но после нескольких месяцев платонической любви, рукопожатий, поцелуев, сорванных на лету, за дверью, капитан заявил, что немедленно попросит перевода и уедет из города, если не получит свидания, настоящего свидания под сенью деревьев, в отсутствие мужа.

Она сдалась, она обещала.

И вот с бьющимся сердцем она ждала его, прильнув к стене, вздрагивая при малейшем шорохе.

Вдруг ей послышалось, что кто-то карабкается по стене, и она чуть было не обратилась в бегство. Что, если это не он? Что, если это вор? Но нет: чей-то голос тихонько окликнул ее: «Матильда!» Она ответила: «Этьен!» — и на дорожку, гремя саблей, спрыгнул человек.

Это был он! Что за поцелуй!

Долго простояли они, тесно прильнув друг к другу, соединив уста. Но вдруг стал накрапывать дождик, и капли его, струясь по листве деревьев, зажурчали во мраке. Она вздрогнула, когда первая капля упала ей на шею.

Он твердил:

— Матильда, дорогая, ангел мой, пойдемте к вам. Сейчас полночь, бояться нам нечего. Пойдемте к вам, умоляю вас.

Она отвечала:

— Нет, мой любимый, я боюсь. Вдруг что-нибудь случится!

Но он сжимал ее в объятиях и шептал на ухо:

— Ваша прислуга в четвертом этаже, выходящем на площадь. Ваша комната — во втором, окнами в сад. Нас никто не услышит. Я люблю вас, я хочу любить тебя свободно, всю, с головы до ног.

И он неистово прижимал ее к себе, сводя с ума поцелуями.

Она все еще сопротивлялась, пугаясь и стыдясь. Но он схватил ее за талию, поднял и понес под дождем, который превратился теперь в страшный ливень.

Дверь была оставлена незапертой; по лестнице они поднялись ощупью; войдя в спальню, Матильда заперла дверь на задвижку, пока он зажигал спичку.

Но после этого она упала в кресло почти без чувств. Он опустился к ее ногам и стал медленно раздевать ее, начав с ботинок и чулок, чтобы целовать ей ноги.

Она говорила, задыхаясь:

— Нет, нет, Этьен, умоляю вас, дайте мне остаться честной женщиной! Я не прощу вам этого! Это так отвратительно, так грубо. Разве нельзя любить друг друга только душою?.. Этьен!

С ловкостью горничной и проворством нетерпеливого мужчины он безостановочно расстегивал, развязывал, отшпиливал, расшнуровывал. И когда Матильда вскочила, пытаясь убежать от этого дерзкого напора, то она неожиданно выскользнула из своего платья, юбок и белья совершенно голой, точно вынутая из муфты рука.

Растерявшись, она бросилась к постели, чтобы спрятаться за пологом. Это было опасное убежище. Он последовал за ней. Но, торопясь ее настичь, он слишком поспешно отцепил свою саблю, и она упала на пол с гулким звоном.

Из соседней комнаты, куда дверь оставалась открытой, тотчас же раздался долгий и пронзительный детский плач.

Она прошептала:

— Ах, вы разбудили Андре, он больше не уснет!

Ее сыну было год три месяца, и он спал всегда рядом с матерью, чтобы она могла постоянно наблюдать за ним.

Капитан, обезумев от страсти, не слушал:

— Это неважно, неважно! Я люблю тебя; ты моя, Матильда.

Но она в отчаянии и страхе продолжала отбиваться.

— Нет, нет! Послушай, как он кричит. Он разбудит кормилицу. Вдруг она придет, что нам тогда делать? Мы погибли! Послушай, Этьен, когда ночью он просыпается, отец берет его к нам в постель, чтобы он успокоился. И он смолкает сейчас же, сейчас же. Другого средства нет. Я возьму его, Этьен...

Ребенок заливался, издавая пронзительные вопли, которые проникают сквозь самые толстые стены и слышны с улицы, когда проходишь мимо дома.

Ошеломленный капитан встал, а Матильда бросилась за малюткой и принесла его к себе в постель. Он смолк.

Этьен уселся верхом на стуле и свернул папиросу; не прошло и пяти минут, как Андре уже спал. Мать прошептала: «Сейчас я его отнесу». И с бесконечными предосторожностями она уложила ребенка в колыбель.

Когда она вернулась, капитан простер ей навстречу объятия.

Обезумев от страсти, он обнял ее, и она, сдаваясь, наконец, прильнула к нему, лепеча:

— Этьен... Этьен... любовь моя! О, если бы ты знал, как... как...

Снова раздался крик Андре. Капитан в бешенстве выругался:

— Вот негодник, черт возьми! Замолчит ли наконец этот сопляк!

Нет, сопляк не умолкал, он ревел вовсю.

Матильде послышалось какое-то движение наверху. Это, наверно, проснулась кормилица. Она кинулась за сыном, схватила его и снова принесла к себе в постель. Он тотчас же умолк.

Три раза подряд укладывали его в колыбель. Три раза подряд приходилось брать его оттуда.

Капитан Соммерив ушел за час до рассвета, отчаянно ругаясь.

Чтобы успокоить его нетерпение, Матильда обещала, что этим вечером примет его опять.

Он явился, как и накануне, но только еще более нетерпеливый и пылкий, доведенный ожиданием до неистовства.

На этот раз он осторожно положил саблю на ручки кресел, снял сапоги, как вор, и говорил так тихо, что Матильда его почти не слышала. И он был уже на пороге счастья, полного счастья, как вдруг что-то затрещало — то ли пол, то ли какая-то мебель, может быть, кровать. Раздался сухой хруст, словно надломилась какая-то подпорка, и тотчас же в ответ послышался крик, сперва слабый, затем пронзительный. Андре проснулся.

Он визжал, как лисица. Если бы так продолжалось дальше, он поднял бы на ноги весь дом.

Мать в отчаянии кинулась за ним. Капитан не вставал. Он кипел яростью. Он тихонько протянул руку, захватил двумя пальцами кусочек ребячьего тельца — не то ляжку, но то задик — и ущипнул. Малыш заливался, вопя изо всех сил. Тогда капитан, выйдя из себя, принялся щипать его все сильней и неистовей. Он быстро схватывал складку кожицы, яростно стискивал и скручивал ее, затем отпускал, чтобы ущипнуть в другом месте, а затем дальше и дальше.

Ребенок кричал, как курица, которую режут, визжал, как собака, которую стегают. Безутешная мать целовала его, ласкала, пыталась успокоить, заглушить его крики поцелуями. Но Андре весь полиловел, словно с ним начинались судороги, и дрыгал ножками и ручонками самым отчаянным и жалобным образом.

Капитан сказал ласковым голосом:

— Попробуйте положить его в колыбель, может быть, он успокоится.

И Матильда отправилась в соседнюю комнату, неся ребенка на руках.

Как только его взяли из материнской постели, он немного поутих, а очутившись в колыбели, совсем замолк, изредка слегка всхлипывая.

Остаток ночи прошел спокойно, и капитан был счастлив.

На следующую ночь он пришел снова. Как только он заговорил довольно громко, Андре опять проснулся и поднял визг. Мать поспешила его принести, но капитан так умело, так сильно и так долго щипал его, что малыш задохся, закатил глаза, и на губах его выступила пена.

Его положили обратно в колыбель. Он немедленно успокоился.

На четвертую ночь Андре уже больше не плакал, боясь попасть в материнскую постель.

Нотариус вернулся в субботу вечером. Он снова занял свое место у очага и в супружеской спальне.

Утомленный с дороги, он рано улегся в постель; но, вернувшись к своему привычному укладу и тщательно выполнив, как порядочный и методичный человек, все свои обязанности, он вдруг удивился:

— Вот те на, Андре сегодня не плачет! Возьми его сюда, Матильда, я люблю ощущать его рядом с нами.

Жена вскочила, чтобы взять ребенка, но едва перепуганный малыш очутился в этой постели, где еще недавно он так любил засыпать, его всего свело, и он завопил столь неистово, что пришлось отнести его обратно в колыбель.

Мэтр Моро не мог опомниться:

— Что за странность! Что с ним сегодня? Или он так хочет спать?

Жена отвечала:

— Пока тебя не было, все время было так. Мне ни разу не удалось взять его к себе.

Проснувшись поутру, ребенок стал играть, смеясь и вскидывая ручонками.

Растроганный отец подбежал к нему, поцеловал

свое детище и взял его на руки, чтобы отнести на супружеское ложе. Андре смеялся безмятежным смехом маленького существа, мысль которого еще дремлет. Но вдруг он заметил постель и в ней мать — и его счастливое личико сморщилось, исказилось, из горла понеслись неистовые вопли, и он стал отбиваться, как будто его пытали.

Удивленный отец пробормотал: «С ребенком что-то неладное» — и привычным движением приподнял его рубашонку.

Он так и ахнул. Икры, ляжки, поясница, весь зад малыша испещрены были синими пятнами величиной с целое су.

Мэтр Моро закричал:

— Матильда, посмотри, какой ужас!

Испуганная мать бросилась к ребенку. Каждое пятно было словно пересечено посередине лиловой чертой кровоподтека. Это были явные признаки какой-то ужасающей и необычайной болезни, чего-то вроде проказы, одного из тех причудливых недугов, когда кожа становится бугорчатой, как спина жабы, или чешуйчатой, как у крокодила.

Родители испуганно переглянулись: мэтр Моро воскликнул:

— Надо сходить за врачом!

Но Матильда, вся побледнев, пристально разглядывала сына, пятнистого, как леопард, и вдруг вскрикнула порывисто и необдуманно, как вскрикивают от возмущения и ужаса:

— О негодяй!..

Удивленный муж спросил:

— Что? О ком ты? Кто негодяй?

Покраснев до корней волос, она пролепетала:

— Нет... ничего... это... видишь ли... я догадываюсь... это... не надо звать доктора... это, конечно, негодяйка-кормилица... щиплет его, чтобы он замолчал, когда плачет.

Взбешенный нотариус послал за кормилицей и чуть не избил ее. Она упрямо отрицала свою вину, но ее выгнали.

О поведении ее сообщили в муниципалитет, и она уж больше не могла найти себе другое место.

ПРОКЛЯТЫЙ ХЛЕБ

Анри Брэнну

I

У дядюшки Тайля было три дочери: старшая — Анна, о которой в семье не принято было говорить, средняя — Роза, восемнадцати лет, и младшая — Клара, еще девчонка, для которой едва наступила пятнадцатая весна.

Дядюшка Тайль, вдовец, работал старшим механиком на пуговичной фабрике г-на Лебрюмана. Он был почтенный человек, очень уважаемый, честный и трезвый — образец примерного рабочего. Жил он в Гавре, на Ангулемской улице.

Когда Анна, как говорится, дала тягу из дому, старик пришел в страшный гнев; он грозил убить соблазнителя — молокососа, приказчика одного из самых больших в городе магазинов мод. Но через некоторое время пошли слухи, что малютка устроилась, остепенилась, что она откладывает сбережения в банк, что она теперь в связи с пожилым человеком, судьей коммерческого суда г-ном Дюбуа, и отец успокоился.

Он даже стал интересоваться ее жизнью и осведомлялся у навещавших ее прежних подруг, и, когда ему рассказывали, что она обзавелась собственной обстановкой, что у нее целая куча цветных ваз на каминах, картины на стенах, золоченые часы и повсюду ковры, легкая довольная улыбка скользила по его губам. А он-то работал целых тридцать лет, чтобы скопить по

крохам жалкие пять — шесть тысяч! В конце концов девочка не так уж глупа!

В одно прекрасное утро молодой Тушар, сын бочара, жившего в конце той же улицы, пришел просить у него руки его второй дочери, Розы. У старика забилось сердце. Тушары были люди богатые и с положением, ему прямо-таки везло с дочерьми.

Свадьба была решена, и отпраздновать ее условились со всей торжественностью в Сент-Адрессе, в ресторане тетки Жюза. Это, правда, будет порядочно стоить, ну да что ж, один раз куда ни шло.

Но вот однажды утром, когда старик вернулся домой завтракать и уже садился за стол с двумя дочерьми, дверь внезапно распахнулась и появилась Анна. На ней был роскошный туалет, кольца, шляпа с пером. Она была просто прелесть во всем этом. Она бросилась на шею отцу, который не успел даже ахнуть, потом с плачем упала в объятия обеих сестер, затем села, вытирая глаза, и попросила тарелку: ей хотелось поесть супу за семейным столом. На этот раз дядюшка Тайль был растроган до слез и повторил несколько раз: «Это очень хорошо, малютка, очень хорошо». Тогда она рассказала о цели своего прихода. Ей не хочется, чтоб свадьбу Розы справляли в Сент-Адрессе, ей не хочется этого, ни за что! Свадьбу надо отпраздновать у нее, и это ничего не будет стоить отцу. Она уже сделала все распоряжения, все устроено, все готово — одним словом, она берет все на себя!

Старик повторил: «Это очень хорошо, малютка, очень хорошо». Но вдруг у него возникло сомнение. Согласятся ли Тушары? Роза, невеста, удивленно спросила:

— А почему бы им не согласиться? Предоставь мне это уладить; я сама поговорю с Филиппом.

Действительно, она в тот же день переговорила с женихом, и Филипп заявил, что будет очень рад. Отец и мать Тушары тоже были в восторге от перспективы хорошего обеда, за который им ничего не придется платить. Они говорили:

— Наверно, все будет превосходно; ведь господин Дюбуа в золоте купается.

Они только попросили разрешения пригласить свою

приятельницу, мадмуазель Флоранс, кухарку жильцов со второго этажа. Анна охотно согласилась.

Свадьба была назначена на последний вторник месяца.

II

После формальностей в мэрии и церковной церемонии свадебный кортеж направился к дому Анны. Со своей стороны Тайли пригласили своего пожилого родственника г-на Совтанена, человека, любящего порассуждать, церемонного и напыщенного, от которого ждали наследства; пригласили они и свою старую тетку, г-жу Ламандуа.

Было заранее условлено, что г-н Совтанен поведет под руку Анну. Их нарочно соединили, как самых важных и почетных лиц этого общества.

Когда подошли к квартире Анны, она сейчас же оставила своего кавалера и побежала вперед, сказав:

— Я вам укажу дорогу.

Она бегом поднялась по лестнице, в то время как вереница приглашенных медленно следовала за ней.

Открыв дверь своей квартиры, девушка посторонилась, пропуская гостей, которые торжественно прошли мимо нее, тараща глаза и вертя головой во все стороны, чтобы хорошенько разглядеть эту удивительную роскошь.

Стол был накрыт в гостиной, так как решили, что в столовой будет слишком тесно. Приборы были взяты напрокат у владельца соседнего ресторана. Графины, полные вина, сияли в лучах солнца, падавших из окна.

Дамы прошли в спальню, чтоб освободиться от шалей и шляп, а Тушар-отец, стоя в дверях, подмигивал на широкую и низкую кровать и делал мужчинам шутливые и одобрительные знаки. Дядюшка Тайль, державшийся очень достойно, рассматривал с затаенной гордостью пышную обстановку дочери и переходил из комнаты в комнату, держа в руках свою шляпу, отмечая взглядом каждый предмет, расхаживая по квартире, точно пономарь в церкви.

Анна уходила, приходила, бегала, распоряжалась, торопила с обедом.

Наконец она появилась на пороге столовой, из ко-

торой была вынесена мебель, и позвала: «Идите-ка все на минутку сюда». Двенадцать приглашенных поспешили на ее зов и увидели двенадцать рюмок мадеры, расставленных венчиком на маленьком столике.

Роза и ее муж, обнявшись, уже целовались по углам. Г-н Совтанен не спускал глаз с Анны и, должно быть, был охвачен тем пылом и нетерпением, которые волнуют всех мужчин, даже старых и безобразных, вблизи женщин легкого поведения, словно те должны по своему ремеслу, по долгу профессии отдавать частицу себя каждому самцу.

Затем все сели за стол, и начался обед. Родители занимали один конец стола, молодежь — другой. Г-жа Тушар-мать председательствовала направо, новобрачная — налево. Анна заботилась о всех и каждом, следила, чтобы бокалы были всегда налиты, а тарелки всегда наполнены. Какая-то почтительность, смущение, робость перед богатством квартиры и пышностью сервировки парализовали гостей. Ели много, ели вкусно, но никто не веселился так, как полагается веселиться на свадьбе. Всех стесняла слишком изысканная обстановка. Г-жа Тушар-мать, любившая посмеяться, старалась оживить общество и, когда подали десерт, крикнула: «А ну, Филипп, спой-ка нам что-нибудь!». Ее сын славился у себя на улице своим красивым голосом, лучшим во всем Гавре.

Новобрачный сейчас же встал, улыбнулся и, повернувшись, из вежливости и галантности, к свояченице, стал подыскивать что-нибудь подходящее к случаю, что-нибудь серьезное, вполне приличное и соответствующее торжественности обеда.

Анна с довольным видом откинулась на спинку стула и приготовилась слушать. Все стали внимательны, на лицах появилась неопределенная улыбка.

Певец возвестил:

— «Проклятый хлеб».

И, округлив правую руку, отчего сюртук полез ему на шею, начал:

Священный это хлеб, что у земли весь век
Должны мы отнимать победными руками.
То трудовой наш хлеб, и честный человек
Семье его несет, счастливый, вечерами.
Но есть и хлеб другой, влекущий как цветок,

Проклятый хлеб, что ад взрастил рукой тлетворной!
Проклятый хлеб, что ад взрастил рукой тлетворной!
Поосторожней с ним. В нем затаен порок.
О дети милые! Не ешьте хлеб позорный!
О дети милые! Не ешьте хлеб позорный!

Весь стол бешено зааплодировал. Тушар-отец заявил: «Вот это здорово». Приглашенная кухарка повертела в руках горбушку хлеба, с умилением глядя на нее. Г-н Совтанен пробормотал: «Очень хорошо». А тетушка Ламандуа уже вытирала себе глаза салфеткой.

Новобрачный возвестил: «Второй куплет!» — и затянул его с возрастающей силой:

Почтенье к беднякам, что под ярмом годов
Несмело просят нас пооблегчить их муку,
Но заклеймим того, кто молод и здоров,
Но вдруг, забросив труд, протягивает руку.
Такое нищенство — грабеж у стариков.
Грабеж у тех, кто смят, согбен работой черной!
Грабеж у тех, кто смят, согбен работой черной!
Презренье тем, кто есть хлеб лености готов!
О дети милые! Не ешьте хлеб позорный!
О дети милые! Не ешьте хлеб позорный!

Все, даже оба лакея, стоящие у стен, хором проревели припев. Из-за фальшивых и визгливых голосов женщин густые голоса мужчин сбивались с тона.

Тетушка и невеста плакали навзрыд. Дядюшка Тайль сморкался с шумом тромбона, а Тушар-отец в экстазе размахивал целым хлебом, доставая им до середины стола. У кухарки-гостьи немые слезы капали прямо на горбушку, которую она сжимала в руках.

Г-н Совтанен провозгласил среди общего волнения:

— Вот поистине здравые мысли, далекие от разных плоских шуточек.

Анна, тоже взволнованная, посылала сестре воздушные поцелуи и дружески кивала ей на мужа, как бы поздравляя ее.

Молодой человек, опьяненный успехом, продолжал:

В лачуге у себя, прекрасна и юна,
Швея задумалась. Ее волнует что-то.
О бедное дитя! Родителям — одна
Ты радость, счастье, свет! Так не бросай работу.
В постыдной роскоши найдешь ли сладкий сон,
Когда умрет отец, проклявши путь твой торный?

Когда умрет отец, проклявши путь твой торный?
Хлеб обесчещенный слезами орошен!
О дети милые! Не ешьте хлеб позорный!
О дети милые! Не ешьте хлеб позорный![1]

Только оба лакея и Тушар-отец подхватили припев. Анна, вся бледная, опустила глаза. Новобрачный озадаченно оглядывался, не понимая причины внезапной холодности. Кухарка быстро выпустила из рук горбушку, как будто та стала вдруг ядовитой.

Г-н Совтанен, желая спасти положение, важно заявил:

— Последний куплет — это уж лишнее.

Дядюшка Тайль, красный до ушей, бросал вокруг себя свирепые взгляды.

Тогда Анна, глаза которой были полны слез, сказала лакеям упавшим голосом, голосом плачущей женщины:

— Принесите шампанское.

Гости вздрогнули от радости. Лица просияли. И так как Тушар-отец, который ничего не заметил, ничего не почувствовал, ничего не понял, все еще продолжал петь, размахивая своим хлебом и показывая его гостям:

О дети милые! Не ешьте хлеб позорный! —

то и вся компания, наэлектризованная видом появившихся бутылок с серебряными горлышками, грянула изо всех сил:

О дети милые! Не ешьте хлеб позорный!

---

[1] Перевод Евгения Сокола.

ДЕЛО ГОСПОЖИ ЛЮНО

Жоржу Дювалю

Мировой судья, тучный мужчина, зажмурив один глаз и едва глядя другим, слушает истцов с недовольным видом. По временам он издает какое-то хрюканье, по которому заранее можно судить о его решении, и прерывает говорящих, задавая вопросы тонким, словно детским голоском. Он только что разобрал дело г-на Жоли с г-ном Петипа по поводу межевого столба, нечаянно перемещенного работником г-на Петипа во время пахоты.

Следующим он объявляет дело Ипполита Лакура, пономаря и торговца скобяным товаром, и г-жи Селесты-Сезарины Люно, вдовы Антима-Исидора Люно.

Ипполиту Лакуру сорок пять лет; он высок, худ, носит длинные волосы и выбрит, как полагается духовному лицу; говорит он медленно и нараспев тягучим голосом.

Г-же Люно на вид лет сорок. Она сложена, как атлет, и ее тело повсюду выпирает из узкого, облегающего платья. Над огромными бедрами выдается спереди необъятная грудь, а сзади жирные, как груди, лопатки. На толстой шее покоится голова с резкими чертами лица, а в голосе, зычном, хотя и высоком, слышатся нотки, от которых дрожат стекла и барабанные перепонки. Она беременна и выпячивает свой живот, огромный, как гора.

Свидетели защиты ожидают своего вызова.

Мировой судья начинает допрос:

— Ипполит Лакур, изложите ваши притязания.

Истец начинает:

— Значит, так, господин мировой судья. На святого Михаила будет уже девять месяцев, как госпожа Люно пришла ко мне раз вечером, едва лишь я отзвонил вечерню, и рассказала мне все как есть о своем положении, ну насчет своего бесплодия...

Мировой судья. Прошу вас, выражайтесь яснее.

Ипполит. Сейчас поясню, господин судья. Она, понимаете, хотела ребенка и просила моего участия в этом деле. Я был не против, и она пообещала мне сто франков. Все было уговорено и улажено, а теперь она отказывается платить. Я требую от нее при вас свои деньги, господин судья.

Мировой судья. Ровно ничего не понимаю. Вы говорите, она хотела ребенка? Как это так? Какого именно ребенка? Приемыша, что ли?

Ипполит. Нет, господин судья, нового.

Мировой судья. Что вы подразумеваете под словом «нового»?

Ипполит. Я разумею будущего ребенка, которого мы имели бы с ней вместе, ну, как если бы мы были муж и жена.

Мировой судья. Вы бесконечно меня удивляете. Ради какой же цели могла она вам сделать такое несуразное предложение?

Ипполит. Сначала и мне, господин судья, невдомек было, к чему ей это, и я тоже был немножко сбит с толку. Но так как я никогда ничего не делаю наобум, то захотел узнать, какие у нее к тому расчеты, и она мне их все выложила.

Значит, так. Супруг ее Антим-Исидор, которого мы с вами хорошо знали, преставился за неделю до того, и все его имущество должно было отойти обратно к его родне. Это было ей не по вкусу, особенно из-за его денег,— вот она и отыскала законника, который надоумил ее насчет родов на десятом месяце. Я хочу сказать, что если бы она разрешилась от бремени в течение десяти месяцев после кончины покойного Антима-Исидо-

ра, то ребенок считался бы законным и давал бы ей право на наследование.

Она тотчас же решила уладить дело и разыскала меня при выходе из церкви, как я уже имел честь вам изложить; ведь я законный отец восьмерых детей, которые все живы и из которых старший имеет бакалейную торговлю в Кане, в департаменте Кальвадос, и состоит в законном браке с Виктуар-Элизабет Рабу...

Мировой судья. Эти подробности излишни. Вернемся к делу.

Ипполит. Слушаю, господин судья. Так вот она мне и говорит: «Ежели у тебя выйдет, я дам тебе сто франков, как только удостоверю у доктора, что я затяжелела».

Ну, так, значит, господин судья, я и взялся за работу, чтобы ее удовлетворить. Месяца через полтора — два я с удовлетворением узнал об успехе дела. Но когда я спросил было свои сто франков, она мне отказала. Я требовал их снова и на все лады, но не получил ни гроша. Она обозвала меня даже флибустьером и неспособным, а стоит лишь поглядеть на нее, сразу видно, что дело обстоит совсем по-другому.

Мировой судья. Ответчица Люно, что вы можете сказать?

Госпожа Люно. Я скажу, господин мировой судья, что этот человек — флибустьер.

Мировой судья. Какие доказательства вы можете привести в подтверждение сказанного?

Госпожа Люно *(багровая, задыхающаяся, несвязно)*. Какие доказательства? Какие доказательства? У меня их сколько угодно, и при этом самых настоящих, что ребенок не от него. Нет, не от него, господин судья, клянусь головой покойного мужа, что не от него.

Мировой судья. От кого же он, в таком случае?

Госпожа Люно *(заикаясь от гнева)*. А я-то почем знаю, от кого? От всех, черт возьми. Да вот мои свидетели, господин судья, вот они все. Их шестеро. Допросите их, допросите, они скажут...

Мировой судья. Успокойтесь, госпожа Люно, успокойтесь и отвечайте, не волнуясь. Какие у вас при-

чины сомневаться, что этот человек является отцом ребенка, которого вы ждете?

Госпожа Люно. Какие причины? У меня их сто против одной, сто, двести, пятьсот, десять тысяч, миллион и больше причин. После того уж, как я сделала ему это предложение, о котором вы знаете, и пообещала ему сто франков, я узнала, что он рогат, извините за выражение, господин судья, и что дети его вовсе не от него, ни один не от него.

Ипполит Лакур *(спокойно)*. Все это — вранье.

Госпожа Люно *(вне себя)*. Вранье! Вранье! Скажите на милость! А что жена его со всеми путается — провалиться мне,— со всеми! Да вот мои свидетели, господин судья. Допросите их!

Ипполит Лакур *(хладнокровно)*. Вранье все это.

Госпожа Люно. Скажите на милость! А рыжие, это ты их, что ли, сделал, твоих рыжих?

Мировой судья. Прошу без личностей, или я буду вынужден принять строгие меры.

Госпожа Люно. Начала, стало быть, я сомневаться в его способностях; ну, думаю, две заручки, как говорится, всегда получше одной, и рассказала о своем деле Сезэру Лепик, вот ему, моему свидетелю. А он ответил: «К вашим услугам, госпожа Люно» — и оказал мне содействие на тот случай, если бы у Ипполита промашка вышла. Ну, а если бы и другие свидетели узнали, что я хочу заручиться наверняка, так их тут набралась бы целая сотня, пожелай я только, господин судья.

Вот этот, высокий — его зовут Лука Шанделье,— прямо-таки клялся, что не к чему давать сто франков Ипполиту Лакуру, раз он не сделал больше, чем другие, которые ведь ничего за это и не спрашивают.

Ипполит. Незачем было тогда обещать деньги. Ведь я на них рассчитывал, господин судья. Да со мной ошибок и не бывает: сказано — сделано.

Госпожа Люно *(вне себя)*. Сто франков! Сто франков! Сто франков за это, флибустьер, сто франков! А вот они ничего с меня не спросили, как есть ничего. Глядите, вот они все шестеро здесь. Допросите их, господин судья, уж они вам ответят, по совести от-

ветят. *(Ипполиту)*. А ну, попробуй-ка сказать, флибустьер, что они тебя не стоят! Их шестеро, но если бы я только захотела, их было бы сто, двести, пятьсот, сколько душе угодно, и все это задаром, флибустьер!

Ипполит. Да хоть бы их было все сто тысяч!..

Госпожа Люно. И сто тысяч, кабы я только захотела...

Ипполит. Как бы то ни было, но я свой долг выполнил... Наше условие от этого не меняется.

Госпожа Люно *(хлопая обеими руками по животу)*. А ну, докажи, что это твое, докажи-ка, докажи, флибустьер! Попробуй!

Ипполит *(спокойно)*. Возможно, что это столько же мое, сколько и другого. А все-таки вы обещали на мою долю сто франков. Вольно вам было потом соваться ко всякому встречному. Это ничего не меняет. Я бы и сам прекрасно справился.

Госпожа Люно. Это неправда! Флибустьер! Допросите моих свидетелей, господин судья. Они вам ответят по совести.

Мировой судья вызывает свидетелей защиты. Их шестеро; они смущены, краснеют, не знают, куда девать руки.

Мировой судья. Лука Шанделье, имеете ли вы основание предполагать, что являетесь отцом ребенка, которого носит в своем чреве госпожа Люно?

Лука Шанделье. Да, господин судья.

Мировой судья. Селестен-Пьер Сидуан, имеете ли вы основание предполагать, что являетесь отцом ребенка, которого носит в своем чреве госпожа Люно?

Селестен-Пьер Сидуан. Да, господин судья.

Четыре других свидетеля дают точно такие же показания.

Мировой судья после некоторого размышления произносит:

— «Принимая во внимание, что хотя Ипполит Лакур имеет основание считать себя отцом ребенка, которого домогалась госпожа Люно, но и Лука Шанделье и другие имеют подобные же, если не более веские, основания претендовать на это же отцовство;

принимая также во внимание, что госпожа Люно первоначально обратилась за содействием к Ипполиту Лакуру, за каковое содействие было установлено с обоюдного согласия вознаграждение в сумме ста франков;

принимая одновременно во внимание, что хотя есть возможность предполагать полную добросовестность со стороны сьера Лакура, тем не менее допустимо оспаривать его право брать на себя подобного рода обязательство, ибо истец состоит в браке и по закону должен сохранять верность своей супруге;

принимая сверх того во внимание, и т. д., и т. д.

Суд присуждает госпожу Люно к уплате 25 франков проторей и убытков сьеру Ипполиту Лакуру за потерю времени и гнусное его совращение».

МУДРЕЦ

Барону де Во

Блеро был другом моего детства, самым любимым моим товарищем. Между нами не было никаких тайн. Нас связывала тесная дружба ума и сердца, братская привязанность, полное взаимное доверие. Он поверял мне самые свои сокровенные мысли, вплоть до мельчайших проступков и мучений совести, в которых с трудом признаешься даже самому себе. Я платил ему тем же.

Я был поверенным всех его любовных историй. Он — всех моих.

Когда он объявил мне, что собирается жениться, я был оскорблен, как изменой. Я почувствовал, что пришел конец той сердечной и безграничной привязанности, которая соединяла нас друг с другом. Между нами вставала теперь его жена. Интимность брачного ложа устанавливает между двумя существами, даже если они и перестали любить друг друга, нечто вроде соучастия, таинственного союза. Они, муж и жена, становятся как бы двумя сообщниками, не доверяющими, помимо друг друга, никому на свете. Но эта столь тесная связь, скрепленная супружеским поцелуем, сразу же прекращается, лишь только женщина берет себе любовника.

Как сейчас помню все подробности свадьбы Блеро. Я не любитель подобных церемоний и не захотел присутствовать при подписании брачного контракта; я пошел только в мэрию и в церковь.

Его жена, которую я совсем не знал, была высокая девушка, блондинка, худенькая, хорошенькая, с бесцветными глазами, бесцветными волосами, с бледным лицом и бледными руками. Она ходила слегка раскачиваясь, точно плыла в лодке. Приближаясь к вам, она как будто делала целый ряд медленных грациозных реверансов.

Блеро был, по-видимому, сильно в нее влюблен. Он беспрестанно на нее смотрел, и я чувствовал, что он весь трепещет от неудержимого желания обладать этой женщиной.

Несколько дней спустя я зашел к нему. Он мне сказал:

— Ты не можешь себе представить, как я счастлив. Я ее безумно люблю. И притом она... она...

Он не докончил фразы, но, приложив два пальца к губам, сделал жест, означающий: божественна, чудесна, совершенна и еще многое другое.

Я спросил, смеясь:

— Неужели так много?

Он ответил:

— Все, о чем только можно мечтать.

Он представил меня. Она была очаровательна, в меру проста и сказала мне, что я должен чувствовать себя у них, как дома. Но я ясно чувствовал, что Блеро-то уж больше не был моим. Нашей дружбы как не бывало. Мы с трудом находили, что сказать друг другу.

Я ушел. Затем я отправился путешествовать по Востоку и возвратился оттуда через Россию, Германию, Швецию и Голландию.

В Париж я вернулся только спустя полтора года.

На другой день по возвращении, бродя по бульварам, чтобы снова подышать воздухом Парижа, я встретил страшно бледного человека, с изможденным лицом, столь же мало похожего на Блеро, как чахоточный может быть похож на здорового, краснощекого малого, начинающего слегка жиреть. Я смотрел на него в изумлении и беспокойстве, спрашивая себя: «Он ли это?» Он увидел меня, вскрикнул, протянул мне руки. Я раскрыл ему объятия, и мы расцеловались посреди бульвара.

Пройдясь с ним несколько раз взад и вперед от улицы Друо до Водевиля и собираясь проститься, потому что он казался уже измученным ходьбой, я сказал ему:

— Ты плохо выглядишь. Ты не болен?

Он ответил:

— Да, мне немного нездоровится.

У него был вид умирающего, и в сердце моем поднялась волна нежности к этому старому и такому дорогому другу, единственному в моей жизни. Я сжал ему руки.

— Что такое с тобой? Ты хвораешь?

— Нет, просто маленькое утомление, это пустяки.

— Что находит врач?

— Он говорит, что это малокровие, и прописывает мне железо и сырое мясо.

Подозрение мелькнуло у меня в уме. Я спросил:

— Ты счастлив?

— Да, очень счастлив.

— Вполне счастлив?

— Вполне.

— Как твоя жена?

— Очаровательна. Я люблю ее еще больше, чем прежде.

Но я заметил, что он покраснел. Он казался смущенным, словно опасался новых расспросов. Я схватил его за руку, втолкнул в какое-то кафе, пустое в этот час, насильно усадил и, глядя ему прямо в глаза, сказал:

— Послушай, Ренэ, старый друг, скажи мне всю правду.

Он пробормотал:

— Но мне нечего тебе сказать.

Я продолжал твердым голосом:

— Это не так. Ты болен, конечно, болен и никому не смеешь доверить свою тайну. Тебя гложет какая-то тоска. Но ты мне скажешь это. Ну, я жду.

Он еще больше покраснел, затем промолвил, запинаясь, отвернув лицо:

— Это глупо... но я... я изнемогаю.

Он замолчал, а я продолжал настаивать: «Ну, говори же». Тогда он быстро произнес, как бы выталки-

вая из себя мучительную, еще ни разу не высказанную мысль:

— Ну, моя жена меня губит... вот что.

Я не понимал:

— Ты несчастлив с нею? Она мучает тебя? Но как? Почему?

Он прошептал слабым голосом, словно признаваясь в преступлении:

— Нет... я ее чересчур люблю.

Я растерялся при этом грубом признании. Потом меня охватило желание расхохотаться, и, наконец, я смог ответить:

— Но мне кажется, что ты... что ты мог бы... и поменьше любить ее.

Он снова очень побледнел. Но решился наконец говорить со мной откровенно, как бывало в старину.

— Нет. Не могу. И я умираю. Мне это известно. Я умираю. Я убиваю себя. И мне страшно. В иные дни, как сегодня, например, мне хочется бросить ее, уйти совсем, уехать на край света, чтобы только жить, долго жить. Но когда наступает вечер, я против собственной воли возвращаюсь домой, замедляя шаг, терзаясь душою. Медленно поднимаюсь по лестнице. Звоню. Она дома и сидит в кресле. Она говорит мне: «Как ты поздно». Я целую ее. Потом мы садимся за стол. Пока мы едим, я все время думаю: «После обеда я уйду из дому, сяду в поезд и уеду куда глаза глядят». Но когда мы возвращаемся в гостиную, я чувствую себя таким утомленным, что у меня нет больше сил подняться. Я остаюсь. А потом... а потом... я никогда не могу устоять.

Я не удержался и опять улыбнулся. Увидев это, он продолжал:

— Ты смеешься, но поверь мне, это ужасно.

— Почему же,— спросил я,— тебе не объяснить все жене? Если она не чудовище, она должна понять тебя.

Он пожал плечами.

— Ах, тебе легко говорить! Я ничего не говорил ей, потому что знаю ее натуру. Слыхал ли ты когда-нибудь, как про некоторых женщин говорят: «Она принялась

уже за третьего мужа»? Да, не правда ли, и это вызывает у тебя улыбку, вот как сейчас? А вместе с тем это верно. Что поделаешь? Ни я, ни она в этом не виноваты. Она такова, потому что такою создала ее природа. У нее, мой дорогой, темперамент Мессалины. Она этого не знает, но я-то хорошо знаю; тем хуже для меня. Она очаровательна, кротка, нежна и считает естественными и умеренными наши безумные ласки, которые истощают, которые убивают меня. У нее вид невинной пансионерки. И она невинна, бедняжка.

О, я каждый день принимаю самые категорические решения. Пойми, ведь я умираю. Но мне достаточно одного взгляда ее глаз, одного этого взгляда, в котором я читаю жгучее желание ее губ, и я тотчас же поддаюсь, говоря себе: «Это последний раз. Я больше не хочу этих губительных поцелуев». А потом, когда уступаю опять, как сегодня, например, я ухожу из дому и иду куда попало, думая о смерти, повторяя себе, что я погиб, что все кончено.

Я так угнетен, так болен душою, что вчера местом моей прогулки был Пер-Лашэз. Я смотрел на могилы, вытянувшиеся рядами, как домино, и думал: «Скоро и я буду здесь лежать». Я вернулся домой, твердо решив сказаться больным, избежать ее ласк. Но я не мог.

О, тебе этого не понять. Спроси курильщика, отравляющего себя никотином, может ли он отказаться от своей сладостной и смертоносной привычки. Он тебе скажет, что пробовал сто раз, но ничего не добился. И прибавит: «Ничего не поделаешь. Лучше уж умереть от этого». Так и я. Когда тебя захватывает такая страсть или такой порок, надо отдаться им целиком.

Он встал и протянул мне руку. Меня охватил бурный гнев, ненависть к этой женщине, к женщине вообще, к этому бессознательному, прелестному и в то же время ужасному существу. Он застегивал свое пальто, собираясь уходить. Я грубо бросил ему в лицо:

— Но, черт побери! Лучше предоставь ее любовникам, чем так себя губить!

Он пожал плечами, ничего не ответил и ушел.

Полгода я его не встречал. Каждое утро я был готов получить письмо с приглашением на его похороны. Но решил, что ноги моей у него не будет; меня останавливали сложные чувства: презрение к этой женщине, а также гнев, возмущение и множество самых разнообразных ощущений, которые вызывал он сам.

Как-то в прекрасный весенний день я гулял по Елисейским Полям. Было теплое послеполуденное время, которое пробуждает в нас скрытое чувство радости: от него загораются глаза, и нас охватывает бурное счастье жизни. Кто-то хлопнул меня по плечу. Я обернулся. Это был он; это был он — великолепный, здоровый, румяный, располневший, с брюшком.

Он протянул мне обе руки, сияя от удовольствия и крича:

— Попался, изменник?

Я смотрел на него и от изумления не мог двинуться с места.

— Ах... Фу ты, поздравляю тебя. Ты изменился за эти полгода.

Он покраснел, как рак, и ответил, натянуто смеясь:

— Живу, как умею.

Я смотрел на него так пристально, что он был, видимо, смущен. Я произнес:

— Значит, ты... ты выздоровел?

Он произнес скороговоркой:

— Да, вполне, благодарю тебя.

И быстро переменил тон:

— Какая удача, что я тебя встретил, старина! Не правда ли, теперь мы будем видеться и часто?

Но настойчивая мысль меня не покидала. Я хотел знать. Я спросил:

— Послушай, ты ведь помнишь признание, которое ты мне сделал полгода тому назад... значит... значит... теперь ты сопротивляешься?

Он невнятно пробурчал:

— Считай, что я тебе ничего не говорил, и оставь меня в покое. Но, знаешь, раз я тебя нашел, то не отпущу. Идем ко мне обедать.

Внезапно мною овладело безумное желание посмотреть, как он живет, понять, в чем дело. Я согласился.

Два часа спустя он вводил меня к себе.

Его жена приняла меня самым приветливым образом. Она держала себя очень просто, с пленительной наивностью и очаровательным изяществом. Ее щеки, шея, длинные кисти рук отличались исключительной белизной и утонченностью; то была изнеженная, благородная, породистая кровь. И двигалась она все тем же плавным движением, раскачиваясь, как будто ноги ее на каждом шагу слегка подгибались.

Ренэ по-братски поцеловал ее в лоб и спросил:

— Люсьен еще не приходил?

Она ответила спокойно и громко:

— Нет еще, мой друг. Ты ведь знаешь, он всегда чуть-чуть запаздывает.

Раздался звонок. Вошел высокий молодой человек, очень смуглый, с густой растительностью на щеках, нечто вроде светского Геркулеса. Нас познакомили. Его звали Люсьен Делабар.

Ренэ и он крепко пожали друг другу руки. Затем все сели за стол.

Обед прошел восхитительно, очень весело. Ренэ, не переставая, говорил со мной запросто, сердечно, откровенно, как в былые дни. Он беспрестанно повторял: «Ты знаешь, старина, скажи-ка, старина, послушай, старина». Потом вдруг воскликнул:

— Ты и не подозреваешь, как я рад, что снова нашел тебя! Мне кажется, что я вновь начинаю жить.

Я смотрел на его жену и на того. Они держали себя безупречно. Однако мне раза два показалось, что они украдкой быстро переглянулись.

Как только кончился обед, Ренэ, обращаясь к своей жене, объявил:

— Дорогая моя, я вновь обрел Пьера и похищаю его; мы пойдем, как бывало, поболтать и побродить по бульварам. Ты простишь нам эту холостяцкую причуду. Зато я оставляю с тобой господина Делабара.

Молодая женщина улыбнулась и сказала, протягивая мне руку:

— Не задерживайте его слишком долго.

И вот мы под руку гуляем по улицам. Желая во что бы то ни стало выведать все от него, я спросил:

— Послушай, что же произошло? Расскажи.

Но он резко перебил меня и ответил ворчливым тоном человека, которого попусту тревожат:

— Ну, старина, оставь меня в покое с твоими расспросами.

Потом он прибавил вполголоса, как бы отвечая самому себе, с убежденностью человека, принявшего мудрое решение:

— Было бы слишком глупо так издохнуть в конце концов.

Я больше не настаивал. Мы ускорили шаг. Началась болтовня о том, о сем. И вдруг он шепнул мне на ухо:

— А не зайти ли нам к девочкам? А?

Я от души рассмеялся.

— Как хочешь. Зайдем, старина.

ЗОНТИК

Камиллу Удино

Г-жа Орейль отличалась бережливостью. Она знала цену каждому су и в совершенстве владела суровым сводом правил накопления денег. Ее прислуга, конечно, и не помышляла присчитывать при покупках, а г-ну Орейлю карманные деньги доставались с превеликим трудом. Между тем жили они в достатке, детей у них не было, но г-жа Орейль испытывала истинное горе, расставаясь с каждой монеткой. Это сокрушало ее сердце, и каждый раз, когда приходилось по необходимости тратить деньги сколько-нибудь крупные, ее всю ночь мучила бессонница.

Орейль вечно твердил жене:

— Да не скупись, мы и так не проживаем наших доходов.

Она отвечала:

— А вдруг что-нибудь стрясется? Лишние деньги никогда не помешают.

Эта щуплепькая, опрятная, подвижная сорокалетняя женщина со сморщенным личиком была почти всегда не в духе.

Муж постоянно жаловался на лишения, которые он терпит по ее милости. Некоторые из них были особенно несносны, потому что задевали его самолюбие.

Только повинуясь жене, он продолжал служить столоначальником в военном министерстве, чтобы приумножать и без того излишние доходы.

И вот он два года ходил на службу все с одним и тем же заплатанным дождевым зонтиком, над которым издевались все сослуживцы. Выведенный из терпения их шутками, он потребовал у жены новый зонтик. Она прельстилась рекламой какого-то крупного универсального магазина и купила зонтик за восемь франков пятьдесят сантимов. Увидав эту дешевку, которая тысячами распродается в парижских магазинах, сослуживцы опять принялись дразнить Орейля, так что ему стало совсем невмоготу. Зонтик никуда не годился. Через три месяца его нельзя было взять в руки, что развеселило все министерство. Даже песенку по этому поводу сочинили и распевали ее с утра до вечера по всем закоулкам огромного здания.

Взбешенный Орейль велел жене купить новый, шелковый дождевой зонтик за двадцать франков и в подтверждение показать счет.

Она приобрела зонтик за восемнадцать франков и, вся красная от злости, предупредила, отдавая его супругу:

— Это тебе по меньшей мере лет на пять.

В канцелярии торжествующий Орейль стал героем дня.

Вечером, когда он пришел со службы, жена сказала, беспокойно поглядев на зонтик:

— Не следовало бы его перетягивать резинкой, она может протереть шелк. Смотри береги его. Теперь ты не так-то скоро дождешься нового.

Она взяла зонт, отстегнула колечко, расправила складки да так и обмерла от ужаса: на самом видном месте красовалась круглая дырка величиной с монету. Зонтик был прожжен сигарой!

Она пролепетала:

— Да что же это такое?

Муж, не глядя, спокойно проговорил:

— Что там такое? Что случилось?

Гнев душил ее, у нее отнялся язык.

— Ты... ты... про... прожег... зонтик..! Да... ты... ты... с ума... сошел! Ты разориться хочешь!

Он обернулся, чувствуя, что бледнеет.

— Что ты говоришь?

— Говорю, что ты прожег зонтик! Смотри!

Худ. Рене Лелон. 1907. «БОЛЕЗНЬ АНДРЕ».

Худ. Рене Лелон. 1907. «ДЕЛО ГОСПОЖИ ЛЮНО».

Худ. Рене Лелон. 1907. «НАГРАЖДЕН!»

Она устремилась к мужу, словно намереваясь прибить его, и стала совать ему под нос злополучную дырку.

Перед таким бедствием он окончательно растерялся и пробормотал:

— Что это... что это такое?.. Я ничего не знаю! Я тут ни при чем, уверяю тебя! Понятия не имею, как это случилось.

А она уже кричала:

— Головой ручаюсь, что ты у себя в канцелярии выкидывал с ним всякие штучки, паясничал, раскрывал его из бахвальства!

Он ответил:

— Я раскрыл его всего-навсего один раз, чтобы показать, какой он замечательный. Больше ничего, уверяю тебя.

Но она в ярости топала ногами и закатила ему одну из тех супружеских сцен, от которых семейный очаг для миролюбивого человека становится страшнее, чем поле битвы, где свищут пули.

Она посадила на дыру заплату другого цвета, взяв лоскуток от старого зонтика, и утром подавленный Орейль ушел с починенным зонтиком. Он поставил его в свой шкаф, стараясь отогнать от себя неприятные воспоминания.

Но вечером не успел он войти, как жена выхватила у него зонтик, раскрыла его, чтобы удостовериться в его целости, и у нее дух захватило при виде непоправимой беды. Он был, словно решето, весь в мелких дырочках, по всей вероятности, прожженных золой из горящей трубки. Он погиб, погиб безвозвратно!

От бешенства она не могла выговорить ни слова и безмолвно рассматривала зонтик. Потрясенный муж тоже созерцал повреждения в ужасе, в смятении, в отчаянии.

Потом они взглянули друг на друга, потом он опустил глаза, потом она швырнула ему в лицо дырявый зонтик и, вновь обретая голос, разразилась яростным криком:

— Ах, ты — негодяй, негодяй этакий! Ты нарочно это устроил! Только ты поплатишься за это! Будешь совсем без зонтика!..

И сцена возобновилась. После бури, продолжавшейся около часа, ему наконец удалось вставить словечко. Он утверждал, что ничего понять не может, что сделать это мог кто-нибудь только из недоброжелательства или из мести.

Спас его звонок. Пришел приятель, который был приглашен к обеду.

Г-жа Орейль рассказала ему, что произошло. О покупке нового зонтика не могло быть и речи, муж ее останется без зонта. Приятель резонно заметил:

— Однако, сударыня, у него испортится одежда, а она стоит значительно дороже.

Все еще взбешенная женщина отрезала:

— Хорошо, пусть ходит с тем зонтом, с которым я хожу на рынок, а нового, шелкового, я ему ни за что не куплю.

Эта мысль возмутила Орейля:

— Ну так я подам в отставку, да, да! А с кухонным зонтом в министерство не покажусь.

Приятель посоветовал:

— Отдайте его обтянуть заново. Это стоит пустяки.

Раздраженная г-жа Орейль пробурчала:

— Чтобы обтянуть его, нужно отдать франков восемь. Восемь да восемнадцать — это уже двадцать шесть! Двадцать шесть франков за зонтик, да это с ума сойдешь! Это безумие!

Приятеля, человека небогатого, осенило:

— Так пусть заплатит общество, в котором застраховано ваше имущество. Страховые компании платят за предметы, пострадавшие от огня, в том случае, если несчастье произошло в вашей квартире.

Такой совет сразу вернул г-же Орейль душевное равновесие; немного подумав, она сказала мужу:

— Завтра по дороге в министерство зайди в контору «Материнской помощи», пусть освидетельствуют состояние зонтика и выплатят страховую премию.

Г-н Орейль так и подскочил:

— Никогда в жизни! Пропади они совсем, эти восемнадцать франков! Мы от этого не умрем.

И на другой день он ушел с тростью. К счастью, стояла хорошая погода.

Оставшись дома одна, г-жа Орейль никак не могла успокоиться при мысли о своих восемнадцати франках. Перед ней на обеденном столе лежал зонтик, а она ходила вокруг и не могла ничего придумать.

Она то и дело возвращалась к мысли о страховом обществе, но и у нее не хватило бы духу перенести насмешливые взгляды, которыми ее там встретят, потому что она робела на людях, краснея и смущаясь от всякого пустяка, как только ей приходилось вступать в разговор с посторонними.

Однако потеря восемнадцати франков мучила ее, словно какое-то оскорбление. Она старалась думать о другом, но воспоминание об этом убытке продолжало сверлить ей мозг. Что же все-таки делать? Время шло; она все еще раздумывала. Потом, внезапно расхрабрившись, как бывает с трусами, она решилась:

— Пойду, а там видно будет!

Но сначала нужно было придать зонтику такой вид, чтобы несчастный случай был очевиден и претензия имела основания. Она взяла на камине спички и прожгла огромную, с ладонь, дыру между спицами, а то, что осталось от шелка, она осторожно свернула, скрепила резиночкой, потом надела шаль и шляпу и быстро направилась на улицу Риволи, где помещалась страховая компания.

Но шаги ее замедлялись по мере того, как она приближалась к цели. Что она скажет? Что будет?

Она смотрела на номера домов. До цели оставалось еще двадцать восемь. Отлично! Можно еще подумать. Она шла все медленнее. Вдруг она вздрогнула. Вот дверь, на которой блестят золотые буквы: Общество страхования от огня «Материнская помощь». Уже! Она остановилась на миг, растерянная и смущенная, потом прошла мимо, вернулась, прошла мимо еще раз, снова вернулась.

Наконец она решила: «Все-таки идти надо. И чем скорее, тем лучше».

Но, войдя, она почувствовала сердцебиение.

Она попала в просторное помещение с окошечками вдоль стен; в каждом окошечке виднелась голова скрытого за перегородкой человека.

В комнату вошел какой-то господин с бумагами в руках. Она остановилась и спросила тоненьким, робким голоском:

— Простите, сударь, не можете ли вы сказать, куда следует обратиться, чтобы получить деньги за сгоревшее имущество?

Он ответил звучным голосом:

— Второй этаж, налево. Бюро несчастных случаев.

Эти слова еще больше повергли ее в трепет, ей захотелось убежать, так ничего и не узнав, пожертвовав своими восемнадцатью франками. Но мысль о такой сумме вернула ей частицу мужества, и она поднялась наверх, задыхаясь и останавливаясь на каждой ступеньке.

На втором этаже она увидела дверь, постучала. Громкий голос крикнул:

— Войдите!

Она вошла и очутилась в большой комнате, где стояли три важных господина с орденами в петлицах и разговаривали. Один из них спросил:

— Что вам угодно, сударыня?

Не находя слов, она пролепетала, заикаясь:

— Я... я... пришла... по... по... поводу несчастного... случая...

Господин вежливо указал ей на стул:

— Потрудитесь присесть, через минуту я буду к вашим услугам.

И он продолжал разговор со своими собеседниками:

— Господа, компания считает, что она должна вам не больше четырехсот тысяч франков. Мы не можем признать ваши претензии на сто тысяч франков, которые вы требуете с нас дополнительно. Оценка к тому же...

Один из разговаривавших перебил:

— Довольно, сударь, дело решит суд. Нам остается только попрощаться.

И они вышли, церемонно раскланявшись.

Ах, если бы она посмела, она бы ушла с ними! Она убежала бы, отказавшись от всего! Но могла ли она так поступить? Господин вернулся и с поклоном спросил:

— Что вам угодно, сударыня?

Она еле выговорила:

— Я... я... пришла вот... вот... из-за... этого...

Директор с искренним удивлением посмотрел на предмет, который она ему протягивала. Дрожащей рукой она пыталась распустить резинку. Ей удалось это после некоторых усилий, и она неожиданно раскрыла остов ободранного зонтика.

Соболезнующим тоном господин сказал:

— Да, он пострадал изрядно.

Она застенчиво пояснила:

— Он обошелся мне в двадцать франков.

Ее собеседник удивился:

— Неужели! Так дорого?

— Да, да, это был прекрасный зонтик. Я хочу, чтобы вы удостоверились, в каком он состоянии.

— Вижу, вижу, отлично вижу. Но я не совсем понимаю, почему, собственно, это касается меня?

Она встревожилась: может быть, за мелкие домашние вещи в этом обществе страховку не выплачивают? Однако она сказала:

— Но... он сгорел...

Господин этого не отрицал.

— Я прекрасно это вижу.

Она сидела, разинув рот, не зная, что же еще сказать, потом спохватилась и поспешно произнесла:

— Я — госпожа Орейль. Мы застрахованы в обществе «Материнская помощь». Я пришла просить вас о возмещении этого ущерба.— И она торопливо добавила, боясь окончательного отказа: — Я прошу только, чтобы вы распорядились обтянуть его.

Директор растерянно ответил:

— Но... сударыня... мы не торгуем зонтиками. Взять на себя ремонт такого рода мы не можем.

Маленькая женщина чувствовала, что к ней возвращается ее самоуверенность. Нужно бороться. Так она будет бороться! Страха ее как не бывало; она предложила:

— Оплатите мне только стоимость ремонта. В починку отдать я и сама сумею.

Господин был явно смущен.

— Право, сударыня, это сущие пустяки. О возмещении таких ничтожных убытков у нас до сих пор никогда

не просили. Согласитесь сами, что мы не можем платить страховые премии за носовые платки, перчатки, половые щетки, домашние туфли и тому подобные мелкие предметы, которые ежедневно подвергаются опасности пострадать от огня.

Она покраснела от гнева.

— Однако, сударь, в декабре прошлого года у нас загорелась сажа в трубе, и мы потерпели убыток франков на пятьсот по крайней мере; господин Орейль ничего не потребовал от общества, так что теперь уж оно должно бы заплатить за мой зонтик.

Директор, поняв, что это ложь, сказал с улыбкой:

— Согласитесь, сударыня, очень странно, что господин Орейль не нашел нужным потребовать возмещения убытков на пятьсот франков, а по поводу зонтика предъявляет претензию в размере пяти или шести франков.

Она нисколько не смутилась и возразила:

— Простите, сударь, убыток в пятьсот франков касается кармана господина Орейля, убыток же в восемнадцать франков касается кармана госпожи Орейль, а это не совсем одно и то же.

Он увидел, что не отделается от нее, что потеряет целый день, и, покоряясь судьбе, спросил:

— В таком случае потрудитесь рассказать, как произошел несчастный случай.

Она поняла, что победила, и пустилась в подробности:

— Видите ли, сударь, у меня в прихожей стоит бронзовая подставка для зонтов и тростей. Так вот, я вернулась на днях с прогулки и сунула туда этот зонтик. Надо вам сказать, что как раз над подставкой устроена полочка для свечи и спичек. Вот протягиваю я руку и беру четыре спички. Чиркнула одной, она не загорелась. Чиркнула другой, она тут же потухла. Чиркаю третьей, она тоже тухнет.

Директор решил сострить и перебил ее:

— Может быть, акцизная бандероль виновата?

Она не поняла и продолжала:

— Весьма возможно. Во всяком случае, загорелась только четвертая. Я зажгла свечу, потом ушла к себе в спальню и собиралась лечь, но через четверть часа

мне показалось, что пахнет гарью. Я всегда боялась пожаров. Если у нас когда-нибудь произойдет пожар, то никак не по моей вине. Особенно после того, как горела сажа в трубе, я уже вам об этом рассказывала, я прямо сама не своя. Тут я, конечно, встаю, выхожу, шарю, словно ищейка, нюхаю по углам и, наконец, замечаю, что горит мой зонтик. Вероятно, туда упала спичка. Вы видите, что с ним стало...

Покорившись неизбежности, директор спросил:

— Во сколько же вы оцениваете ущерб?

Она замялась, не решаясь назвать сумму. Потом, не желая показаться мелочной, сказала:

— Отдайте его в починку сами. Я доверяю вам.

Он возразил:

— Нет, сударыня, я не могу; скажите, сколько вы просите.

— Да... по-моему... так... Постойте, сударь... я не хочу наживаться на этом... мы сделаем так: я отнесу зонтик в мастерскую, где его обтянут хорошим, прочным шелком, а вам я принесу счет. Вас это устраивает?

— Вполне, сударыня. Так мы и решим. Вот вам ордер в кассу, где вам оплатят расходы.

И он протянул бумажку; г-жа Орейль схватила ее и, рассыпаясь в благодарностях, поспешила убраться поскорей, из опасения, что директор одумается.

Теперь она весело шла по улице, отыскивая шикарную мастерскую зонтов. Заметив дорогой с виду магазин, она вошла в него и уверенно сказала:

— Обтяните этот зонтик шелком, самым лучшим, какой только у вас найдется. За ценой дело не станет.

ЗАДВИЖКА

Раулю Дерэн

Перед обедающими стояло четыре бокала с наполовину недопитым вином — явный признак, что сами собутыльники уже полны до краев. Говорили, уже не слушая ответов, и каждый был занят только самим собою; голоса становились громче, жесты развязней, глаза разгорались.

То был обед холостяков, старых, закоренелых холостяков. Эти традиционные обеды ввели они в обычай лет двадцать тому назад, окрестив их именем «Целибат». Их было тогда четырнадцать друзей, твердо решивших никогда не вступать в брак. Теперь их оставалось только четверо: трое умерли, остальные семеро женились.

Эти четверо держались стойко и в меру своих сил тщательно соблюдали правила, установленные при основании этого любопытного содружества. Они дали друг другу торжественную клятву совращать с так называемого прямого пути всех женщин, каких только удается, предпочтительно же — жен своих друзей и еще предпочтительней — жен самых близких друзей. Вот почему, как только кто-нибудь из них выходил из их общества и обзаводился семьей, он спешил окончательно порвать со всеми прежними сотоварищами.

Кроме того, они обязаны были за каждым таким обедом исповедоваться друг перед другом и рассказывать во всех подробностях — с именами и самыми

точными сведениями — о последних своих похождениях. Отсюда появилась своего рода поговорка, вошедшая у них в обиход: «Врать, как холостяк».

Кроме того, они проповедовали полнейшее презрение к женщине, которую считали «животным орудием наслаждения». На каждом шагу они цитировали Шопенгауэра, которому поклонялись, ратовали за восстановление гаремов и средневековых башен и приказали вышить на столовом белье, предназначенном для обедов «Целибата», древнее наставление: «Mulier, perpetuus infans» [1],— а под ним слова Альфреда де Виньи:

...О, женщина — большое,
Двенадцать раз нечистое дитя!

Таким образом, презирая женщин, они думали только о них, жили только ими и устремляли на них все свои помыслы, все усилия.

Прежние их товарищи, вступившие в брак, называли членов содружества старыми волокитами, высмеивали их и в то же время побаивались.

Дружеские признания на обедах «Целибата» полагалось начинать за шампанским.

Сегодня эти старички — ведь они были уже стары, но чем больше старились, тем пространнее рассказывали друг другу истории о своих поразительных победах,— сегодня они были неистощимы. За последний месяц каждый из них успел соблазнить не менее одной женщины в день. И какие это были женщины! Самые молодые, самые знатные, самые богатые, самые красивые!

Когда рассказы были закончены, тот, кто начал первым, а затем должен был выслушать всех остальных, поднялся.

— Ну, а теперь, когда мы вдоволь нахвастались,— сказал он,— я хотел бы поведать вам не о последнем, а о первом своем похождении; я разумею первое любовное приключение в моей жизни, первое падение (ибо это падение) в объятиях женщины. О, я не соби-

[1] «Женщина, вечное дитя» *(лат.)*.

раюсь описывать мой... как бы это сказать?.. ну, самый первый мой опыт. Нет! Первый перепрыгнутый ров (я говорю «ров» в смысле фигуральном) не заключает в себе ничего интересного. Обычно он грязен, и поднимаешься оттуда немного испачканный, лишившись еще одной прелестной иллюзии, испытывая смутное отвращение и легкую грусть. Реальная сторона любви, когда впервые соприкасаешься с ней, слегка отталкивает; в мечтах она представлялась совсем иной,— более нежной, более утонченной. И у вас остается моральное и физическое ощущение тошноты, как бывает, когда случайно попадаешь рукой во что-нибудь липкое и нет воды, чтобы помыться. Сколько ни оттирай — это остается.

Да, но как легко и быстро к этому привыкаешь! Уверяю вас, что это так. И все же... все же я лично всегда сожалел, что не мог дать совет творцу в тот момент, когда он был занят разрешением этого вопроса. Что именно я придумал бы, право, не знаю, но уверен, что устроил бы все иначе. Я постарался бы скомбинировать это более приличным образом и более поэтично,— да, именно более поэтично.

Я нахожу, что господь бог проявил себя поистине слишком... слишком... натуралистом. Его изобретению не хватает поэзии.

Так вот я хочу рассказать вам о моей первой светской женщине, о первой светской женщине, которую я соблазнил. Виноват, я хотел сказать, которая меня соблазнила. Ведь на первых порах это мы попадаемся в ловушку, тогда как позже... впрочем, и позже то же самое.

Это была подруга моей матери, но все еще прелестная женщина. Подобные создания бывают невинны обычно только по глупости, когда же они влюбляются, то доходят до бешенства. Нас обвиняют в том, что мы их развращаем. Ничего подобного! С ними всегда выходит так, что погоню начинает не охотник, а заяц. О, у них такой вид, что они совсем тут ни при чем, но, поверьте, они очень даже при чем; они незаметно вертят нами, как захотят, а потом упрекают нас в том, что мы их погубили, обесчестили, опозорили, и все что угодно!

Та, о которой я говорю, несомненно, питала безумное желание быть опозоренной мною. Ей было лет тридцать пять, мне же только пошел двадцать третий год. Я столько же помышлял о ее совращении, сколько о том, чтобы сделаться траппистом. Но вот однажды, когда я, придя к ней с визитом, не без удивления рассматривал ее костюм, утренний пеньюар, довольнотаки открытый,— открытый, как вход в церковь, когда звонят к обедне,— она взяла мою руку, сжала ее так, как они сжимают в подобные минуты, и с замирающим вздохом, одним из тех вздохов, которые идут из самой глубины существа, сказала мне:

— О! Не смотрите на меня так, дитя мое!

Я покраснел, как помидор, и, конечно, оробел еще больше обычного. Мне очень хотелось удрать, но она держала меня за руку, и держала крепко. Затем положила мою руку к себе на грудь, на пышную грудь, и промолвила:

— Слышите? Чувствуете, как бьется мое сердце?

Разумеется, оно билось. Я начинал кое о чем догадываться, но не знал, как приняться за дело, с чего начать. С тех пор я сильно изменился.

Так как я стоял все в той же позе — одна моя рука была прижата к пухлой подкладке ее сердца, а в другой я держал шляпу, продолжая глядеть на женщину со смущенной и глупой улыбкой, с улыбкой испуга, — она внезапно выпрямилась и разгневанно крикнула:

— Что это! Как вы ведете себя, молодой человек! Вы неприличны и плохо воспитаны!

Я быстро отдернул руку, перестал улыбаться, залепетал извинения, поднялся и вышел обескураженный, потеряв голову.

Но я попался, я стал мечтать о ней. Я находил ее очаровательной, восхитительной, воображал, что люблю ее, любил всегда, и решил быть предприимчивым, даже дерзким!

Когда я снова увидел ее, она украдкой улыбнулась мне. О, эта улыбка, как она взволновала меня! А ее рукопожатие было многозначительно долгим и настойчивым.

С этого дня я, по-видимому, и начал ухаживать за

ней. По крайней мере она уверяла меня потом, что я ее обольстил, покорил и обесчестил с редким коварством и ловкостью, с упорством математика и коварством апаша.

Но одно обстоятельство страшно меня смущало: в каком месте завершится моя победа? Я жил в семье, а на этот счет мои родные были непримиримы. У меня еще не хватало смелости среди бела дня переступить порог гостиницы под руку с женщиной, а посоветоваться мне было не с кем.

Но тут как-то моя подруга в шутливой беседе со мной принялась утверждать, что у каждого молодого человека должна быть отдельная комната в городе. Мы жили в Париже. Это был проблеск света; я снял комнату, и она туда пришла.

Она пришла туда в холодный ноябрьский день. Меня сильно смущал этот визит, и мне хотелось бы отложить его, потому что нельзя было развести огня. А нельзя было развести огня потому, что камин дымил. Как раз накануне я устроил сцену моему хозяину, бывшему коммерсанту, и он обещал мне, что завтра-послезавтра сам придет вместе с трубочистом, чтобы хорошенько разобраться, какая требуется починка.

Как только она вошла, я объявил:

— У меня нет огня, труба дымит!

Не вникнув в смысл моих слов, она пробормотала:

— Ничего, у меня достаточно...

И так как я был удивлен, она запнулась, совсем смутившись, затем продолжала:

— Я уж и не знаю, что говорю... я с ума сошла... теряю голову! Боже, что я делаю! Несчастная, зачем я пришла? О, какой позор, какой позор!..

И она, рыдая, упала в мои объятия.

Я поверил в угрызения ее совести и поклялся, что не притронусь к ней. Тогда она со стоном обрушилась к моим ногам:

— Но разве ты не видишь, что я люблю тебя, что ты победил меня, довел до безумия?

Я счел момент подходящим, чтобы начать наступление. Но она вздрогнула, выпрямилась, вскочила и даже бросилась прятаться в шкап, крича:

— О, нет, нет, не смотрите на меня! Здесь светло, мне стыдно! Ах, если бы ты не видел меня, если бы мы были с тобой в темноте, ночью, вдвоем! Подумай только! Какая мечта! Но этот свет!..

Я бросился к окну, закрыл ставни, задернул гардины, завесил своим пальто пробивавшийся луч света, потом, вытянув руки, чтобы не споткнуться о стулья, с трепещущим сердцем, принялся искать ее и нашел.

Тут началось новое путешествие вдвоем, ощупью, со слитыми губами, к другому углу, где помещался мой альков. Должно быть, мы подвигались не прямым путем, так как мне повстречался сначала камин, затем комод и лишь потом то, что мы искали.

И я забыл обо всем в исступлении экстаза. Это был час безумия, страстного пыла, сверхчеловеческого восторга; потом, сраженные упоительной усталостью, мы заснули друг у друга в объятиях.

Я погрузился в сновидения. Но вот во сне мне показалось, что меня зовут, призывают на помощь; потом почувствовал сильный толчок и открыл глаза...

О!.. Великолепное красное заходящее солнце, свободно проникая через распахнутое настежь окно, казалось, глядело на нас с края горизонта, освещая сиянием апофеоза мою взбудораженную постель и на ней — обезумевшую женщину, которая визжала, билась, извивалась, махала руками и ногами, стараясь ухватить хоть кончик простыни, хоть край полога, что угодно, в то время как посреди комнаты озадаченно выстроились мой хозяин в сюртуке, привратник и черный, как дьявол, трубочист, уставившиеся на нас, вытаращив глаза.

Я в бешенстве вскочил, готовый схватить хозяина за шиворот, и закричал:

— Что вам нужно у меня, черт побери?

На трубочиста напал неудержимый смех, и он уронил железный лист, который держал в руках. Привратник, казалось, совершенно ошалел, хозяин же лепетал:

— Но, сударь... мы пришли... по поводу... камина... камина...

Я прорычал:

— Ступайте ко всем чертям!

Тогда он снял шляпу со смущенным и вежливым видом и, пятясь к дверям, забормотал:

— Простите, сударь, извините меня. Я не пришел бы, если бы знал, что обеспокою вас. Привратник сказал мне, что вы вышли... Извините меня...

И они удалились.

С тех пор, знаете, я никогда не завешиваю окон, но всегда запираю дверь на задвижку.

ВСТРЕЧА

Эдуарду Роду

Это была случайность, чистая случайность. Барон д'Этрай, устав долго стоять на ногах, вошел в пустую и почти темную после освещенных гостиных спальню,— все комнаты княгини были открыты в этот праздничный вечер.

Он искал, где бы посидеть или вздремнуть, так как был уверен, что жена не захочет уехать раньше утра. Еще стоя в дверях, он увидел широкую кровать, голубую с золотыми цветами, возвышавшуюся посреди просторной комнаты, подобно катафалку любви: княгиня была уже немолода. В глубине большое светлое пятно производило впечатление озера, на которое смотрят через высокое окно. Это было зеркало, огромное, молчаливое, обрамленное темными занавесками, которые иногда бывали спущены, но чаще подняты, и тогда зеркало как будто смотрело на ложе, на своего сообщника. Оно словно хранило какие-то воспоминания, сожаления об утраченном, как те за́мки, где водятся призраки умерших, и казалось, что вот-вот на его гладкой и пустой поверхности возникнут на миг очаровательные формы обнаженных женских бедер и мягкие движения обнимающих рук.

Барон остановился, улыбаясь, слегка растроганный, на пороге этой комнаты любви. Но вдруг что-то отразилось в зеркале, словно перед ним предстали вызванные видения. Это мужчина и женщина, сидевшие на

низком диване, незаметном в полутьме, поднялись. И полированный хрусталь, отражая их силуэты, показал их во весь рост; уста их слились в прощальном поцелуе.

Барон узнал свою жену и маркиза де Сервинье. Он повернулся и ушел, как человек твердый и умеющий владеть собою; он продолжал ждать рассвета, чтобы увезти баронессу, но о сне уже не думал.

Как только они остались вдвоем, он сказал ей:

— Сударыня, я видел вас только что в комнате княгини де Рэн. Нет необходимости объясняться более пространно. Я не люблю ни упреков, ни бурных или смешных сцен. Постараемся избежать всего этого и разойдемся без шума. Поверенные устроят все ваши дела, согласно моим распоряжениям. Покинув мой дом, вы вольны жить, как будет вам угодно, но предупреждаю вас, что поскольку вы будете продолжать носить мое имя, то в случае какого-либо скандала я вынужден буду принять суровые меры.

Она хотела что-то сказать, но он остановил ее, поклонился и ушел к себе.

Барон чувствовал себя скорее удивленным и опечаленным, нежели несчастным. Он очень любил ее в первое время их брака. Этот пыл понемногу охладел, и теперь у него часто бывали легкие связи то с актрисами, то в светском обществе, но все же он сохранил еще некоторое влечение к жене.

Она была очень молода — ей едва исполнилось двадцать четыре года,— маленькая, на редкость белокурая и худенькая, слишком худенькая женщина. Это была парижская куколка, утонченная, избалованная, изящная, кокетливая, довольно остроумная, не столь красивая, как обаятельная. Он откровенно говорил о ней своему брату:

— Моя жена прелестна, в ней есть огонек, но... от нее ничего не остается в руках. Она вроде бокала с шампанским, наполненного одною лишь пеной. Когда доходишь наконец до вина, оно оказывается вкусным, но его слишком мало.

Он в волнении ходил взад и вперед по комнате, мысли его разбегались. Временами в нем поднималась

волна гнева, и он чувствовал грубое желание переломать ребра маркизу или дать ему пощечину в клубе. Затем он убеждался, что это будет дурным тоном, что смеяться будут над ним, а не над его противником и что причиной всех этих вспышек ярости было у него скорее оскорбленное самолюбие, чем разбитое сердце. Он лег, но так и не уснул.

Спустя несколько дней в Париже стало известно, что барон и баронесса д'Этрай мирно разошлись из-за несходства характеров. Никто ничего не подозревал, никто не сплетничал, никто не удивлялся.

Однако барон, желая избежать тягостных встреч, целый год путешествовал, следующее лето провел на морских купаниях, осень — на охоте и вернулся в Париж только зимой. С женой он не встречался ни разу.

Он знал, что о ней не было никаких разговоров. Значит, она старалась по крайней мере сохранить внешние приличия. Большего он и не требовал.

Он скучал, снова путешествовал, затем занялся реставрацией своего вильбоскского замка, на что потребовалось два года, потом принимал в нем друзей, на что снова ушло по крайней мере пятнадцать месяцев, и, наконец, устав от всех этих приевшихся ему удовольствий, вернулся в свой особняк на Лилльской улице, ровно через шесть лет после разрыва.

Ему исполнилось теперь сорок пять лет. У него появилось уже немало седых волос, небольшое брюшко и та особая меланхолия, которая свойственна людям, когда-то красивым, модным, любимым, а теперь стареющим с каждым днем.

Спустя месяц после своего возвращения в Париж он простудился, выходя из клуба, и начал кашлять. Доктор предписал ему провести конец зимы в Ницце.

И вот в понедельник вечером он выехал со скорым поездом.

Он приехал на вокзал с опозданием, как раз в ту минуту, когда поезд уже отходил. В одном из купе было свободное место; он занял его. В глубине купе уже расположился пассажир, до того закутанный в меха и плащи, что нельзя было даже разобрать, мужчина

это или женщина. Кроме длинного тюка, ничего не было видно. Когда барон убедился, что все равно ничего не узнает, он стал располагаться на ночь, надел дорожную шапочку, развернул плед, укрылся им, вытянулся и уснул.

Он проснулся лишь на рассвете и тотчас бросил взгляд на своего попутчика. Тот даже не пошевельнулся за всю ночь и, казалось, еще крепко спал.

Воспользовавшись этим, г-н д'Этрай занялся утренним туалетом, пригладил рукой бороду и волосы, освежил лицо, которое за ночь так страшно меняется, когда достигаешь известного возраста.

Великий поэт сказал:

Лишь в юности одной победны наши утра.

Когда молод, пробуждение от сна великолепно: кожа свежа, глаза сияют, волосы блестят.

Когда стареешь, пробуждение плачевно. Тусклые глаза, красные и отекшие щеки, обвисшие губы, всклокоченные волосы и спутанная борода придают лицу дряблый, изношенный, осунувшийся вид.

Барон раскрыл дорожный несессер и несколькими взмахами щетки привел в порядок усы и бороду. Затем стал ждать.

Поезд свистнул, остановился. Сосед сделал движение; он, несомненно, проснулся. Затем поезд тронулся дальше. Косой солнечный луч проникал теперь в вагон и падал как раз на спящего, который снова шевельнулся, встряхнул головой, как цыпленок, который вылупливается из скорлупы, и спокойно открыл свое лицо.

Это оказалась молодая белокурая женщина, свежая, хорошенькая и полная. Она поднялась и села.

Барон, остолбенев, смотрел на нее. Он не знал, что и думать. Потому что, право, он готов был поклясться, что это... что это была его жена, но необыкновенно изменившаяся... к лучшему, пополневшая, о, пополневшая, как и он,— только ей это было к лицу.

Она спокойно посмотрела на него, как будто не узнавая, и с полной невозмутимостью освободилась от окутывавших ее верхних вещей.

В ней была спокойная смелость женщины, уверенной в себе, дерзкая непринужденность пробуждения, когда чувствуешь и сознаешь всю свою красоту, всю свежесть.

Барон совсем потерял голову.

Жена ли это? Или другая женщина, похожая на нее, как родная сестра? Не видев ее целых шесть лет, он легко мог и ошибиться.

Она зевнула. Он узнал ее манеру. Но она снова обернулась к нему, бегло оглядела его, остановила на нем спокойный и безразличный взгляд, ничего не говорящий взгляд, и принялась смотреть в окно.

Он совсем растерялся и был прямо поражен. Он ждал, пристально разглядывая ее сбоку.

Ну да, это его жена, черт возьми! Как мог он сомневаться? Нет другой женщины с таким носиком. Воспоминания хлынули на него волной,— воспоминания о ее ласках, о всех мелких особенностях ее тела, о родинке на бедре и о другой на спине, как раз напротив первой. Как он часто их целовал! Он чувствовал, как прежнее опьянение овладевает им, вспоминал запах ее кожи, улыбку, с которой она закидывала ему руки на плечи, мягкие интонации ее голоса, все ее милые нежности.

Но как она изменилась, как похорошела! Это была и она и не она... Он находил теперь ее более зрелой, сформировавшейся, более женственной, более соблазнительной и желанной, безумно желанной.

Итак, эта незнакомая, неизвестная женщина, случайно встреченная в вагоне, была его женой, принадлежала ему по закону. Ему стоило только сказать: «Я хочу!»

Когда-то он спал в ее объятиях, жил в атмосфере ее любви. Теперь он нашел ее настолько изменившейся, что едва узнавал. Это была другая женщина, и в то же время это была она; это была другая, возрожденная, сложившаяся, выросшая с тех пор, как он ее оставил; это была та, которой он обладал, но у нее изменились манеры, прежние черты лица стали более определенными, улыбка менее жеманной, движения более уверенными. Это были две женщины в одной: много нового, неизвестного присоединялось в ней к тому, что было

любимо по воспоминаниям. В этом было что-то странное, волнующее, возбуждающее, какая-то тайна любви, веявшая упоительной неясностью. Это была его жена в своем новом облике, в новом теле, которого еще никогда не касались его губы.

И он подумал, что действительно за шесть лет все меняется в нас. Остаются лишь общие черты, по которым нас можно узнать, но иногда и они исчезают.

Кровь, волосы, кожа — все возрождается, все обновляется. И когда долго не видишь человека, встречаешь вдруг совсем иное существо, хотя оно остается тем же и продолжает носить то же имя.

И сердце тоже может измениться, и мысли становятся настолько иными, настолько новыми, что, постепенно, но непрерывно изменяясь, мы можем за сорок лет жизни перебывать в образе четырех или пяти существ, совершенно новых и различных.

Он размышлял, испытывая глубокое смятение, и ему вспомнился вдруг вечер, когда он застал ее врасплох в комнате княгини. Но гнев не поднимался в нем. Ведь перед ним была совсем другая женщина, а не та худенькая и вертлявая куколка прежних лет.

Что делать? Как заговорить с ней? Что ей сказать? Узнала ли она его?

Поезд снова остановился. Он встал, поклонился и сказал:

— Берта, не нужно ли вам чего-нибудь? Я мог бы принести...

Она оглядела его с головы до ног и ответила без удивления, без смущения, без гнева, с невозмутимым безразличием:

— Нет, ничего, благодарю.

Он спустился на перрон и немного прогулялся, чтобы встряхнуться и прийти в себя, словно после сильного потрясения. Что ему теперь делать? Пересесть в другой вагон? Это может показаться бегством. Быть галантным, услужливым? Она подумает, что он чувствует себя виновным. Заговорить тоном господина? Но это будет грубостью, и потом, по совести говоря, он не имеет ведь на это никакого права

Он вернулся на свое место.

Во время его отсутствия она тоже наскоро привела себя в порядок. Она лежала теперь в кресле с безучастным и довольным видом.

Он повернулся к ней и сказал:

— Дорогая Берта, раз уж этот странный случай столкнул нас после шестилетней разлуки, обошедшейся без скандалов, стоит ли нам по-прежнему смотреть друг на друга, как на непримиримых врагов? Мы заперты здесь вдвоем. Тем хуже или тем лучше. Я лично не собираюсь уходить отсюда. Так не поговорить... ли нам, как... ну, как... друзьям, до окончания нашего пути?

Она спокойно ответила:

— Как хотите.

Тогда он запнулся, не зная, что сказать. Потом, осмелев, подошел к ней ближе, сел в среднее кресло и галантно продолжал:

— Я вижу, что за вами надо поухаживать, ну, что ж! Для меня это будет удовольствием, потому что вы очаровательны. Вы не можете себе представить, как вы похорошели за шесть лет. Ни одна женщина не доставляла мне такого восхитительного ощущения, какое я испытал, когда вы освобождались от ваших мехов. Право, я не поверил бы, что возможна такая перемена.

Не поворачивая головы и не глядя на него, она произнесла:

— Не скажу того же о вас, вы сильно изменились к худшему.

Он покраснел, сконфуженный и смущенный, потом сказал с безропотной улыбкой:

— Вы безжалостны.

Она повернулась к нему:

— Почему же? Я только констатирую факт. Вы ведь не собираетесь предложить мне вашу любовь? Не правда ли? Значит, вам должно быть совершенно безразлично, каким я вас нахожу. Но я вижу, что эта тема вам неприятна. Поговорим о чем-нибудь другом. Что вы делали с тех пор, как мы расстались?

Растерявшись, он пробормотал:

— Я? Я путешествовал, охотился, старился, как видите. А вы?

Она безмятежно ответила:

— А я сохраняла приличия, следуя вашему желанию.

Резкое слово едва не сорвалось с его уст. Но он сдержался и поцеловал руку жены, добавив:

— И я благодарен вам за это.

Она была удивлена. Да, он действительно сильный человек и хорошо владеет собой.

Барон продолжал:

— Раз вы согласились на мою первую просьбу, давайте разговаривать без горечи.

Она сделала презрительный жест.

— Горечи? Но ее у меня нет. Вы для меня совершенно чужой человек. Я стараюсь только оживить разговор, который не вяжется.

Он продолжал смотреть на нее, плененный, несмотря на ее суровость, чувствуя, как его целиком захватывает грубое желание, желание непреодолимое, желание господина.

Она произнесла, еще более ожесточась, зная, что ей уже удалось кольнуть его:

— Сколько же вам теперь лет? Я думала, вы моложе.

Он побледнел.

— Мне сорок пять.

Затем прибавил:

— Я забыл спросить вас, как поживает княгиня де Рэн. Вы все еще встречаетесь с нею?

Она бросила на него взгляд, полный ненависти.

— Да, встречаюсь... Она здорова, благодарю.

Они продолжали сидеть рядом, взволнованные, разъяренные. И вдруг он объявил:

— Дорогая Берта, я передумал. Вы моя жена, и я хочу, чтобы вы сегодня же вернулись под мою кровлю. Я нахожу, что вы похорошели и у вас исправился характер. Я беру вас снова к себе. Я ваш муж, и таково мое право.

Она была поражена и смотрела ему в глаза, стараясь прочесть его мысли. Лицо его было бесстрастно, непроницаемо и решительно.

Она ответила:

— Мне очень жаль, но я не свободна.

Он усмехнулся.

— Тем хуже для вас. Закон на моей стороне. И я воспользуюсь им.

Подъезжали к Марселю; поезд свистел, замедляя ход. Баронесса встала, спокойно свернула свои одеяла и обернулась к мужу:

— Дорогой Рэмон, не злоупотребляйте свиданием, подготовленным мною заранее. Я хотела принять некоторые меры предосторожности, следуя вашим же советам, чтобы не бояться ни вас, ни света, если бы что-нибудь случилось. Ведь вы едете в Ниццу? Не так ли?

— Я поеду туда же, куда и вы.

— Вовсе нет. Выслушайте меня, и я ручаюсь, что вы оставите меня в покое. Сию минуту на перроне вокзала вы увидите княгиню де Рэн и графиню Анрио, которые ждут меня со своими мужьями. Я хотела, чтобы нас видели вместе, вас и меня, и убедились бы, что мы провели ночь одни в этом купе. Не беспокойтесь. Уж эти дамы не упустят случая поговорить об этом обстоятельстве повсюду, до того оно покажется им удивительным.

Я только что сказала вам, что, следуя всем пунктам ваших наставлений, я тщательно сохраняла внешние приличия. Об остальном не было речи, не так ли? Ну так вот, чтобы не нарушить приличий, я и считала необходимой нашу встречу. Вы приказали мне заботливо избегать скандала, я и стараюсь избежать его, мой дорогой... так как боюсь... боюсь...

Она подождала, пока поезд совсем не остановился, и когда ватага друзей кинулась к дверце купе и распахнула ее, она закончила:

— Боюсь, что я беременна.

Княгиня протягивала руки, чтобы обнять ее. Но баронесса указала на барона, остолбеневшего от изумления и старавшегося угадать, правда ли это.

— Вы не узнаете Рэмона? Правда, он сильно изменился. Он согласился меня сопровождать, чтобы я не путешествовала в одиночестве. Мы устраиваем иногда подобные побеги, как друзья, которым не приходится

жить вместе. Но сейчас мы расстаемся. Я уже надоела ему.

Она протянула барону руку, которую тот машинально пожал. Потом спрыгнула на перрон к ожидавшим ее друзьям.

Барон с силой захлопнул дверцу; он был так взволнован, что ничего не мог сказать и ни на что не мог решиться. Он слышал голос жены и ее удалявшийся веселый смех.

Он никогда не видел ее больше.

Солгала ли она? Говорила ли правду? Этого он так никогда и не узнал.

САМОУБИЙЦЫ

Жоржу Леграну

Не проходит и дня, чтобы в какой-нибудь газете, в отделе происшествий, нельзя было прочитать следующих строк:

«В ночь со среды на четверг квартиранты дома № 40 по... улице были разбужены двумя выстрелами, последовавшими один за другим. Шум исходил из квартиры, занимаемой г-ном Х... Когда дверь была взломана, хозяина квартиры нашли плавающим в луже крови, с револьвером в руке, которым он и убил себя.

Г-ну Х... было пятьдесят семь лет, он располагал хорошим состоянием и имел все необходимое, чтобы быть счастливым. Причина, толкнувшая его на роковое решение, неизвестна».

Какая глубокая скорбь, какие сердечные муки, затаенные горести, жгучие раны толкают на самоубийство этих счастливых людей? И вот начинают искать причины, выдумывают любовные драмы, подозревают разорение и, так как ничего определенного не находят, заносят такие смерти под рубрику «Тайна».

В наши руки попало письмо, найденное на столе одного из таких «беспричинно покончивших с собой», написанное им в последнюю ночь, когда пистолет уже был заряжен. Мы считаем это письмо весьма интерес-

ным. В нем не говорится ни об одной из тех крупных катастроф, которые постоянно ищешь в основе подобных отчаянных поступков, но оно рассказывает о медленном чередовании мелких жизненных невзгод, о роковом разрушении одинокой жизни, растерявшей былые мечты; оно объясняет причину многих трагических развязок, которую поймут лишь нервные и впечатлительные люди.

Вот оно:

«Сейчас полночь. Закончив это письмо, я убью себя. Почему? Попытаюсь ответить — не тем, кто будет читать эти строки, а самому себе, чтобы укрепить свое слабеющее мужество и хорошенько проникнуться роковой необходимостью этого поступка, который я мог бы только отсрочить.

Родители, воспитавшие меня, были простые люди, верившие решительно всему. И я стал верить, как они.

Сон мой длился долго. Только сейчас разлетелись его последние обрывки.

Уже несколько лет со мною происходит что-то необыкновенное. Все проявления бытия, ярко сверкавшие, бывало, перед моими глазами, как будто поблекли. Смысл всех вещей предстал мне во всей своей грубой реальности, а истинная природа любви внушила мне отвращение даже к поэзии ласк.

Мы — вечные игрушки все обновляющихся иллюзий, бессмысленных и очаровательных.

По мере того как я старел, я примирялся с ужасной скудостью всего существующего, с бесплодностью усилий, с тщетой ожиданий, как вдруг сегодня вечером, после обеда, это ничтожество всего сущего озарилось для меня новым светом.

Прежде я был жизнерадостен! Все меня очаровывало: проходящие женщины, вид улиц, места, где я жил, я даже интересовался покроем платья. Но повторение одних и тех же впечатлений в конце концов наполнило мое сердце усталостью и скукой; так случилось бы с человеком, который каждый вечер смотрел бы все тот же спектакль.

Вот уже тридцать лет я ежедневно встаю в один и

тот же час и вот уже тридцать лет ем в одном и том же ресторане, все в те же часы, все те же блюда, подаваемые разными лакеями.

Я попробовал путешествовать. Одиночество, которое испытываешь в незнакомых местах, испугало меня. Я почувствовал себя таким заброшенным и таким маленьким, что поспешил вернуться домой.

Но неизменный вид моей мебели, в течение тридцати лет не сдвигавшейся с места, изношенность моих кресел, которые я помнил еще новыми, запах моей квартиры (ведь всякое жилище со временем приобретает особый запах) вызывали у меня отвращение к привычному укладу жизни, и я испытывал приступы черной меланхолии.

Все повторяется, повторяется беспрестанно и уныло. Самый жест, которым я вставляю ключ в замочную скважину, возвращаясь домой, место, где всегда лежат спички, первый взгляд, которым я окидываю комнату при вспышке фосфора, вызывают во мне желание выброситься в окно и покончить с монотонностью этих явлений, от которых нам никогда не избавиться.

Каждый день во время бритья я испытываю неодолимое желание перерезать себе горло; лицо мое в зеркале, с намыленными щеками, вечно одно и то же, не раз заставляло меня плакать от тоски.

Я даже не могу больше видеться с людьми, которых прежде встречал с удовольствием, до того я знаю их, до того мне наперед известно, что они скажут и что я им отвечу, до того мне знаком шаблон их неизменных мыслей, их рассуждений. Человеческий мозг подобен цирковой арене, где вечно кружится бедная лошадь. Каковы бы ни были наши усилия, наши окольные пути, наши попытки вырваться,— предел их ограничен, они стоят перед нами ровным барьером: ни неожиданных выступов, ни выхода в неизвестное. Приходится вращаться, вечно вращаться в кругу тех же мыслей, тех же радостей, тех же шуток, тех же привычек, тех же верований и того же отвращения.

Сегодня вечером был ужасный туман. Он завлакивал бульвары, где потускневшие газовые фонари казались коптящими свечами. Какая-то тяжесть силь-

нее обычного сгибала мне плечи. Быть может, от несварения желудка.

Ведь хорошее пищеварение — все в жизни. Оно вызывает вдохновение у художника, любовные желания у молодых людей, ясные мысли у философов, радость жизни у всех на свете и оно позволяет есть вволю, а это тоже величайшее счастье. Больной желудок приводит к скептицизму, к неверию, порождает мрачные сновидения и желание смерти. Я очень часто замечал это. Может быть, я и не покончил бы с собой, если бы у меня сегодня вечером хорошо варил желудок.

Когда я сел в кресло, в которое сажусь ежедневно вот уже тридцать лет, и бросил взгляд вокруг, меня охватила такая безысходная тоска, что, казалось, я был близок к сумасшествию.

Я стал придумывать, что бы такое сделать, чтобы уйти от самого себя. Но всякое занятие ужасало меня, как нечто еще более отвратительное, чем бездействие. Тогда я вздумал навести порядок в своих бумагах.

Уже давно намеревался я произвести расчистку своих ящиков, потому что вот уже тридцать лет бросаю как попало в один и тот же стол письма и счета, и беспорядок такого смешения часто доставлял мне много неудобств. Но я всегда испытываю такую моральную и физическую усталость при одной мысли привести что-либо в порядок, что у меня никогда не хватало духа приняться за эту противную работу.

Итак, я сел за письменный стол и открыл его, собираясь разобрать старые бумаги и большую часть их уничтожить.

Сначала меня смутил вид груды пожелтевших листков, затем я взял один из них.

Ах, не прикасайтесь никогда к вашему столу, кладбищу былой переписки, если только вам дорога жизнь! Если же вы нечаянно откроете его, хватайте в охапку все письма, которые в нем находятся, закройте глаза, чтобы не прочитать ни единого слова, чтобы какой-нибудь забытый вами и вдруг снова узнанный почерк не бросил вас вдруг в океан воспоминаний; швырните в огонь эти смертоносные бумаги и, когда они превратятся в пепел, изотрите их в мельчайшую пыль... иначе вы погибли... как погиб я час тому назад!

Первые письма, перечитанные мною, не возбудили во мне никакого интереса. Они были, впрочем, совсем недавние — от людей, еще здравствующих, с которыми я еще довольно часто встречаюсь и которые меня ничуть не трогают. Но вдруг один конверт заставил меня вздрогнуть. Крупным размашистым почерком на нем было выведено мое имя, и сразу же слезы подступили к моим глазам. Это письмо было от моего самого близкого друга, товарища моей юности, поверенного моих надежд; он так ясно предстал передо мной со своей добродушной улыбкой, с протянутой ко мне рукой, что меня всего охватила дрожь. Да, да, мертвые возвращаются, ибо я его видел! Наша память — мир более совершенный, чем вселенная: она возвращает жизнь тем, кто уже не существует!

Руки мои дрожали и взор затуманился, когда я перечел все, что он писал мне, и я почувствовал такую мучительную боль в своем несчастном, содрогающемся от рыданий сердце, что застонал, как будто мне выламывали руки и ноги.

И тогда я поднялся к истокам моей жизни, как поднимаются вверх по реке. Я увидел давным-давно забытых людей, чьи имена я даже и не помню. Лишь облик их еще жил во мне. В письмах моей матери передо мною вновь возникли старые слуги, внешний вид нашего дома и все те незначительные мелочи, на которых останавливается детский ум.

Да, я вдруг увидел вновь все прежние платья моей матери, все изменения в ее облике, вносимые модой и новыми прическами, которые она носила. Особенно настойчиво представлялась мне она в одном шелковом платье со старинными разводами, и я вспомнил слова, сказанные однажды ею, когда на ней было это платье: «Робер, дитя мое, если ты не будешь держаться прямо, то станешь горбатым на всю жизнь».

Затем, открыв другой ящик, я внезапно очутился перед своими любовными сувенирами: бальной туфлей, разорванным носовым платком, подвязкой, прядью волос и засохшими цветами. И чудесные романы моей жизни, героини которых еще живы и теперь совсем уже поседели, погрузили меня в горькую тоску о том, что утрачено навсегда. О, юные головки с золотистыми

локонами, ласка руки, говорящий взгляд, бьющееся сердце, улыбка, уста, обещающие объятия!.. И первый поцелуй... этот бесконечный поцелуй, от которого смыкаются веки и все мысли растворяются в неизмеримом блаженстве скорого обладания!

Схватив руками эти старые залоги былой любви, я покрыл их безумными поцелуями, и в моей измученной воспоминаниями душе я вновь пережил часы разлуки и испытал более жестокую пытку, чем все муки ада, изобретенные когда-либо человеческим воображением.

Оставалось последнее письмо. Я написал его сам пятьдесят лет тому назад под диктовку старого учителя чистописания. Вот оно:

«Милая мамочка,

Сегодня мне исполнилось семь лет. Это уже сознательный возраст, и я пользуюсь случаем поблагодарить тебя за то, что ты дала мне жизнь.

Твой маленький обожающий тебя сын *Робер*».

Все было кончено. Я дошел до истоков и внезапно оглянулся на остаток своих дней. Я увидел отвратительную и одинокую старость, надвигающиеся болезни и конец, конец, конец всему! И никого подле меня!

Револьвер здесь на столе... я взвожу курок... Никогда не перечитывайте старых писем».

Вот как кончают с собой многие люди, в жизни которых тщетно доискиваются потом какого-нибудь большого горя.

НАГРАЖДЕН!

Люди родятся с каким-нибудь особым предрасположением, призванием, а то и просто желанием, пробуждающимся в них, едва лишь они начинают говорить и понимать.

Г-на Сакремана с детских лет занимала одна-единственная мысль — получить орден. Совсем еще ребенком он носил оловянный крест Почетного легиона, как другие дети носят форменные фуражки, и на улице гордо шел под руку с матерью, выпячивая детскую грудь, украшенную красной ленточкой и металлическим орденом.

После малоуспешного учения он провалился на экзамене на бакалавра и, не зная, за что приняться, женился на хорошенькой девушке, так как располагал состоянием.

Они жили в Париже, как живут богатые буржуа, вращались в своем кругу, не смешиваясь с толпой, гордясь знакомством с депутатом, который того и гляди станет министром, и дружа с двумя начальниками отделений.

Но мечта, запавшая в голову г-на Сакремана с первых дней его жизни, не покидала его, и он непрерывно страдал, что так и не добился права украсить грудь маленькой алой ленточкой.

У него щемило сердце, когда где-нибудь на бульваре он встречал людей с орденами. Он украдкой погля-

дывал на них с острой завистью. Порой, в долгие часы послеполуденного безделья, он принимался их считать. «Посмотрим-ка,— говорил он себе,— сколько их попадется от Мадлэн до улицы Друо».

И он шел медленно, приглядываясь к костюмам, уже издали различая наметанным глазом маленькую красную точку. И всегда в конце прогулки количество орденов поражало его.

«Восемь офицеров и семнадцать кавалеров! Однако! Глупо раздавать кресты направо и налево. Посмотрим-ка, сколько их будет на обратном пути».

И он возвращался не спеша, досадуя, когда уличная толчея затрудняла его подсчеты и он мог кого-нибудь пропустить. Он знал кварталы, где кавалеры орденов всего чаще встречались. Они кишели в Пале-Рояле, на авеню Оперы их было меньше, чем на улице Мира. Правую сторону бульвара они предпочитали левой.

У них, по-видимому, были свои излюбленные кафе, театры. Всякий раз, когда г-н Сакреман замечал кучу седовласых мужчин, остановившихся посреди тротуара и мешавших движению, он думал: «Вот офицеры ордена Почетного легиона». И ему хотелось поклониться им.

У офицеров (он это часто замечал) иная осанка, чем у простых кавалеров. Чувствуется, что их общественный вес больше, влияние шире.

Но порой г-на Сакремана охватывала злоба, ярость против всех награжденных, и он проникался к ним ненавистью социалиста.

Тогда ордена раздражали его, как дразнят голодного бедняка лакомства, выставленные в витрине гастрономического магазина, и, придя домой, он громко заявлял:

— Да когда же наконец избавят нас от этого подлого правительства?

Жена удивленно спрашивала:

— Что с тобой сегодня?

Он отвечал:

— Меня возмущают несправедливости, которые творятся повсюду! Как правы были коммунары!

Но, пообедав, он снова уходил из дому — поглазеть на витрины с орденами. Он разглядывал все эти эмблемы различной формы и окраски. Он желал бы иметь их все и на каком-нибудь официальном торжестве, в огромном зале, полном народа, полном восхищенной толпы, идти во главе шествия, сверкая грудью, вдоль и поперек испещренной рядами орденов, величаво выступать с шапокляком под мышкой, сияя подобно светилу, среди восторженного шепота, среди почтительного гула.

Но, увы, заслуг для ордена он не имел.

«Орден Почетного легиона,— рассуждал он,— не так-то легко получить человеку, не занимающему общественной должности. Не удостоят ли меня знака отличия по народному просвещению?»

Но он не знал, как тут взяться за дело. Когда он обратился за советом к жене, та крайне удивилась:

— По народному просвещению? А что ты для этого сделал?

Г-н Сакреман рассердился:

— Да возьми ты в толк! Я же как раз и обдумываю, что бы такое сделать. Как ты иногда непонятлива!

Жена улыбнулась:

— *Допустим, ты прав!* Но я ведь тоже не знаю!

У него мелькнула мысль:

— Не поговорить ли тебе с депутатом Росселеном? Он может дать хороший совет... Мне самому, понимаешь, неудобно заговорить с ним об этом. Дело щекотливое, затруднительное. А тебе спросить вполне уместно...

Г-жа Сакреман исполнила его просьбу. Росселен обещал переговорить с министром. Сакреман докучал ему напоминаниями. Депутат ответил наконец, что надо подать прошение и перечислить свои ученые степени.

Легко сказать, «степени». Он не был даже бакалавром.

Однако надо же с чего-нибудь начать, и Сакреман принялся кропать брошюру «О праве народа на обра-

зование». Но скудость мысли помешала ему закончить труд.

Он стал искать тему полегче и принимался поочередно то за одну, то за другую. Первая была: «Наглядное обучение детей». Он требовал, чтобы в бедных кварталах были основаны бесплатные театры для детей. Родители водили бы их туда с самого раннего возраста, и там, с помощью волшебного фонаря, им преподавались бы начатки из всех областей человеческого знания. Так можно было бы пройти настоящий курс обучения. Зрение просвещало бы мозг, и картины запечатлевались бы в памяти, делая науку, так сказать, наглядной.

Чего же проще, как преподавать таким образом всеобщую историю, географию, естественную историю, ботанику, зоологию, анатомию, и т. д., и т. д.?

Он издал статью и разослал по одному экземпляру каждому депутату, по десяти — каждому министру, пятьдесят — президенту республики, по десяти — в редакции парижских газет, по пяти — в редакции газет провинциальных.

Затем он занялся вопросами об уличных библиотечках, требуя от правительства, чтобы по улицам развозили книги в небольших тележках, как развозят апельсины. Каждый обыватель, уплатив за абонемент одно су, приобрел бы право прочитывать по десяти томов в месяц.

«Народ,— писал г-н Сакреман,— падок только на развлечения. Сам он не идет к знанию, пусть же знание придет к нему» и т. д.

Его труды не вызвали шума. Но он все же подал прошение. Ему ответили, что оно принято к сведению и что с его трудами знакомятся. Он решил, что успех обеспечен, стал ждать — ответа не было.

Тогда он решил похлопотать сам. Он испросил аудиенции у министра народного просвещения и был принят одним из его секретарей, совсем еще молодым, но солидным и важным, который, словно играя на фортепьяно, нажимал ряды белых кнопок и вызывал швейцаров, курьеров из передней и младших служащих. Он заверил просителя, что дело его рассматри-

вается, и посоветовал ему продолжать свои замечательные труды.

И г-н Сакреман снова засел за работу.

Депутат Росселен, казалось, живо интересовался теперь его успехами и надавал ему кучу превосходных деловых советов. Росселен, кстати сказать, был награжден орденом, но никто не знал, за какие заслуги он получил его.

Он указал г-ну Сакреману несколько новых тем для его работ, ввел его в ученые общества, занимавшиеся особенно темными областями наук, в надежде снискать почести, и даже оказывал ему покровительство в министерстве.

И вот однажды, придя к своему другу позавтракать (за последние месяцы Росселен частенько завтракал и обедал у них), он, пожимая руку Сакремана, сказал ему на ухо:

— Мне удалось добиться для вас большой чести. Комитет исторических исследований возлагает на вас поручение. Надо произвести изыскание в различных библиотеках Франции.

Сакреман от волнения не мог ни есть, ни пить. Через неделю он уехал.

Он ездил из города в город, изучая каталоги, роясь на чердаках, заваленных пыльными томами, навлекая на себя ненависть библиотекарей.

Но однажды вечером, когда он был в Руане, ему захотелось обнять жену — он не виделся с ней уже неделю,— он сел на девятичасовой поезд, рассчитывая к полуночи попасть домой.

У него был свой ключ. Он вошел неслышно, дрожа от радости, предвкушая счастливое изумление жены. Дверь в спальню была заперта. Вот досада! Он крикнул:

— Жанна, это я.

Она, по-видимому, сильно испугалась; он услышал, как она вскочила с кровати и заговорила сама с собой, словно во сне, затем побежала к своей уборной, хлопнула дверью и забегала босиком взад и вперед по комнате, двигая мебелью так, что звякали стеклянные дверцы шкафов. Наконец она спросила:

— Так это ты, Александр?

Он ответил:

— Ну да. Открой же!

Дверь отворилась, и жена упала к нему на грудь, бормоча:

— Ах, как я испугалась! Вот не ждала! Вот радость!

Он начал раздеваться обстоятельно, как делал все; раздевшись, взял со стула пальто, чтобы повесить его в передней, и вдруг замер от изумления. В петлице была красная ленточка.

Он пробормотал:

— Что это... пальто с орденом!

Жена кинулась к нему, рванула пальто и крикнула:

— Нет, ты ошибаешься... Отдай мне его!

Но он ухватился за рукав и повторял в полном смятении:

— Да что это? Почему? Объяснись же! Чье это пальто?.. Оно не мое — на нем орден Почетного легиона.

Она все пыталась вырвать у него пальто и растерянно лепетала:

— Послушай, послушай, отдай же! Я не могу сказать тебе... Это секрет... послушай!

Гнев охватил его, он побледнел:

— Я хочу знать, почему это пальто здесь? Оно не мое!

Тогда она крикнула ему в лицо:

— Нет, твое... молчи... поклянись, что никому не скажешь... слушай... так вот... ты награжден!

От волнения он выронил пальто и упал в кресло.

— Я... ты говоришь... я награжден!

— Да, но это секрет... это большой секрет...

Она спрятала в шкаф одеяние, овеянное славой, и подошла к мужу, бледная и дрожащая. Она повторила:

— Да, это новое пальто, которое я для тебя заказала. Но я дала слово ничего тебе не говорить. Это станет официально известно не раньше, чем через месяц — полтора. Тебе нужно сначала закончить изыска-

ния. Ты не должен был ничего знать до возвращения. Это тебе устроил господин Росселен.

Глубоко потрясенный Сакреман бормотал:

— Росселен... орден... ему я обязан орденом... я... ах!..

Он вынужден был выпить стакан воды.

На полу белел клочок бумаги, выпавший из кармана пальто. Сакреман поднял его. Это была визитная карточка. Он прочел: «Росселен, депутат».

— Вот видишь,— сказала жена.

И он заплакал от радости.

Через неделю «Официальная газета» сообщала, что г-н Сакреман произведен в кавалеры ордена Почетного легиона за особые заслуги.

ШАЛИ

Жану Беро

I

Адмирал де ла Валле, казалось, дремавший в кресле, неожиданно произнес своим старушечьим голосом:

— У меня тоже было небольшое любовное приключение, весьма необычное. Не хотите ли, я расскажу вам?

И, не меняя позы в большом покойном кресле, он начал свой рассказ, храня на сморщенных губах свою вечную улыбку, вольтеровскую улыбку, создавшую ему славу ужасного скептика.

Мне было тогда тридцать лет, и я служил лейтенантом морской службы, как вдруг на меня возложили задачу произвести астрономические наблюдения в Центральной Индии. Английское правительство снабдило меня всеми необходимыми средствами, чтобы я мог выполнить свою миссию, и вскоре я в сопровождении нескольких человек отправился в глубь этой необыкновенной, поразительной, чудесной страны.

Понадобилось бы двадцать томов, чтобы рассказать об этом путешествии. Я проезжал по невообразимо прекрасным местам, меня принимали принцы сверхчеловеческой красоты, окруженные невероятной пыш-

ностью. Мне казалось, что эти два месяца я жил, точно герой поэмы, что я странствовал на спине волшебного слона по какому-то феерическому царству. В глубине фантастических лесов я открывал бесподобные развалины; в городах, точно созданных фантазией сновидения, я видел чудесные здания, изящные, чеканные, как драгоценности, легкие, как кружева, и огромные, как горы,— эти сказочные и божественно прекрасные здания, исполненные такой прелести, что можно влюбиться в них, как влюбляются в женщину, и испытывать при виде их какое-то физическое, чувственное наслаждение. Словом, как говорит господин Виктор Гюго, я шел, грезя наяву.

Наконец я достигнул цели своего путешествия, города Ганхары, который некогда был одним из самых цветущих городов Центральной Индии, а теперь, придя в полный упадок, управлялся раджою Мадданом, очень богатым, властным, неистовым, щедрым и жестоким принцем — настоящим восточным повелителем, утонченным и диким, ласковым и кровожадным, женственно обаятельным и беспощадным.

Город расположен в долине, на берегу небольшого озера, окруженного множеством пагод, стены которых омываются водой.

Издали город похож на белое пятно; по мере приближения к нему оно все растет, и вот мало-помалу начинаешь различать купола, шпили, стрельчатые башни — все эти легкие и стройные кровли прелестных индусских зданий.

На расстоянии около часа езды от городских ворот я увидел великолепно убранного слона в окружении почетной стражи, высланной мне навстречу повелителем. И я весьма торжественно был доставлен во дворец.

Я хотел было надеть свой парадный костюм, но нетерпение раджи было слишком велико. Он желал прежде всего познакомиться со мною и узнать, могу ли я доставить ему какое-либо развлечение, а там видно будет.

В сопровождении бронзовых, точно статуи, солдат, одетых в сверкающие мундиры, я был введен в большой, окруженный галереями зал, где стояли люди

в ярких одеждах, блиставших драгоценными каменьями.

На скамье, похожей на наши садовые скамейки без спинок, но покрытой великолепным ковром, я увидел нечто ослепительное, сияющее, как солнце, восседающее на троне; это был раджа,— он ждал меня, неподвижно сидя в одежде ярчайшего канареечного цвета. На нем было на десять или пятнадцать миллионов бриллиантов, а на лбу одиноко сияла знаменитая звезда Дели, издавна принадлежавшая славной династии Парихара из Мундоры, потомком которой являлся мой хозяин.

Ему было лет двадцать пять; на первый взгляд казалось, что в жилах его течет негритянская кровь, хотя он и принадлежал к чистейшей индусской расе. У него были широко расставленные, неподвижные, немного затуманенные глаза, выдающиеся скулы, толстые губы, курчавая борода, низкий лоб и блестящие острые зубы, которые он часто обнажал в непроизвольной улыбке.

Он встал, прошел ко мне навстречу, пожав мне руку по-английски, потом посадил меня рядом с собой на такую высокую скамейку, что ноги мои едва касались пола. Сидеть на ней было очень неудобно.

Он сразу же предложил мне назавтра охоту на тигров. Охота и борьба были его любимыми занятиями, и он совершенно не понимал, как можно заниматься чем-либо другим. По-видимому, он был убежден, что я приехал из столь далеких стран лишь для того, чтобы немножко развлечь его и принимать участие в его забавах.

Но он мне был очень нужен, и я старался всячески польстить его склонностям. В полном удовлетворении от беседы со мной, он пожелал сейчас же показать мне состязание борцов и повел меня внутрь дворца, где было устроено нечто вроде арены.

По его приказанию, появились два голых медного цвета человека, со стальными когтями на руках; они тотчас же бросились друг на друга, пытаясь нанести удары своим острым оружием, которое бороздило их темную кожу длинными кровоточащими порезами.

Длилось это долго. Тела обратились уже в сплошную рану, а борцы все продолжали раздирать друг другу кожу этими своеобразными граблями с острыми зубцами. У одного была искромсана вся щека, у другого ухо было рассечено на три части.

А раджа смотрел на них с кровожадным и страстным восторгом. Он трепетал от блаженства, испуская от удовольствия какие-то нечленораздельные звуки, и, бессознательно подражая своими жестами всем движениям борцов, непрестанно кричал:

— Бей, бей его!

Один из борцов упал без сознания; пришлось унести его с арены, залитой кровью, и раджа испустил глубокий вздох сожаления, огорчаясь, что все кончилось так скоро.

Затем он повернулся ко мне, желая узнать мое мнение. Я негодовал, однако горячо выразил ему свой восторг, после чего он приказал проводить меня в Куш-Махал (Дворец наслаждений), где я должен был поселиться.

Я шел по неописуемо прекрасным садам, какие встречаешь лишь в этой стране, и наконец добрался до своей резиденции.

Дворец Куш-Махал — подлинная драгоценность — был расположен в конце царского парка, и стены его с одной стороны погружались в священные воды озера Випара. Это было квадратное здание, опоясанное со всех четырех сторон тройным рядом галерей с чудесно изукрашенной колоннадой. На каждом углу возвышались одна или две легкие башенки, то высокие, то низенькие, различной высоты и разных форм, настоящие живые цветы, распустившиеся на этом грациозном растении восточной архитектуры. Все они заканчивались причудливыми крышами, похожими на кокетливые шапочки.

В центре здания, завершаясь восхитительной, тонкой, ажурной колоколенкой, высился огромный и слегка удлиненный округлый купол, похожий на женскую грудь, высеченную из белого мрамора, устремленную к небу.

Все здание сверху донизу покрыто было скульптурой, пленяющими взор изысканными арабесками, не-

движной вереницей изящных человеческих фигур, позы и окаменевшие движения которых говорили о нравах и обычаях Индии.

Свет проникал в комнаты через окна, выходящие в сад и украшенные небольшими зубчатыми арками. На мраморном полу были выложены красивые букеты из оникса, ляпис-лазури и агата.

Едва я успел закончить свой туалет, как один из придворных сановников, по имени Харибадада, специально уполномоченный держать связь между мной и принцем, возвестил мне о приходе своего повелителя.

И передо мной предстал желтый, как шафран, раджа. Он снова пожал мне руку и стал рассказывать о всевозможных вещах, беспрестанно спрашивая мое мнение, что приводило меня в немалое замешательство. Затем он пожелал показать мне развалины древнего дворца на другом конце парка.

Это был настоящий каменный лес, заселенный множеством больших обезьян. При нашем приближении самцы принялись карабкаться по стенам, строя нам ужасные гримасы, а самки пустились бежать, показывая голый зад и унося на руках детенышей. Раджа хохотал, как безумный, щипал меня в плечо, чтобы выразить мне свой восторг; затем уселся посреди развалин, а вокруг нас, разместившись на корточках по верху стен, примостившись на всех выступах, целое сонмище зверей с белыми бакенбардами показывало язык и грозило кулаками.

Наскучив этим зрелищем, желтый повелитель поднялся и важно проследовал дальше, продолжая тащить меня с собой, радуясь, что в первый же день моего прибытия показал мне подобные диковины, и напоминая, что завтра в мою честь состоится большая охота на тигров.

Я побывал на этой охоте, потом на второй, третьей, десятой, двадцатой. Охотились поочередно на всех зверей, которые водятся в этой стране: на пантер, медведей, слонов, антилоп, гиппопотамов, крокодилов и уж не знаю, на кого еще,— пожалуй, на добрую половину всех существующих животных. Я изнемогал, с отвра-

щением глядя на льющуюся кровь, устав от этих однообразных развлечений.

Наконец пыл раджи несколько ослабел, и, внимая моим настоятельным просьбам, он предоставил мне некоторый досуг для работы. Теперь он довольствовался тем, что осыпал меня подарками. Он присылал мне драгоценности, великолепные ткани, дрессированных животных, и все это Харибадада подносил мне с выражением якобы глубочайшего почтения, точно я был само солнце, хотя в душе он меня глубоко презирал.

Каждый день вереница слуг приносила мне на блюдах, покрытых крышками, отведать от каждого кушанья со стола повелителя, каждый день мне приходилось присутствовать на каком-либо новом развлечении, устроенном в мою честь, и я должен был наслаждаться то танцами баядерок, то фокусниками, то военными парадами и всем, что только ни придумывал гостеприимный, но докучливый раджа, желая показать мне свою изумительную страну во всем ее очаровании, во всем ее блеске.

Как только меня оставляли на время в одиночестве, я принимался за работу или же уходил к обезьянам, общество которых привлекало меня бесконечно больше, чем общество принца.

Но как-то вечером, вернувшись с прогулки, я встретил у дверей моего дворца Харибададу, который торжественно и в таинственных выражениях объявил мне, что в моей комнате меня ожидает подарок повелителя; при этом он передал извинения от моего хозяина, что последний раньше не подумал предложить мне то, чего мне недоставало.

После этой туманной речи посланник поклонился и исчез.

Я вошел и увидел шестерых маленьких девочек, выстроившихся по росту вдоль стены и неподвижно стоявших рядом, точно корюшки, нанизанные на вертел. Самой старшей из них было, вероятно, лет восемь, а самой младшей — лет шесть. В первую минуту я не понял даже, зачем этот детский сад очутился у меня, но потом угадал деликатное внимание принца: он прислал мне в подарок гарем. В виде особой любезности он вы-

брал самых молодых. Ведь чем зеленее плод, тем больше его ценят в этой стране.

Я стоял совершенно растерянный, смущенный и сконфуженный перед этими крошками, которые смотрели на меня большими серьезными глазами и, казалось, уже знали, чего я могу потребовать от них.

Я не находил, что им сказать. У меня было желание отослать их назад, но подарков повелителя не возвращают. Это было бы смертельным оскорблением. Следовательно, приходилось оставить и разместить у себя эту стайку малюток.

Они стояли неподвижно, продолжая пристально разглядывать меня, ожидая моих приказаний и стараясь по глазам отгадать мои мысли. О, проклятый подарок! Как он меня тяготил! Наконец, чувствуя, что становлюсь смешным, я спросил самую старшую:

— Как тебя зовут?

Она ответила:

— Шали.

Эта девочка, с прелестной кожей, слегка желтоватой, подобно слоновой кости, со строгими чертами продолговатого личика, была необычайно хороша, точно статуэтка.

Тогда, желая узнать, что она ответит, а может быть, и смутить ее, я спросил:

— Зачем ты здесь?

Нежным, мелодичным голосом она ответила:

— Я пришла сюда, господин мой, выполнить все, что тебе угодно будет от меня потребовать.

Девочка знала, зачем она пришла.

Я задал тот же вопрос самой маленькой, и она еще более тонким голоском отчетливо проговорила:

— Я здесь, господин мой, чтобы исполнить все, чего тебе от меня угодно.

Она была похожа на мышонка и так мила, что прямо прелесть. Я взял ее на руки и поцеловал. Остальные сделали движение, как бы собираясь удалиться, и считали, должно быть, что я уже сделал мой выбор, но я приказал им остаться и, усевшись по-индусски, велел им сесть в кружок около меня, а затем стал рассказы-

вать сказку о волшебных духах, потому что довольно сносно говорил на их языке.

Они слушали с напряженным вниманием, трепетали при всякой таинственной подробности, дрожали от страха и всплескивали ручонками. Бедняжки уже совсем забыли, зачем их привели сюда.

Окончив сказку, я позвал своего доверенного слугу Лачмана и велел принести конфет, печенья и варенья, причем они столько всего съели, что можно было заболеть; затем, начиная находить чрезвычайно курьезным это приключение, я решил устроить игры, чтобы позабавить моих маленьких жен.

Одна из игр имела особенный успех. Я расставлял ноги и изображал мост, а шесть моих крошек пробегали под ним, самая маленькая впереди всех, а позади самая большая, которая каждый раз немного задевала меня, так как недостаточно наклонялась. Это вызывало у них взрывы оглушительного смеха, и молодые голоса их, звеня под низкими сводами моего роскошного дворца, пробуждали его, наполняли детским весельем, вносили в него жизнь.

Затем я очень заботливо занялся устройством дортуара, где должны были спать мои невинные наложницы. И, наконец, водворил их там под присмотром четырех прислужниц, которых принц прислал мне вместе с ними, чтобы ходить за моими маленькими султаншами.

В течение недели мне доставляло истинное удовольствие изображать папашу этих куколок. Мы восхитительно играли в прятки, в кошки-мышки, в пятнашки, и девочки были в неописуемом восторге, потому что я каждый день показывал им все новые, интереснейшие игры.

Жилище мое теперь стало похоже на школу. И мои маленькие подруги, одетые в прекрасные шелка, в ткани, шитые золотом и серебром, бегали, словно какие-то человекообразные зверюшки, по длинным галереям и по тихим залам, куда сквозь окошные арки проникал лишь слабый рассеянный свет.

Потом, однажды вечером, не знаю как, самая старшая из них, та, которая назвалась Шали и была по-

хожа на статуэтку из старой слоновой кости, сделалась и вправду моей женой.

Это было обаятельное существо, нежное, робкое и веселое; она вскоре горячо полюбила меня, и я тоже любил ее странной, стыдливой, полной колебаний любовью, смешанной с некоторого рода страхом перед европейским правосудием, с порывами сдержанности, с угрызениями совести и в то же время со страстной чувственной нежностью. Я любил ее, как отец, и ласкал ее, как мужчина.

Простите, сударыни, я захожу немного далеко.

Остальные продолжали играть во дворце, точно куча котят.

Шали со мной не расставалась, разве только когда я уходил к принцу.

Мы проводили вместе чудесные часы в развалинах старого дворца, среди обезьян, ставших нашими друзьями.

Она неподвижно лежала у меня на коленях, и какие-то мысли мелькали в ее маленькой головке сфинкса, а может быть, она и не думала ни о чем, сохраняя только эту очаровательно красивую позу, унаследованную от своего благородного и мечтательного народа, позу священных статуй.

Я приносил на большом медном блюде всякую еду, пирожные и фрукты. Постепенно обезьяны приближались к нам, сопровождаемые боязливыми детенышами, потом все они садились в кружок вокруг нас, не осмеливаясь подойти ближе и ожидая, когда я начну раздавать лакомства.

И вот каждый раз один самец, который был похрабрее других, приближался ко мне, протягивая руку, как нищий; я давал ему кусочек, и он поспешно относил его своей самке. Все же остальные поднимали яростные крики, крики зависти и гнева, и прекратить этот ужасный содом я мог только тем, что каждому бросал его долю.

Мне так понравились эти развалины, что я даже решил принести сюда свои инструменты и работать. Но как только обезьяны увидели медные части точных приборов, они, приняв их, вероятно, за смертоносное

оружие, с отчаянным воплем разбежались во все стороны.

Мы с Шали часто проводили также вечера на одной из наружных галерей, которая высилась над озером Виара. Молча рассматривали мы ярко блестевшую луну, которая, скользя по небу, сбрасывала на воду серебристую струю своего покрывала и смотрела на маленькие пагоды, разбросанные на другом берегу, напоминавшие грибы, растущие из воды. Взяв в руки головку моей маленькой любовницы, я медленно, долго целовал ее гладкий лоб, большие серьезные глаза, полные тайн этой древней и сказочной земли, ее спокойные губы, раскрывавшиеся под моим поцелуем. И я испытывал какое-то смутное чувство, захватывающее и прежде всего поэтическое чувство, что в этой маленькой девочке я обладаю всей расой, прекрасной таинственной расой, от которой, кажется, произошли все остальные.

Между тем раджа продолжал осыпать меня дарами.

Однажды он прислал мне совершенно неожиданную вещь, вызвавшую у Шали страстный восторг. Это была самая обыкновенная картонная коробка, покрытая мелкими раковинами, приклеенными простым клейстером. Во Франции она не стоила бы и сорока су. Но здесь это было бесценное сокровище. Несомненно, она была первая, появившаяся во владениях раджи.

Я поставил ее на стол, посмеиваясь над тем, какое значение придавали этой дрянной базарной безделушке.

Но Шали без устали разглядывала ее и восхищалась ею в каком-то почтительном экстазе. Время от времени она спрашивала меня: «Ты позволишь мне потрогать ее?» И когда я разрешал, она приподнимала крышку, потом закрывала ее с величайшей осторожностью, нежно-нежно гладила своими тонкими пальчиками россыпь маленьких ракушек и, казалось, испытывала от прикосновения к ним высшее наслаждение, пронизывающее все ее существо.

Между тем все мои работы уже были закончены, и мне пора было возвращаться. Я долго не мог на это решиться, меня удерживала теперь привязанность к моей маленькой подруге. Но, наконец, пора было ехать.

Огорченный принц устроил новые охоты, новые состязания борцов, но после двух недель подобных развлечений я сказал, что больше оставаться не могу, и он отпустил меня на свободу.

Прощание с Шали было душераздирающим. Она плакала, прижавшись ко мне, положив головку мне на грудь, вся сотрясаясь от рыданий. Я не знал, чем ее утешить, мои поцелуи не помогали.

Неожиданно мне в голову пришла одна мысль: я встал, принес коробку из ракушек и вложил ее в руки Шали.

— Это тебе. Она твоя.

Я увидел ее улыбку. Все лицо ее светилось внутренней радостью, той глубокой радостью, которая бывает, когда несбыточная мечта вдруг превращается в явь.

Она горячо поцеловала меня.

И все-таки в минуты последнего прощания она безутешно плакала.

Я наградил отеческими поцелуями и пирожными всех остальных своих жен и уехал.

II

Прошло два года, и капризы морской службы снова забросили меня в Бомбей. По непредвиденным обстоятельствам, меня оставили там для выполнения новой миссии, которой способствовало мое знание страны и языка.

Я быстро закончил свои работы, и так как в моем распоряжении оставалось еще три месяца, то решил посетить моего друга, повелителя Ганхары, и повидать мою милую маленькую жену Шали, которая, наверное, очень изменилась за это время.

Раджа Маддан встретил меня проявлением неистовой радости. Он приказал убить у меня на глазах трех гладиаторов и в первый день моего приезда не оставлял меня одного ни на секунду.

Наконец вечером, оказавшись на свободе, я велел позвать Харибададу и, задав ему множество самых разнообразных вопросов, чтобы притупить его проницательность, спросил:

— А не знаешь ли ты, что сталось с маленькой Шали, которую мне подарил раджа?

Харибадада, изобразив на своем лице досаду и печаль, ответил с большим смущением:

— Лучше не говорить о ней.

— Почему же? Она была такая милая маленькая женщина.

— Она пошла по дурному пути, господин мой.

— Шали? Что же с ней стало? Где она?

— Я хочу сказать, что она плохо кончила.

— Плохо кончила? Она умерла?

— Да, господин. Она совершила низкий поступок.

Я был сильно взволнован и чувствовал, как бьется мое сердце, как тревога сжимает грудь.

Я повторил:

— Низкий поступок? Что же она сделала? Что с ней случилось?

Харибадада, приходя все в большее и большее смущение, прошептал:

— Лучше не спрашивайте об этом.

— Нет, я хочу знать!

— Она совершила кражу.

— Как, Шали? У кого же?

— У вас, господин мой.

— У меня? Как так?

— Она украла у вас в день вашего отъезда шкатулку, которую подарил вам раджа. Шкатулку нашли у нее в руках.

— Какую шкатулку?

— Шкатулку из ракушек.

— Но я сам ей подарил ее!

Индус поднял на меня изумленные глаза и ответил:

— Да, она действительно клялась всеми священными клятвами, что вы ей подарили ее. Но никто не поверил, чтобы вы могли отдать рабыне царский подарок повелителя, и раджа приказал ее наказать.

— Как наказать? Что с ней сделали?

— Ее завязали в мешок, господин мой, и бросили в озеро из окна той самой комнаты, где она совершила кражу.

Я почувствовал, как меня охватило самое жестокое горе, которое я когда-либо испытывал, и сделал знак Харибададе удалиться, чтобы он не видел моих слез.

Я провел всю ночь на галерее, выходящей на озеро, на той самой галерее, где столько раз держал бедную девочку на коленях.

И я думал о том, что скелет ее маленького разложившегося тела, некогда такого прелестного, находится там, внизу, подо мной, в холщовом мешке, завязанном веревкой, на дне этих черных вод, на которые когда-то вместе смотрели.

Я уехал на другой же день, несмотря на просьбы и величайшее огорчение раджи.

И теперь мне кажется, что я никогда не любил ни одной женщины, кроме Шали.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

Настоящий, третий том объединяет сборники рассказов Мопассана, изданные в 1884 году.

Сборник «Лунный свет» был выпущен издателем Эд. Монье в самом начале — по-видимому, в январе — 1884 года, о чем свидетельствуют два сохранившихся письма Мопассана (Guy de Maupassant. Correspondance inédite, P. 1951, p. 315—316). В этом первоначальном виде сборник состоял из двенадцати новелл. В 1888 году «Лунный свет» был переиздан Оллендорфом, причем Мопассан дополнил книгу пятью новыми новеллами, напечатанными им в прессе 1887—1888 годов: «Дверь», «Отец», «Муарон», «Наши письма» и «Ночь».

Сборник «Мисс Гарриет» был издан Виктором Аваром в конце апреля 1884 года и при жизни Мопассана переиздавался без изменения в составе новелл.

Сборник «Сестры Рондоли» был опубликован в июле 1884 года Оллендорфом и переиздавался без всяких изменений. Дату публикации позволяет уточнить вышеуказанная книга Guy de Maupassant, Correspondance inédite; прежние французские библиографы ошибочно считали, что сборник «Сестры Рондоли» вышел раньше сборника «Мисс Гарриет».

Одним из самых трудных вопросов в изучении творчества Мопассана является вопрос о том, какими соображениями мог руководствоваться писатель при конструировании им того или другого сборника новелл.

Разгадывать в данном случае авторский замысел нелегко. Ведь если свою первую книгу, «Заведение Телье», Мопассан вынужден был составить лишь из немногих напечатанных дотоле новелл, то в 1882—1885 годах его новеллистическое творчество достигло изобильнейшей продуктивности. В составлении новых своих сборников писатель уже имел возможность отбирать лучшее из напечатанного в прессе — те новеллы, которые он считал наиболее художественно удавшимися, которые при первом появлении в газете уже обратили на себя внимание публики.

Не мог ли состав сборника в какой-либо мере определяться и пожеланиями издателей? Да, кое в чем издатель пытался влиять на Мопассана. Так, в одном из февральских писем

1883 года, по-видимому, в связи с изданием сборника «Мадмуазель Фифи», Мопассан с явным неудовольствием подчинился желанию Авара увеличить объем книги. Мопассан писал: «Вот еще два маленьких рассказа. Поставьте их в середину. Таким образом, число дойдет до восемиадцати, но это уже много. Сделайте пробелы (шпоны — *Ю. Д.*) покрупнее. Посмотрите на все собрания рассказов вроде «Рассказов по понедельникам» или «Жен художников» (книги Альфонса Доде — *Ю. Д.*) и т. д. и т. д. Все они гораздо короче, чем будет этот том. А ведь все это книги по 3 фр. 50» (Correspondance inédite, p. 169—170).

Однако в других случаях Авар уже без всяких споров принимал намеченный Мопассаном состав тома. Так, в письме от 6 марта 1884 года Мопассан сообщал ему, каковы будут состав и последовательность расположения рассказов в сборнике «Мисс Гарриет». В таком виде сборник и был издан. А при переиздании сборника «Рассказы вальдшнепа» Мопассан не согласился с намерением Авара дать книге более броское в рыночном отношении заглавие «Эта свинья Морен».

Составляя свои сборники, Мопассан желал придать каждому из них своеобразную физиономию, соблюсти единство идейного замысла, настроения, жанровых тенденций и т. д. Об этом свидетельствует, например, рекламная заметка, составленная Мопассаном для продажи «Рассказов вальдшнепа» и отмечавшая, что «характерной чертой» этой книги «является веселость, забавная ирония», что ее рассказы «представляют собою разнообразные образцы насмешливого юмора писателя»; однако уже и в этом сборнике Мопассан, стремясь к единству замысла, желал избежать жанрового однообразия, и его заметка добавляла, что «два-три рассказа вносят в книгу драматическую ноту».

Начальную и характерную интонацию должна была задавать книге заглавная новелла. Рассказ «Лунный свет» открывал весь сборник некоей меланхолической интонацией, которая в дальнейшем несколько варьировалась, переходя от нежной меланхолии начального рассказа к горькой печали «Королевы Гортензии», к умиротворенной грусти «Ребенка» и «Вдовы». Словно подчиняясь этому господствующему настроению сборника, сатира таких его новелл, как «Государственный переворот» и «Драгоценности», не носит гневно-бичующего характера, а звучит несколько приглушенно и как бы проникнута мыслью о суетности всего земного. Одна лишь «Легенда о горé святого Михаила» противоречит преобладающей интонации сборника, и ее юмор свидетельствует, что Мопассан не желал сделать книгу чересчур однообразной.

В сборнике «Мисс Гарриет» доминируют пессимистические настроения. Характерные для заглавной новеллы мотивы тягостных открытий, мучительных раздумий, трагических происшествий разрабатываются и в большинстве последующих новелл, обостряясь изображением всякого рода грязи, жестокостей и отвратительной изнанки жизни. Эти настроения так сильны, что Мопассан уже не дополняет сборник ни одной юмористической новеллой, которая прозвучала бы здесь крайне резким диссонан-

сом. Однако такие вещи, как «Идиллия» и особенно «В пути», привносят в книгу некое новое качество, как бы стремясь ослабить ее чересчур сгустившийся безнадежный тон.

От этих сборников резко разнится по своему господствующему тону сборник «Сестры Рондоли». Большинство его новелл — это фривольно-юмористические истории, рассказанные с задорной, веселой жизнерадостностью. Однако и этот сборник не вполне однороден, потому что в иных его новеллах эротический мотив сочетается с грустным настроением («Шали»), а некоторые другие вообще чужды всякой фривольности и отличаются тоном горькой сатиры («Бочонок», «Встреча») или драматического элегизма («Самоубийцы», «Он?»). Мопассан говорил о сборнике «Сестры Рондоли» как о менее хорошем из своих томов (Correspondance inédite, p. 187), и, может быть, именно потому, что преобладающие в нем забавные житейские истории обычно довольно поверхностны и лишены подтекста иронических или печальных размышлений, столь свойственного лучшей части мопассановской новеллистики. Неизвестно, к сожалению, какова была роль издателя Оллендорфа в публикации этой книги, не предъявлял ли он каких-либо требований к Мопассану (гораздо более коммерсант и делец по сравнению с Аваром, Оллендорф был заинтересован только в рыночном успехе книги, и он не обманулся в своих ожиданиях, так как в октябре 1884 года выпустил уже 18-е ее издание).

Таким образом, каждый сборник новелл Мопассана всегда имеет свое характерное и своеобразное лицо, определяющееся некоей господствующей интонацией, которая, впрочем, не подчиняет себе все его новеллы. Существует, следовательно, та закономерность, что, стремясь к внутреннему единству сборника, Мопассан отнюдь не желал однообразия, а потому собрание новелл юмористических дополнял или желал оттенить немногими элегическими или сатирическими новеллами, а собрание новелл меланхолических, грустных, проникнутых горьким лиризмом, дополнял немногими забавными историями или новеллами более светлого тона.

В настоящее время известны только письма Мопассана к некоторым его издателям, но ответные письма издателей к нему, за редкими исключениями, не появлялись в печати. Когда они будут опубликованы, они, безусловно, помогут прояснить сложный вопрос о том, в чем заключается авторский замысел Мопассана в конструировании того или иного тома новелл и какую роль могли играть здесь те или другие издательские пожелания

ПРИМЕЧАНИЯ

ЛУННЫЙ СВЕТ

Лунный свет

Новелла впервые напечатана в газете «Жиль Блас» 19 октября 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Стр. 5. *Мариньян* (Marignan). — Так называют во Франции итальянский город Меленьяно (Melegnano), место двукратной победы французских войск: над швейцарцами в 1515 году и над австрийцами в 1859 году.

Стр. 6. *«Двенадцать раз нечистое дитя»* — цитата из стихотворения «Самсон» французского поэта-романтика Альфреда де Виньи (1797—1863).

Стр. 10. *Руфь и Вооз* — библейские персонажи; они же герои стихотворения Виктора Гюго «Спящий Вооз» (из цикла «Легенда веков»), которое Мопассан цитирует в книге «На воде».

«Песнь Песней» — одна из книг библии.

Государственный переворот

Была ли напечатана эта новелла в прессе до появления в настоящем сборнике, французские библиографы пока еще не установили. Действие новеллы происходит в первые дни после падения Второй империи и провозглашения Третьей республики (4 сентября 1870 года). Непосредственным толчком к революции послужило военное поражение Франции при Седане, где император Наполеон III во главе стотысячной французской армии сдался 2 сентября пруссакам.

Стр. 12. *Легитимист* — представитель политической партии, объединявшей приверженцев старшей ветви королевского дома Бурбонов, которая была свергнута с престола первоначально французской революцией XVIII века, а затем, и уже окончательно, Июльской революцией 1830 года; основные кадры этой реакционной партии рекрутировались из дворянской знати.

Ненавистное напоминание о великой революции. — При старом режиме приветственный возглас французских войск был: «Да здравствует король!»; французская революция XVIII века заменила его возгласом: «Да здравствует отечество!».

Волк

Напечатано в «Голуа» 14 ноября 1882 года.

Стр. 22. *День святого Губерта* — 3 ноября; св. Губерт считается на Западе покровителем охотников.

Стр. 27. *Гаргантюа, Пантагрюэль* — герои знаменитого романа французского писателя Рабле (1494—1553).

Ребенок

Напечатано в «Голуа» 24 июля 1882 года. Впоследствии, в 1891 году, новелла эта была переделана Мопассаном (в сотрудничестве с Жаком Норманом) в пьесу «Мюзотта» (см. т. IX).

Рождественская сказка

Напечатано в «Голуа» 25 декабря 1882 года.

Стр. 41. *Te deum* — Тебя, господи, хвалим *(лат.)*; католическая молитва.

Королева Гортензия

Напечатано в «Жиль Блас» 24 апреля 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Прощение

Напечатано в «Голуа» 16 октября 1882 года.

Стр. 50. *Смерть Людовика XVI.* — Французский король Людовик XVI был казнен революцией XVIII века за измену родине.

Высадка Наполеона.— Имеется в виду высадка Наполеона I в бухте Жуан 1 марта 1815 года, после его бегства с острова Эльба.

Легенда о горé святого Михаила

Напечатано в «Жиль Блас» 19 декабря 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Стр. 57. *Замок фей.*— Так в данном случае Мопассан называет монастырь на вершине горы св. Михаила, один из замечательных памятников средневековой готической архитектуры. Построен в XII—XIII веках. Описание горы св. Михаила (Mont Saint-Michel) встречается у Мопассана неоднократно; наиболее подробно оно дано в «Нашем сердце» (первая глава 2-й части).

Вдова

Напечатано в «Голуа» 1 сентября 1882 года.

Мадмуазель Кокотка

Напечатано в «Жиль Блас» 20 марта 1883 года под псевдонимом Мофриньёз. В этой новелле явно повторяются некоторые сюжетные ситуации из повести И. С. Тургенева «Муму».

Драгоценности

Напечатано в «Жиль Блас» 27 марта 1883 года под псевдонимом Мофриньёз

Видение

Напечатано в «Голуа» 4 апреля 1883 года.

Дверь

Напечатано в «Жиль Блас» 3 мая 1887 года.

Отец

Напечатано в «Жиль Блас» 26 июля 1887 года.

Муарон

Напечатано в «Жиль Блас» 27 сентября 1887 года.

Стр. 101. *Пранцини* — француз Анри Пранцини, совершивший уголовное преступление в Париже в ночь с 16 на 17 марта 1887 года.

Наши письма

Напечатано в «Голуа» 29 февраля 1888 года.

Стр. 110. *...конца эпохи Людовика XVI, Революции и Директории.*— Имеются в виду 80—90-е годы XVIII века.

Ночь

Напечатано в «Жиль Блас» 14 июня 1887 года.

МИСС ГАРРИЕТ

Мисс Гарриет

Напечатано в «Голуа» 9 июля 1883 года под названием «Мисс Гастингс» («Miss Hastings»). Для сборника Мопассан несколько переделал новеллу и, по-видимому, по просьбе Авара изменил ее заглавие

Госпоже ***.— Биографы Мопассана пока не установили, кому посвящена новелла.

Стр 124 *Герцог Ришелье.*— Речь идет о французском маршале Армане Ришелье (1696—1788).

Наследство

Печаталось в «Военной жизни» с 15 марта по 26 апреля 1884 года.

Катюль Мендес (1841—1909) — французский писатель, поэт-парнасец, романист и драматург. Редактор журнала «Литературная республика», где Мопассан помещал некоторые свои произведения в конце 70-х годов.

Стр. 160. *Доре* (1833—1883) — знаменитый французский художник, автор многочисленных иллюстраций-гравюр к произведениям Данте, Рабле, Лафонтена и других.

Дени

Напечатано в «Голуа» 23 июня 1883 года.

Леон Шапрон — французский журналист, сотрудничавший с Мопассаном в некоторых газетах. Автор рецензии на «Вечера в Медане», напечатанной в «Эвеиман» 19 апреля 1880 года.

Стр. 222. *Коальтаровое мыло* — особенное мыло, приготовленное из каменноугольной смолы и употреблявшееся в середине XIX века как дезинфецирующее средство.

Осел

Напечатано в «Голуа» 15 июля 1883 года под заглавием «Славный денек» («Le bon jour»).

Луи Ле Пуатвен (1847—1909)—французский художник, кузен

Мопассана, сын поэта-романтика Альфреда Ле Пуатвена, друга юности Флобера.

Идиллия

Напечатано в «Жиль Блас» 12 февраля 1884 года под псевдонимом Мофриньёз.

Морис Лелуар (1853—1940) — французский художник, знакомый Мопассана. Имя Лелуара упоминается в «Милом друге» как автора одной из картин в гостиной банкира Вальтера.

Веревочка

Напечатано в «Голуа» 25 ноября 1883 года.

Гарри Алис — псевдоним французского романиста Ипполита Перше (1857—1895), знакомого Мопассана. В 1878 году Перше начал издавать журнал «Современное и натуралистическое обозрение», где были напечатаны некоторые стихотворения Мопассана.

Гарсон, кружку пива!

Новейшие библиографы Мопассана установили, что эта новелла напечатана в «Жиль Блас» 1 января 1884 года.

Хосе-Мария де Эредиа (1842—1906) — французский поэт-парнасец.

Крестины

Напечатано в «Голуа» 14 января 1884 года.

Гийеме — один из друзей Мопассана, пейзажист Жан-Батист-Антуан Гийеме (1842—1918); имя его упоминается в «Милом друге» как автора одной из приобретенных Вальтером картин.

Сожаление

Напечатано в «Голуа» 4 ноября 1883 года.

Леон Дьеркс (1838—1912) — французский поэт-парнасец Мопассан служил вместе с Дьерксом в министерстве народного образования, и они оба сотрудничали в «Литературной республике».

Мой дядя Жюль

Напечатано в «Голуа» 7 августа 1883 года.

Ашиль Бенувиль (1815—1891) — французский художник-пейзажист.

В пути

Напечатано в «Голуа» 10 мая 1883 года.

Гюстав Тудуз (1847—1904) — французский романист из кружка Флобера; посещал «обеды освистанных писателей», учрежденные Флобером, Доде, Золя и Тургеневым.

Старуха Соваж

Напечатано в «Голуа» 3 марта 1884 года.

Жорж Пуше (1833—1894) — французский медик, профессор анатомии.

Сестры Рондоли

Новелла печаталась в «Эко де Пари» с 29 мая по 5 июня 1884 года.

Жорж де Порто-Риш (1849—1930) — французский поэт и драматург, один из знакомых Мопассана и горячий поклонник Флобера.

Стр. 298. *Всех больше не терплю я томного поэта* — сонет поэта-парнасца Луи Буйле (1822—1869), первого литературного учителя Мопассана.

Стр. 314. *Где нет опасностей, там торжество без славы* — стих из «Сида» Корнеля.

Хозяйка

Напечатано в «Жиль Блас» 1 апреля 1884 года под псевдонимом Мофриньёз.

Доктор Барадюк — французский медик, друг Гюстава де Мопассана, отца писателя.

Бочонок

Напечатано в «Голуа» 7 апреля 1884 года.

Адольф Таверньe — французский литератор, автор книги «Искусство дуэли».

Он?

Напечатано в «Жиль Блас» 3 июля 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Пьер Декурсель (1856—1926) — французский драматург.

Во Франции наряду с критическими и историко-литературными трудами о Мопассане имеется и большая литература о нем, принадлежащая перу представителей медицинского мира. Писатель, так стремившийся ограждать свою личную жизнь от всякого постороннего глаза, не раз заявлявший, что публике принадлежат лишь его книги, запрещавший печатание своих портретов и переписки, оказался после своей смерти выставленным на публичное поругание. Малейшие детали его болезни, ее причины, толкуемые вкривь и вкось, причуды и экстравагантности интимной жизни писателя, даже его невинная страсть к шуткам и мистификациям — все это сделалось предметом не только пошлого и грязного любопытства литераторов от медицины, но и самых нелепых их утверждений вплоть до обвинения Мопассана в... людоедстве! Эта «научная» литература совершенно бесполезна для понимания творчества Мопассана, ибо пытается свести все дело к узкобиографическим моментам, главным образом к болезни писателя. Мопассан представляет для нее интерес не как великий художник слова, а исключительно как психически больной человек, причем начало его психического заболевания она относит еще к 70-м годам и, следовательно, рассматривает все его творчество как документ деятельности душевнобольного. Только болезнью Мопассана объясняет эта «научная» литература фантастические рассказы писателя. Излишне доказывать, что наличие фантастической темы у Мопассана определяется более широкими и объективными причинами: и давлением литературной

традиции, и интересом позитивизма к «непознаваемому», и развившейся в европейском обществе в середине XIX века модной страстью к спиритизму и к различного рода «загадочным» явлениям человеческой психики.

Попытка французских биографов Мопассана, историков литературы, объяснить дело теми же биографическими причинами, а именно тем, что Мопассан усвоил от своего деда, Поля Ле Пуатвена, повышенный интерес к сверхъестественным происшествиям, тоже, конечно, слишком узка и не заслуживает серьезного внимания.

Мой дядя Состен

Напечатано в «Жиль Блас» 12 августа 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Поль Жинисти (1855—1934) — французский театральный критик, драматург и историк театра; в 1884 году Мопассан написал предисловие к его сборнику новелл «Любовь втроем».

Стр. 350. *Пий Девятый* — римский папа с 1846 по 1878 год.

Отрицательный взгляд рассказчика новеллы на масонство разделялся и Мопассаном, отказавшимся в 1876 году от предложения Катюля Мендеса вступить в масонскую ложу (см. в XII томе его письмо 1876 года к Мендесу).

Болезнь Андре

Напечатано в «Жиль Блас» 24 июля 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Эдгар Куртуа — лицо, неизвестное биографам Мопассана.

Проклятый хлеб

Напечатано в «Жиль Блас» 29 мая 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Анри Брэнн — сын г-жи Брэнн, которой Мопассан посвятил роман «Жизнь».

Дело госпожи Люно

Напечатано в «Жиль Блас» 21 августа 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Жорж Дюваль (1847—1919) — французский драматург и романист, сотрудник ряда газет, в частности «Голуа».

Стр. 371. *Флибустьер* — пират, рыцарь наживы; здесь — жулик.

Мудрец

Напечатано в «Жиль Блас» 4 декабря 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Барон де Во — один из друзей Мопассана, сотрудник «Жиль Блас» и автор книги «Стрелки из пистолета», изданной в 1883 году с предисловием Мопассана.

Зонтик

Напечатано в «Голуа» 10 февраля 1884 года.

Камилл Удино — друг Мопассана, французский художник и

литератор, у которого собирался кружок литературной молодежи (Марсель Прево, Абель Эрман, Р. Мезруа, Гюг Ле Ру и др.).

Задвижка

Напечатано в «Жиль Блас» 25 июля 1882 года под псевдонимом Мофриньёз.

Рауль Дерэн — лицо, неизвестное биографам Мопассана.

Стр. 392. *Целибат* — обет безбрачия служителей католической церкви.

Встреча

Напечатано в «Жиль Блас» 11 марта 1884 года под псевдонимом Мофриньёз.

Эдуард Род (1857—1910) — швейцарский писатель-романист, писавший на французском языке. Об отношениях Мопассана с Родом см. у Лумброзо (Souvenirs sur Maupassant. R. 1905, p. 369—375).

Самоубийцы

Напечатано в «Жиль Блас» 17 апреля 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Жорж Легран — один из друзей Мопассана, участник его поездки в Италию в 1885 году.

Награжден!

Напечатано в «Жиль Блас» 13 ноября 1883 года под псевдонимом Мофриньёз.

Шали

Напечатано в «Жиль Блас» 15 апреля 1884 года под псевдонимом Мофриньёз.

Жан Беро (1849—1935) — французский художник, один из изобразителей парижской жизни 80-х годов. Имя Жана Беро упоминается в «Милом друге» как автора одной из приобретенных Вальтером картин.

Ю. ДАНИЛИН

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Стр. 96. «Государственный переворот». Худ. Люсьен Метиве. 1903.
Стр. 97. «Королева Гортензия». Худ. Люсьен Метиве. 1903.
Стр. 128. «Мисс Гарриет». Худ. Ш. Морель. 1904.
Стр. 129. «Веревочка». Худ. Ш. Морель. 1904.
Стр. 352. «Сестры Рондоли». Худ. Рене Лелон. 1907.
Стр. 353. *Вверху:* «Хозяйка». Худ. Рене Лелон. 1907.
Внизу: «Мой дядя Состен». Худ. Рене Лелон. 1907.
Стр. 384. *Вверху:* «Болезнь Андре». Худ. Рене Лелон. 1907.
Внизу: «Дело госпожи Люно». Худ. Рене Лелон. 1907.
Стр. 385. «Награжден!» Худ. Рене Лелон. 1907.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛУННЫЙ СВЕТ

Лунный свет. *Перевод Н. Немчиновой* 5
Государственный переворот. *Перевод С. Иванчиной-Писаревой* 11
Волк. *Перевод С. Иванчиной-Писаревой* 22
Ребенок. *Перевод С. Иванчиной-Писаревой* 28
Рождественская сказка. *Перевод С. Иванчиной-Писаревой* 35
Королева Гортензия. *Перевод С. Иванчиной-Писаревой* . . 42
Прощение. *Перевод С. Иванчиной-Писаревой* 50
Легенда о горе святого Михаила. *Перевод С. Иванчиной-Писаревой* 57
Вдова. *Перевод С. Иванчиной-Писаревой* 62
Мадмуазель Кокотка. *Перевод М. Мошенко* 68
Драгоценности. *Перевод Е. Брук* 74
Видение. *Перевод С. Иванчиной-Писаревой* 82
Дверь. *Перевод С. Иванчиной-Писаревой* 90
Отец. *Перевод С. Иванчиной-Писаревой* 96
Муарон. *Перевод С. Иванчиной-Писаревой* 101
Наши письма. *Перевод С. Иванчиной-Писаревой* 109
Ночь (Кошмар). *Перевод С. Иванчиной-Писаревой* 115

МИСС ГАРРИЕТ

Мисс Гарриет. *Перевод Н. Касаткиной* 123
Наследство. *Перевод Л. Коган* 143
Дени. *Перевод И. Смидович* 218
Осел. *Перевод И. Смидович* 226
Идиллия. *Перевод И. Смидович* 236
Веревочка. *Перевод А. Ясной* 242
Гарсон, кружку пива! *Перевод А. Полляк* 250
Крестины. *Перевод М. Мошенко* 257
Сожаление. *Перевод Г. Еременко* 262
Мой дядя Жюль. *Перевод А. Кулишер* 269
В пути. *Перевод М. Мошенко* 278
Старуха Соваж. *Перевод Н. Касаткиной* 285

СЕСТРЫ РОНДОЛИ

Сестры Рондоли. *Перевод Е. Брук* 295
Хозяйка. *Перевод Н. Немчиновой* 327
Бочонок. *Перевод А. Худадовой* 335
Он? *Перевод М. Казас* 341
Мой дядя Состен. *Перевод М. Казас* 349
Болезнь Андре. *Перевод Л. Коган* 357
Проклятый хлеб. *Перевод С. С. Вигдор* 363
Дело госпожи Люно. *Перевод Т. Мочало* 369
Мудрец. *Перевод Е. Соколовой* 375
Зонтик. *Перевод В. Чешихиной* 383
Задвижка. *Перевод Н. Вильтер* 392
Встреча. *Перевод Е. Вольфельд* 399
Самоубийцы. *Перевод О. Лавровой* 409
Награжден! *Перевод И. Грушецкой* 415
Шали. *Перевод Е. Поликарповой* 422

КОММЕНТАРИИ

Историко-литературная справка 435

Примечания 438
Перечень иллюстраций 445

ГИ ДЕ МОПАССАН.
Полное собрание сочинений
в 12 томах. Том 3.

Редактор
М. В. Вахтерова.

Оформление художника
Ю. Красного.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 9/VIII 1958 г.
Тираж 310 000 экз. Изд. № 928.
Зак. № 1294. Ф. б. 84×108$^{1}/_{32}$.
Бум. л. 7.
Печ. л. 14+4 вкл. (0,41 п. л.).
Уч.-изд. л. 21,82.

Ордена Ленина типография газеты
«Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.